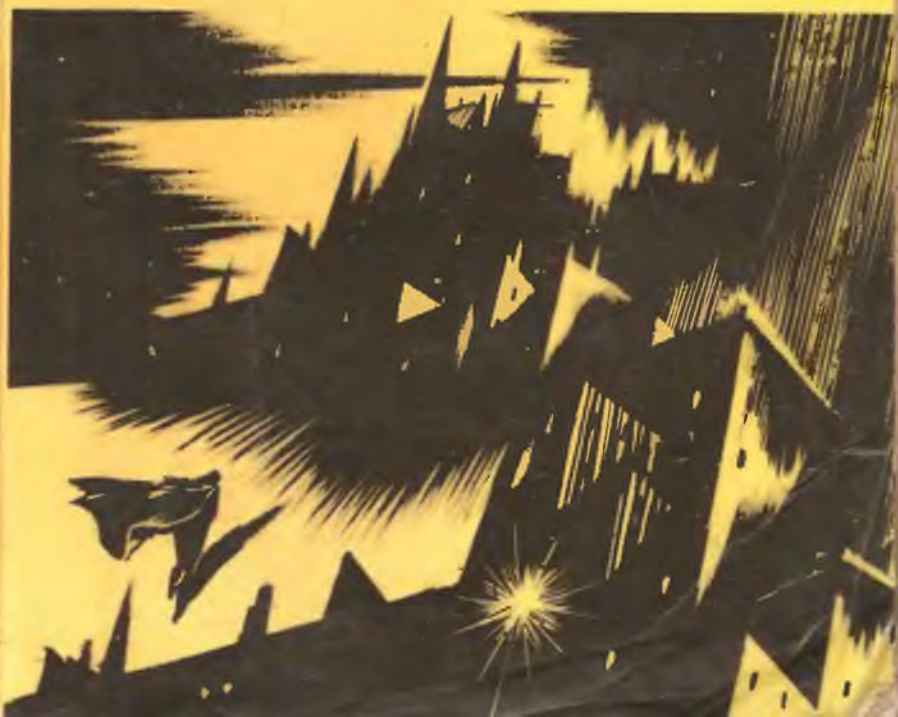




*Мир приключений*

**Вс. ИВАНОВ**

**Пасмурный лист**







Мир приключений

**Вс. ИВАНОВ**

**Пасмурный лист**  
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

1987

84 Р7

И 20

Составление и послесловие

Т. В. И в а н о в о й

Иллюстрации

А. П. С а р к и с я н а

И  $\frac{4702010200-1270}{080(02)-87} 1270-87$

© Издательство «Правда», 1987.  
Составление. Послесловие. Иллюстрации.

## ЗМИЙ

*(Одно из предисловий  
к фантастическим рассказам)*

Но в чем и как выразилась здесь моя воля? Ведь случайность не более, что я увидал этого Змия? Воля в том, что я, стремясь много лет к фантастическим темам, сам увидал нечто фантастическое в жизни, что и дало мне основание доделать книгу фантастических рассказов.

В 1952 г. я жил весной на берегу моря, в местечке Коктебель, в Крыму, возле Феодосии.

Для тех, кто любит наблюдать перемену красок и игру света, Коктебель одно из прелестнейших мест Советского Союза. Хамелеон, горы, море.

В местечке отличный пляж с цветными камушками, из которых любители составляют дивные коллекции.

Если встать лицом к морю, ногами на обточенные морем кусочки яшмы, халцедона и кварца, налево и позади от вас будут пологие голые холмы, цветом напоминающие холмы в степях Казахстана. На одном из холмов находится могила поэта М. Волошина, страстного любителя Коктебеля. Он приглашал сюда поэтов и художников. В дни своей молодости я видел здесь А. Белого, В. Брюсова. Здесь в 1917 году жил полтора месяца М. Горький.

Самое изумительное в Коктебеле — это Карадаг, остаток потухшего вулкана; впрочем, не стоит жалеть, что вулкан в основной массе своей упал в море, это было бы совсем страшно, если б он остался. Центр Крыма сейчас — Ялта, Ливадия, Алувка, Алушта, тот пленительный край с мягким климатом, который мы все так любим. А представьте, что высилась бы громада в 3—4 километра вышиной, очертания и весь характер

Крыма, да и не только Крыма, приобрели бы совсем другое значение. Уберите вы с Кавказа Казбек, Эльбрус и еще пять-шесть подобных же вершин, и Кавказ, кто знает, приобретет более мирный вид, и история его стала бы более мирной, во всяком случае Прометея не к чему было бы приковывать, а отсюда человечество не имело, может быть, огня, что не так плохо, если говорить об огне хотя бы артиллерийском.

На много дум наведет вас Карадаг, и это едва ли не лучшее из удовольствий, которые мы получим с вами.

М. Волошин любил называть это место Кимерией. Он утверждал, что именно у скал Карадага претерпел многие приключения Одиссей, что напротив, на холмах, против бывшей электрической станции, через ручей, рядом с горой, где ломают и поныне строительный темно-коричневый камень, откуда доносятся взрывы и где постоянно снуют грузовики, находился греческий акрополь. Недавние раскопки доказали, что храм. Греки, византийцы, скифы, генуэзцы, татары, русские, немцы, опять русские, а теперь украинцы,— народу здесь перебивало немало, хотя, если вдуматься, Крым не велик и не может похвастать минеральными богатствами. Говорят, он был житницей зерна во времена Византии. И стены Константинополя, говорят, построены на том же цементе, который добывался недавно на Зеленой горе. Сейчас эти разработки заброшены, сырье — цемент — возили в Новороссийск, нашли его ближе.

Весна 1952 г. в Коктебеле была холодная и дождливая. Еще апрель был туда-сюда, а май дождлив и холоден. Все же я часто ходил в горы, преимущественно к подножию скалы по имени Чертов палец, или к трем соседним ущельям, где долбил сердолики и халцедоны. Много раз, переходя от скалы к скале, ища бледные аметисты, я спускался незаметно вниз, а затем с обрыва, по крутому спуску, цепляясь за кустарники и камни, спускался к берегу бухты, которую с двух концов запирали крутые базальтовые скалы, ступенчатые, темные. Когда мне не хотелось карабкаться вверх, я обходил или оплывал базальтовые скалы, переплывая бухту, соседнюю с Сердоликовой.

14 мая, после длительных холодов, наступила безветренная теплая погода.

Предполагая, что во время бурь море выкинуло на берег немало цветных камушков, я прошел опять мимо Чертова пальца, по ущелью Гяур-Бах, а затем, чтоб не тратить много времени на трудный спуск к берегу моря в Сердоликовую бухту, на скале, возле дерева, откуда видна вся бухта, ширина которой метров 200—250, я привязал веревку и легко спустился с ее помощью вниз, оставив ее в траве.

Море, повторяю, было тихое. У берега, среди небольших камней, обросших водорослями, играла кефаль. Подальше, метрах в ста от берега, плавали дельфины. Очевидно, они и загнали сюда кефаль. Улов камушков, сверх ожидания, был небогатый. Я выкупался в море. Достал термос с горячим кофе. Запил его водой из струи, которая струилась из долины, по стене, поел хлеба, хотел закурить трубку, но решил покурить и отдохнуть в тени, когда поднимусь наверх к дереву, к которому была привязана моя веревка.

Жара усиливалась.

Обувь у меня была удобная, палка хорошая, камни не отягощали рюкзака, я без труда поднялся на скалу и сел возле своей веревки. Отвязав ее, подняв и смотав в круг, я положил его на землю, сел на него, достал кисет, набил трубку, закурил и решил посмотреть, как в бухте охотятся за кефалью дельфины.

Дельфины стайкой двигались по бухте влево. Должно быть, туда передвинулась кефаль. Я перевел глаза вправо и как раз посередине бухты, метрах в 50 от берега, заметил большой, метров 10—12 в окружности, камень, обросший бурыми водорослями. В своей жизни я много раз бывал в Коктебеле и в каждое посещение несколько раз бывал в Сердоликовой бухте. Бухта не мелка, глубина начинается шагах в десяти от берега, — а этого камня в середине бухты я не помнил. От меня до этого камня было метров 200. Бинокля со мной не было. Я не мог рассмотреть камень. И камень ли это? Я отклонился назад, поставил «глаз» против сучка дерева и заметил, что камень заметно уклоняется вправо. Значит, это был не камень, а большой клубок водорослей, вырванных бурями. Откуда принесло их сюда? Может быть, их прибьет течением к скалам и мне стоит посмотреть на них? Я забыл дельфинов.

Покуривая трубку, я начал наблюдать за клубком водорослей.

Течение, по-видимому, усиливалось. Водоросли начали терять округлую форму. Клубок удлинялся. В середине его показались разрывы.

А затем...

Затем я весь задрожал, поднялся на ноги и сел, словно боясь, что могу испугать «это», если буду стоять на ногах.

Я посмотрел на часы.

Было 12.15 дня. Стояла совершенная тишина. Позади меня, в долине Гяур-Бах, чирикали птички, и усиленно дымилась моя трубка.

«Клубок» разворачивался.

Развернулся.

Вытянулся.

Я все еще считал и не считал «это» водорослями до тех пор, пока «это» не двинулось против течения.

Это существо волнообразными движениями плыло к тому месту, где находились дельфины, т. е. к левой стороне бухты.

По-прежнему все было тихо. Естественно, что мне пришло сразу же в голову: не галлюцинация ли? Я вынул часы. Было 12.18.

Реальности видимого мной мешало расстояние, блеск солнца на воде, но вода была прозрачна, и оттого я видел тела дельфинов, которые были вдвое дальше от меня, чем чудовище. Оно было велико, очень велико, метров 25—30, а толщиной со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой на полметра — метр и, мне кажется, было плоское. Нижняя часть его была, по-видимому, белая, насколько позволяла понять это голубизна воды, а верхняя — темно-коричневая, что и позволило мне принять его за водоросль.

Я был одним из многих миллионов людей, которому суждено было увидеть это чудовище. Наше воспитание, не приучавшее нас к появлению чудес, тотчас же начало мешать мне. Я начал с мысли — не галлюцинация ли это? Нашупал горячую трубку, затащился, посмотрел на скалы и еще раз вынул часы. Все это мешало мне наблюдать, но в конце концов я подумал: «Ну и черт с ней, если и галлюцинация! Буду смотреть».

Чудовище, извиваясь, так же как и плывущие змеи, не быстро поплыло в сторону дельфинов. Они немедленно скрылись.

Это произошло 14 мая 1952 года.

Первой моей мыслью, когда я несколько пришел в себя, было — надо немедленно спуститься ближе к берегу. Но сверху, со скалы, мне виднее, а если бы я пошел вниз, то, возможно, какая-нибудь скала закрыла бы от меня чудовище или оно могло скрыться. Я остался на прежнем месте. Я видел общие очертания, но не заметил частностей.

Я, например, не видел у чудовища глаз, да и как, под водой, я мог их видеть?

Угнав дельфинов и, может быть, и не думая за ними гнаться, чудовище свернулось в клубок, и течение понесло его опять вправо. Оно снова стало походить на коричневый камень, поросший водорослями.

Отнесенное до середины бухты, как раз к тому месту или приблизительно к тому, где я его увидел впервые, чудовище снова развернулось и, повернувшись в сторону дельфинов, подняло вдруг над водой голову. Голова в размер размаха рук похожа была на змеиную. Глаз я по-прежнему не видал, из чего можно заключить, что они были маленькие. Подержав минуты две голову над водой, — с нее стекали большие капли воды, — чудовище резко повернулось, опустило голову в воду и быстро уплыло за скалы, замыкавшие Сердоликовую бухту.

Я посмотрел на часы. Было без трех минут час. Я наблюдал за чудовищем сорок минут с небольшим.

Справа поднимаются скалы очень крутые, и в соседнюю бухту попасть было невозможно.

Я поспешно пошел домой.

Мария Степановна Волошина, являющаяся хранительницей всех коктебельских преданий и обычаев, рассказала, что в 1921 году в местной феодосийской газете была напечатана заметка, в которой говорилось, что в районе горы Карадаг появился «огромный гад» и на поимку того гада отправлена рота красноармейцев. О величине «гада» не сообщалось. Дальнейших сообщений о судьбе «гада» не печаталось. М. Волошин послал вырезку «о гаде» М. Булгакову, и она легла в основу повести «Роковые яйца». Кроме того, М. С. сказала, что в поселке тоже видели «гада», но недавно, а знает подробности Н. Габричевская, жена искусствоведа Габричевского, которая живет в Коктебеле безвыездно.


Н. Габричевская рассказала следующее:

Ранней весной этого года, по-видимому, в первых числах марта, соседка Габричевской, колхозница, переехавшая сюда недавно из Украины, прибежала, проклиная эти места. Недавно была буря. Дров в Коктебеле мало, а после дождей и весной ходить за валежником в горы трудно. На берегу же после бурь находят плавник. Колхозница и пошла собирать дрова. Она шла берегом моря, мимо так называемой «могилы Юнга», все дальше и дальше вдоль берега обширной Коктебельской бухты в направлении мыса Хамелеон. Не доходя до оконечности мыса, она увидела на камнях какое-то большое бревно, с корнями, оборванными бурей. Очень обрадовавшись находке, она бросилась бегом к камням, и когда почти вплотную подбежала к ним, бревно вдруг качнулось, то, что она считала камнем, приподнялось. Она увидела огромного гада с косматой гривой. Гад с шумом упал в воду и поплыл в направлении Карадага. Колхозница уж и не помнила, как дошла домой.

Возле Карадага, в Отузской долине, имеется биологическая станция. Сам я туда не ходил, так как считал мое видение малодоказуемым. Моя жена ходила туда, и на ее вопросы ей сказали, что сейчас наблюдается миграция некоторых редких рыб из Средиземного моря в район Черного. Так, в прошлом году рыбаки недалеко от Карадага поймали рыбу «черт» размером выше двух метров. Возможно, что виденная мной рыба относится к породе «рыба-ремень», которая, правда, довольно редко встречается в Средиземном море. Рыба эта достигает длины 5—6 метров. Хотя чудовище показалось мне длиною 25—30 метров,— я ведь глядел на него с расстояния в 200 метров и, естественно, мог ошибиться в размере.

Год спустя в Коктебеле люди, плававшие на резиновой лодке по Сердоликовой бухте, слышали в соседней бухте, куда уплыло виденное мною чудовище, шипение и шум чего-то большого, падающего в воду. Когда они завернули за скалы, они ничего в бухте не увидели. Возможно, что с отвесных скал упал в бухту камень.

И я подумал: если я мог увидеть чудовище в наши дни у подножия карадагских скал,— то столь ли удивительны те фантастические истории, которые я хочу рассказать вам?



# **Фантастика реальной жизни**



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

## НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

В первых числах октября 1941 года, в ярко выбеленной комнате оливкового особняка на Новинском, в Москве, важный и пожилой артиллерийский офицер, проницательно щуря чернильно-синие глаза, говорил молодому лейтенанту:

— Хочется на Бородинское поле? Мысль похвальная. При вашей похвальной патриотической мысли, вдумчиво оценив обстановку, поймете, что судьба сражения за Москву, развивающегося на пространстве трех тысяч километров, решается не на Бородинском поле. Там — эпизод. Впрочем, увидите.

Офицер добавил, что ему приятно познакомиться: он некогда удостоился чести слушать лекции Ивана Карьина, отца лейтенанта. Проницательность и матовый блеск чернильно-синих глаз раздражали.

А про себя Марк думал: эпизод ли? Бородино ли? Неважно! Другое важно — попасть на фронт и умереть *с честью*. Он так в уме и подчеркнул: *с честью*. Он не труслив, — нет, зачем же? Терзает иное: что в современной войне важнее — храбрым быть или дисциплинированным? Позорна и трусость, и своеволие, — знаю! Трусости не замечал. Своеволие? Измучило!.. И, если нельзя его подавить, растоптать, — не лучше ли умереть *с честью*?

Но все дело в том, — думал он, что вспыльчивость, ужасная, неудержимая, почти болезненная, хотя он физически здоровее дуба, — дикое своеволие загубит его раньше, чем он возьмется за дело, которое и является его честью!

В двадцать четыре года погибнуть перед битвой? Из-за чего? Из-за того только...

Он не знал, из-за чего!

Природа одарила Марка Карьина способностями, вдобавок вычеканив, правда, без особого старания, образец физической крепости. Отец, виднейший теоретик и практик танкостроения, бесконечно любивший сына, помог Марку усовершенствовать его природные дарования. Школа развила остальное... казалось бы, живи да радуйся!

Рано Марк стал вскипать, не зная себе удержу. Слегка наклонив большой лоб, повитый темными волосами, вечером принимавшими фиолетовый оттенок, расставив крепкие ноги в больших разношенных и будто чугунных сапогах, он сдавленным голосом вызывающе ворчал:

— Надо по порядку, зачем ты меня «тыкаешь»?

Вопрос был нелепый, тупой и было в нем что-то страшное. Многие, чтобы освободиться от гнетущего чувства неловкости, лезли драться. Марк, казалось, того и ждал: кулак у него был сокрушающий, каменный, а драться ему было и приятно и стыдно. Он стыдился отца.

Любя и уважая отца, Марк находил странное удовольствие в сопротивлений ему.

Отец мечтал, что Марк продолжит его дело. Марк же выбирал профессию, где поменьше столкновений с людьми и побольше простора. Когда вы думаете об уединении, вы, естественно, сразу же вспоминаете пустыню. «Песок да скалы,— думал Марк,— над чем тут сомневаться?» Но в песок и скалы он желал ехать с тем, чтобы не подчиняться им, а их подчинить себе! С трудом окончил он Лесотехнический институт и скрылся в пустыне, в тайге, в чаще. Рубил, сплавлял, кормил комара, дрался с медведями, тонул, падал с деревьев, разбиваясь почти насмерть, и вдруг явился к отцу, вывезенный несколькими «лесовиками», которые отстаивали необходимость постройки на Каме бумажно-целлюлозного комбината. У профессора Ивана Карьина другая специальность, но в Совнарком и плановых организациях у него друзья и знакомые, понимающие в любой специальности, способные защитить и отстоять свое понимание. «Старик обрадуется,— сказали Марку «лесовики»,— сын в разум вошел: поможет».

«Лесовики» недолюбливали Марка, да выхода другого не было: строительство комбината никак не умещалось в план.

Приехали.

А знаменитый профессор Иван Карьин, теоретик и практик громадных и неуязвимых машин, умирал.

### 3

Он давно страдал несколькими болезнями и, знаток медицины, хотя и не врач, понимал, что исход каждой из них смертелен. И, однако, привыкнув к мысли о смерти, он умирал с легкой усмешкой на морщинистых старых губах. Уже лежа в смертной постели, он без спешки и, казалось, без напряжения доканчивал свои работы, давал советы молодым конструкторам и каждый раз, просыпаясь на рассвете, брал свой дневник, чтобы записать события вчерашнего дня.

— Подвожу, Марк, итоги,— сказал он, увидав сына.— Хотел тебя вызвать, а ты сам. Твои каковы итоги?

Марк смотрел на длинное лицо, покрытое тонкой и серо-желтой кожей, с подпалинами табачного цвета на висках, слушал короткое дыхание, и ему было стыдно, что он избегал отца.

— Ты прав, Марк... Всякий должен выбирать ранец по плечу.— И он добавил со своей обычной многозначительностью: — Велико ли занятие отстоять проект комбината, а попомни, в какую тебе это заслугу поставят позже. У меня — труднее: танки — капризные дамы...— И, побоявшись, что сын обидится на поучение, сказал: — Твою просьбу... помогу... Перед «ито-гом» похлопочу и обещаю самый верный успех... Но с моей стороны тоже... будет просьба.

Выбирая слова, старик долго шевелил потрескавшимися, сухими губами:

— В дневнике... Фирсов упоминается... Личное. Лишнее. Еще напечатают, вздумай они дневники издавать...

Он закрыл глаза. Несколько минут лежал неподвижно. Затем прежняя легонькая, как пух, улыбка осветила его лицо.

— Собирался дать факту новое освещение... Фирсову... не собрался. Тогда лучше вырвать...

Просматривая дневник отца, Марк нашел про Фирсова. Он вспомнил легонькую, напоминавшую Анатоля Франса улыбочку отца и задумался. Что он знал такое о жизни, чего не знал Марк? Чем он был выше?

Поддаваясь очарованию этой неумершей улыбки, Марк подумал: «Да уж так ли виновен отец?»

Сущность дела заключалась в следующем.

Лет восемнадцать тому назад двое молодых ученых Иван Карьин и Федор Фирсов, не видевшиеся несколько лет, уговорились отдохнуть вместе на берегу моря, у подножия потухшего древнего вулкана Черная Гора — «Карадаг», в селении Коктебель.

Фирсов приехал с женой и трехлетней дочкой. Друзья поселились рядом, в одном доме. Начались купанья, прогулки по песчаному берегу, обеды под полотняным навесом, содрогающимся от ударов волн о берег.

Жена Фирсова, желая угодить мужу, — Карьин казался ей холодным и самонадеянным, — обращалась с ним по-братски, если мало сказать — дружески. Она балагурила, пела с ним песни, будила по утрам, уговаривала больше кушать, даже заботилась об его одежде. Вначале Фирсов одобрял, а через неделю-две заревновал. К несчастью, застенчивость и страх незнакомого ему раньше чувства ревности помешали ему сразу объясниться с женой. Та истолковала его ревность своеобразно. Подобно Гермione в «Зимней сказке» она, подумав, что муж сердится на нее за то, что она мало обращает внимания на его друга, удвоила нежности. Фирсов совсем надулся, придравшись к какому-то вздору. Супруги поссорились.

Жена сгоряча пожаловалась Карьину на сумасбродство мужа. Мы часто говорим, что старость любит поучать. Молодежи, пожалуй, поучительный тон доставляет больше удовольствия, чем старикам. Иван Карьин предстал перед Фирсовым строгий, надменный. Он сказал, что возмутительно из-за глупой ревности рвать такую ценную дружбу, как их, а также оскорблять невинную женщину. «Надо понимать, что идеи прогрессируют очень медленно и, значит, нуждаются в постоянной поддержке. Таковы, например, идеи взаимоуважения...» Фирсов своеобразно принял уче-

ную эту тираду. Он ответил презрительным знаком. Как хотите, а ученые так не разговаривают, да еще по этическому вопросу! Они расстались навсегда.

С той поры какая-то докучливая одурь овладела Фирсовым. Мало того что он упрекал жену в изменах ему в Коктебеле, он даже придумал обстоятельства, при которых она будто бы встречалась и ранее с Иваном, и женитьба эта, мол... словом, обычный ревнивый бред, который, как пламя, чаще всего освещает гримасы вашего лица, но иногда и опалает всю жизнь. Случилось последнее. Жена не нашла сил сносить несправедливость. Она, взяв дочку, тайком покинула мужа.

Прошла неделя, другая... в начале четвертой Фирсов написал Ивану Карьину, прося указать адрес жены. Короткий ответ гласил, что «поскольку не Иван Карьин ее избирал, то Иван Карьин и не знает, где его избранница».

Да и действительно Карьин не знал, что случилось с нею. Впрочем, он обладал завидным даром не изнурять себя излишними хлопотами. Когда лет десять — двенадцать спустя бывшая жена его друга написала известному конструктору, автору книги «Танк», просьбу о содействии ее дочери, Карьин запнулся и не без усилий вспомнил ее. Однако, когда его просили помочь, он помогал охотно. Помог и здесь. Но с женой друга встретиться не высказал желания и в дневнике, который он вел аккуратно, уделил «драме юности» семь строчек. Ему и в голову не пришло, что он косвенно виновен в неудачно сложившейся жизни своего так много обещавшего друга, вскоре после их ссоры умершего...

«Да так ли уж отец виноват? — переспросил сам себя Марк, прочтя еще раз страницы дневника, относящиеся к событиям в Коктебеле. — Кто знает и кто скажет правду? И в чем она? И как и что можно исправить, если в самом деле произошла ошибка? Ведь это было так давно...»

И, однако, несмотря на все отговорки, воображение продолжало работать. Не будучи завершителем отцовского дела в области вооружений, Марк хотел в области нравственной быть ему равным, а то и выше его... Он поступил так, как завещал отец: вырвал из дневника страницы, относящиеся к истории с Фирсо-

вым, но из своего сердца он их вырвать не хотел, да если б и хотел, то не смог бы.

Без труда он нашел адрес жены покойного Фирсова. Ответ пришел через полтора месяца, и не с Украины, где она учительствовала в последнее время, а из Ногинска, под Москвой, с ткацкой фабрики, от Настасьи, дочери покойного Фирсова. Мать умерла несколько лет тому назад. Дочь живет хорошо,—впрочем, в подробности она не пускалась,—и если ему хочется узнать что-либо о покойной, она сообщит... Почерк ее показался ему хмурым, несчастным.

Умерла! Уже одно это слово говорило ему, что жизненные сплетения труднее распутать, чем сеть, застрявшую в корягах. И, однако же, он страстно возжелал распутать то, что не распутал его отец. Девушка несчастна! Не он ли обязан сделать ее счастливой? Он представлял дружбу... любовь наконец!.. Пламень, которого недоставало его отцу и которого у него, Марка, в излишке, он соединит с пламенем, унаследованным ею. Встречи с другими девушками, бывшие у него раньше, ласковые слова, им и ему сказанные,—лишь предвестники очаровательного будущего, которому суждено начаться после встреч с нею...

Встречи же не было. Соответственно духу его современников он желал встать перед нею человеком высшего нравственного уровня. Он со дня на день откладывал поездку в Ногинск. Переписывались. Тем временем сажал на солонцах лес, хлопотал о добавочных ассигнованиях уже строящемуся комбинату, останавливал соснами пески, засыпающие хлебородный район. Началась советско-финская война. Он записался добровольцем. Его направили в школу лейтенантов артиллерии. Он окончил ее как раз перед самым заключением мира.

«Судьба,—сказал сам себе Марк.—И вообще такому пустоплету не место в мире...» Однако, несмотря на мрачный тон размышлений, подобных этим, Марк в своем деле преуспевал, сам не понимая почему. Фраза, сказанная о нем в наркомате, услышь он ее, многое бы разъяснила ему: «Человек мрачный, но работник первоклассный». В начале же Отечественной войны авторитет Марка поднялся еще выше. Он сразу же получил назначение в комбинат на Каме и опять-таки не понимал почему.

Но он не спешил в комбинат. Он ждал повестки. Он — запасной, он артиллерийский офицер и должен находиться на войне! Не дождавшись вызова, он направился к областному комиссару. Тот ему: «Когда будет потребность, вызову». Марк наговорил дерзостей, снялся с учета и уехал в тот же день в Москву. В наркомат, разумеется, он не явился: «Не до бумажного производ-

ства теперь, да и вообще хорошо бы поменьше бумажек...» Он пришел к известному генералу, другу отца, и получил рекомендательное письмо в оливковый особняк на Новинском...

#### 4

Высоко сжатое поле, солома почти по колено. Неужели — комбайном? Здесь — на Бородинском поле? А почему бы не быть комбайну на Бородинском поле? Правда, машина, видимо, попалась изношенная — много огрехов, хватала как попало, но, возможно, беда не в машине, а в комбайнере, который боялся немецких штурмовиков и больше глядел на небо, чем на убираемое поле. Двенадцатое октября. Немцы приближаются.

Небо сердитое, бледное. Облака похожи на морщины. Все просырено так, что упадет две-три капли, и какая-то слизь с чесночным запахом наполняет воздух, рот, ест глаза.

Торчащие клочья побуревшей соломы, тронутой первыми заморозками; мокрые заплаканные осины; золотом покрылся дуб, много берез и там, подальше, в поле, обелиск с узловатым кунюлом... Э, да не до того! После рассмотрим купола.

В землянку он спускался боком, плечом вперед, задевая костистой и мускулистой спиной о наспех, криво сбитые степки.

Возле поставленных один на другой пустых и гулких ящиков из-под консервов сидели двое: подполковник Хованский, резкоскулый, с узкими глазами, с длинными седыми баками, и врач Бопдарин, с паружностью врачебно-внушительной и утомленной. Профессию его Марк определил тотчас же: «мыслящий рецепт», а про Хованского решил: «любяная душа, глиняные глаза, тупые руки», — и сразу ошибся. Хованский — сообразитель-

ный, хитрый. В ответ на рапорт Марка подполковник, рисуясь, приподнялся и сказал:

— Хованский, Бондарин. Учились вместе в университете, с той поры дорожки едины и — спорим. Судьба одобряет споры, сталкивая нас...

Рассуждая так, он точил о скользкий и темный камень бритву с черепаховой ручкой. Намылил часть широкой щеки, взглянул в зеркало, будто озабоченный: его ли лицо там? В то же время он присматривался к Марку, что стоял у порога, расставив ноги в чугунных сапогах,

наклонив голову со свисающими на лоб черными волосами.

«Горяч конь, — думал Хованский. — Умно править — далеко увезет! А силища-то, силища! Вот тебе и наследственность: профессор-то был тоже щепки. А взгляд, тьфу, спаси господи, не сглазить бы... — Хованский, как и многие долго воевавшие, был суеверен. — Огонь — взгляд! Куда бы мне его? На вторую батарею? Там политрук — магистр философии, наводчики — из студентов. Туда Гегеля надо посылать. На первую?.. Нет, пошлю на третью: покойный Матвеев горяч был, да и его пыла не хватало. А этот — угодит. Этот непременно угодит! И дело третьей предстоит горячей некуда. Пошлю на третью!» Вслух же он говорил, быстро водя бритвой по щеке:

— Спорщики! Судьбы людские решаем. Сидим напролет почи, а расставшись, три шага не отойдя, наговорим друг о друге такое, что, кажись, и минуты нельзя вместе пробыть.

Хованский мнителен, и ему нравится расспрашивать о лечении и профилактике. Это не значит, конечно, что он боится боя. «Бой — одно, болезнь — другое». Часто он беседует с Бондариним еще и потому, что тот — единственный из всех врачей — находит у подполковника рак печени. В бондаринские диагнозы Хованский верит, но лекарства его принимает с осторожностью: «Практика у него слабая, но — знания: ого!» Лекарства, выходит, по Хованскому, надо относить к практике, и он немножко прав — Бондарин много лет неудачно экспериментирует.

Бондарину в Хованском нравится ум, совершенство человеческого организма, который несмотря на сокрушительную болезнь, силою воли — чудовищной, сказочной — заставляет себя трудиться, бороться, преодолевать несчастья и оставаться бодрым, размышляющим, Хованский в просторечии

Хованский в противоположность многим военным скретен — не делится душевными волнениями. В сердце его, несомненно, какая-то семейная драма, но он предпочитает о ней не говорить. У Бондарина — несчастье с медициной, а дома — полная и счастливая чаша, и ему хочется узнать: какие же бывают семейные несчастья? Хочется, разумеется, и помочь! Вот и сейчас, рассуждая с подполковником о семейной драме профессора Фирсова, дочь которого Настасьюшка из Ногинска попала на рытье укреплений, а оттуда в стоящий рядом его медсанбат, он, пробираясь между всеми хитросплетениями чужой жизни, мечтал копануть и в душе Хованского. Хованский и здесь увильнул, ловко переводя разговор на свои служебные успехи, что всегда раздражало Бондарина: по службе ему не везло. Поэтому Бондарин зол, насупился и не скрывает этого.

Марк не понравился ему с первого взгляда. Самоуверен, нагл, — что за поза для офицера! — невероятно здоров физически, презирает, само собой, медицину и будет испуганно визжать на операционном столе, когда ему станут удалять какую-нибудь бородавку. Отраженно злит и Хованский. Бондарин не отвечает на его вопрос: каким образом медицина способна гарантировать спасение от нелепой смерти на войне? «Тампоном Бондарина», работой, которую он сейчас, несмотря на смертельные бои с врагом, ведет!.. И, как всегда, Бондарин слегка преувеличивает, но ему не привыкать стать. Считая себя великим диагностом, он чаще всего ошибается в диагнозе. Считая, что умный способен изучить все и быть мастером в любом деле, он три года изучал теорию словесности и научился писать плохие стихи.

В землянке чадит керосином подпрыгивающая от канонады коптилка, пахнет свежее испеченным черным хлебом и мокрым полушубком Хованского, брошенным в углу. Вошел писарь, и Хованский опять возвращается к мыслям о лейтенанте Матвееве, командире третьей батареи.

— Бондарин, вы знаете меня? Дед — кантонист, прадед — крепостной, убит под Севастополем! Не скрою, были в нашем роду и духовные. Дядя служил дьяконом. Но где? В гвардии Семеновском полку! Весь мой род — кадровое солдатство, привыкшее к войне. Сам я ранен одиннадцать раз..

— Одиннадцать раз и три контузии, — подчеркнуто говорит Бондарин: дескать, желаете хвастаться, — пожалуйста!

— Одиннадцать раз. Но Хованские на рану сросчивы! Значит, смерть видал во всех образцах. В самых неприглядных! Храбрейшие валялись у ней в ногах, вымаливали минуточку, — еще секундочку жизни! Видал — в шелках, в бархатах, равно как и нагую, наглую, и все же не могу примириться, когда умирают такие, как Матвеев! Не могу!

Он стукнул кулаком о консервный ящик. Коптилка, сделанная из гильзы артиллерийского снаряда, подскочила и покачнулась. Врач поставил ее на место и поправил фитиль. Хованский раскрыл маленький овальный чемоданчик, достал флягу, налил чарку, протянул врачу. Тот отказался. Тогда Хованский, не угощая Марка, а только кончиком глаза наблюдая за ним, выпил, сплюнул и понюхал корку черного хлеба, лежащую на мокром полушубке.

— Куда, Бондарин? Обождите, выйдем вместе.

Хованский, упершись локтями в ящик, положил широкую голову на длинные и твердые, как колья, руки с толстыми, словно вожжи, жилами.

— Дмитрий Ильич, как вы относитесь к опере?

— Изредка бываю.

— Я не об этом, а о факте вашего отношения к оперной, равно и к симфонической музыке. Что вы скажете, лейтенант?

Голос — небрежный, насмешливый, будто дразнит этот лубяной голос.

— Ни разу не был в опере, товарищ подполковник. И вообще к искусству отношусь хладнокровно, исключая кровных коней.

Подполковник повернул к нему большую голову со сверкающими азиатскими глазками и подумал: «Ну, да и мы не из пены морской родились, а из земли. Мы вас научим любить музыку». Он взял карандаш и провел им над головой.

— Слушайте!..

Он высоко, под потолок, поднял карандаш. Молчание воцарилось в землянке.

Наверху кто-то огромный и сверкающий жевал железными челюстями железо. Затем слышались такие звуки, словно лопались металлические пузыри. Запах-

ло раскаленным металлом. Унылый, отдающий в костях звук, вопиющий об одиночестве, о смерти, поднялся и замер. Его сменила торопливая акающая бес-толочь, вопящая о чем-то неистовстве, исступлении...

Хованский опустил карандаш. И звуки, словно подчиняясь дирижерской палочке, неожиданно притихли. Коптилка качалась едва-едва.

— Что же вы слышали, Дмитрий Ильич?

— Канонаду, Анатолий Павлыч. Канонаду начинающегося столкновения за Бородино.

— Частности прочли?

— Прочел: мне предстоит много работы. Разрешите уйти?

— Слушайте! Начинается атака...

— Откуда вы взяли — атака? Я, слава богу, не маленький, слышу. Подготовка артиллерийская, и та не началась, а он — атака!

Опять загремело, заухало, заохало.

Хованский, сыпя артиллерийскими терминами, высоким голосом стал выкрикивать итоги действий, которые он читал в громе боя. Лицо горело вдохновением.

Марк невольно залюбовался этим рослым офицером, разбирающимся в звуках войны, как в своей записной книжке.

— Резюмирую: атака с фланга была поручена батальону капитана Дашуна. Шляпа! Слышите? Ра-ра-ра!.. Наши отступили. Противник в прочной круговой обороне отражает атаки с любого направления? А? — Он указал, куда стрелять, сколько выпустить снарядов, а затем продолжал, обращаясь к Бондарину: — Слышите?! Немцы перегруппировывают свои огневые средства, тянут их на меня, снимают с фронта. Ух, приободрился капитан Дашун! Смотрите, лоб вытирает. Лоб вытирает, а?!

Он вытер лоб, как несомненно вытирал его капитан Дашун. Всякому другому, — но не Марку, — подполковник мог показаться пьяным или рехнувшимся. Марк же понимал, что такое яростная и вершинная страсть.

— Рождается новая решимость биться! Дашун оставляет на фланге одну роту, она ведет — слышите?.. — огонь. С двумя другими капитан крадется к опорному немецкому пункту с фланга. Использован танковый десант, не так ли? Слышите? Браво, капитан,

брависсимо! Три танка и следовавшие за ними сибиряки... это они так четко, ровно стреляют! Бондарин, берите трубку и узнайте результат атаки капитана Дашуна. Атаки!..

— Не было атаки,— упрямо твердил Бондарин.

— Была. Берите трубку на «Орел»!

Бондарин спросил. Кладя трубку, сообщил—не без почтения:

— Ваша правда. Подразделения капитана Дашуна ворвались в населенный пункт и ликвидировали немецкий гарнизон.

— Умею я читать партитуру, Бондарин?

— Опыт.

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо! Спорить мне с тобой некогда: сейчас немцы на меня всю злость обрушат. Надо пойти к ребятам. Пойдем, Бондарин?

— Я к себе, в медсанбат.

Они вышли из землянки.

Подполковник угадал. Гул орудий заметно приближался к позициям полка. Правильный, огромный, с едва уловимыми пролетами тишины, он сжимал сердце и наполнял чернотой жилы. Подбежал Никифоров, комиссар полка:

— Товарищ подполковник, противник сосредоточил против нашего полка все свои огневые средства!

— При известных условиях есть возможность их уничтожить,— ответил Хованский.

Он вплотную приблизился к Марку.

— Каково здоровье, лейтенант, как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник,— отозвался Марк.— Прошу дать место в бою.

— Назначаю командиром третьей батареи, лейтенант! Вместо убитого Матвеева. О твоём отце слышал. Нешаткий был мужчина, окончательный! Поживем изрядно и мы. Ухожу и приветствую. На всякий случай передаю тебе тайну музыки: основой действия боя должно быть стремление атаковать во что бы то ни стало. И атаковать... как? Со-о-окрушительно-о!

5

Хованский ушел давно. Марк ждал, когда же появится обещанный командир, который его поведет и представит третьей батарее.

Рошица содрогалась от разрывов. Выглянуло солнце. Запахло прелыми березовыми листьями, грибами, мокрой землей, навозом. Где-то, у коновязи, после каждого разрыва почесывалась лошадь, тонко звякало железо, точно соединялись вязальные иглы. Вдоль роши летело несколько ворон.

Врач, сидевший на поваленной березе и прочищавший веточкой мундштук, разглядывая на нем отверстие, сказал:

— Видали, вороны? Бой — боем, Бородино — Бородином, а жизнь все-таки говорит: пускаю вас до своей милости. То есть пусть двигаются по реке льдины, сбиваются, образуют заторы, но под льдинами идет, как всегда, существование живых особей. Плывут рыбы, ворочаются рачки...

— А человек на опасной льдине все же наверху.

Медсанбат врача Бондарина с юга подъезжал к Можайску. Принесли увечного: в работах по рытью укреплений плотнику бревном перебило ногу. Одна из девушек, работавших подле, наскоро перевязала плотника. Бондарин, увидав перевязку, изумился мастерству. Он приказал привести к нему девушку. Это оказалась Анастасия Фирсова, жительница Ногинска, комсомолка, бывшая еще недавно ткачихой. «Медобразования не получала. Перевязку сделала согласно санминимума». Бондарин сказал: «Дар у вас, гражданка», — и пригласил ее к себе в медсанбат дружинницей. Девушка согласилась, но поставила условие — взять и подругу: Тоню Владычеву.

Ум Бондарина, пытливый, трудолюбивый, неустанный, отставал от таланта только на один шаг, но какой это мучительно тяжелый шаг! Бондарин всю жизнь свою открывал, искал, посылал «заявки» и всегда опаздывал. Молодой или пожилой профессор только что, оказывается, пришел к таким же выводам: именно этим способом излечивается именно эта болезнь! Возьмем малярию. Бондарину современные методы лечения малярии кажутся нерадикальными. Он уезжает в ужасные места, где комаров больше воздуха. Здесь, среди поколений, в крови своей носящих иммунитет, он найдет такое лекарство, которое... короче говоря, его, больного, насильно увезли из глухого уголка Ленкорани. Лекарство он обнаружил, но на другой день после того, как его открыл ныне всем известный доктор Фа-

бусов, открыл, не выходя из удобной лаборатории большого города. Тем не менее Бондарин радовался своим открытиям. Однако же разум есть разум. Порадуешься зря один раз, порадуешься другой, да и устанешь. Приблизительно в двадцатый раз бессмысленной своей радости Бондарин усомнился в своих талантах. Он стал раздражителен, работы, им исполняемые, не отличались уже тщательностью.

В семье он был счастлив, и была она у него большая, удачная. Старший сын, химик, профессорствовал; первая дочь заведовала психиатрической больницей; вторая — видный специалист по туберкулезу; младший — печатает стихи. Бондарин говаривал: «Моя семья — самое лучшее мое открытие», и на глазах его показывались слезы, а так как ему было уже под шестьдесят, то слезы объяснялись любовью к семье. Гитлеровцы идут? Неужели Бондарин, сын народа, весь выкипел и выцвел? И подумалось ему: «Покажем ловкость!» Все прошлые труды казались ему теперь рожденными преждевременно. Пусть под шестьдесят, но он покажет проворство на пользу людям. Мысли творческие словно бы укусили, выбраживали. Он ждал вдохновения. Встреча с Настасьюшкой принесла его. Перевязка, ею сделанная, навела на мысль, — и на такую новую, что от волнения зарябило, забилося сердце. «Батюшки, так ведь это и есть «тампон Бондарина»!»

Благодарный за намек, лишенный зависти и преклоняющийся пред талантом, он всячески помогал Настасьюшке. В какие-нибудь две недели она узнала то, чего не узнаешь иной раз и в три года, но и дарование ее было не простое, а, так сказать, с зарницами. Одна беда — при виде книг, которых, к счастью, у врача оказалось мало, лицо ее тупело и превращалось в пустырь. На войне не до расспросов. Все же Бондарин с отеческой пытливостью захотел узнать о прошлом Настасьюшки. Она и передай, что говорила ей мать. И кстати уже рассказала о переписке с Марком. «Лесной человек, удивительный», — сказала она, будучи и сама не менее удивительной.

Поле, рощица, овражек, какой-нибудь захудалый садик, даже огород — умиляли и радовали ее несказанно. «Мне бы — знахаркой, — говорила она, широко раскрывая голубые и бойкие глаза, — я б тогда смерть,

как лиса, со следу сбила, меня бы до кореньев допустить». Все времена года, все птицы и звери, все, что цвело и веселилось, было близко ей. Соловьи и осины, подберезовики и кроты, дубы и пескари, закаты, восходы, росы, ветра — все, все щекотало ее сердце.

Идет мимо нее красноармеец. В коротеньких сапогах, открывавших ее кругленькие икры, в юбочке хаки, в гимнастерке и пилотке, воззрилась она на березовую рощицу. Говорит солдату:

— Наберегли, накопили, нахозяйствовались, а он — кто?.. Враг! Ему, наезжему, красоту такую отдать?!

Боец смотрит на лес. Думает о родных местах, вспоминает самые веселые дни. Ага! Свадебная гулянка. Зима, поближе к концу, время свадеб. И тут вот роща словно собралась на свадьбу. Невесты-березы в талии обтянуты белым шелком с черными вышивками. Золотой газ реет над ними. В густом скопидомном золоте стволы сосен, яркие их иссиня-зеленые иглы, среди игл разбросаны шишки.

— Наезжать наезжают многие, — скажет красноармеец — пензенский или уральский крестьянин. — Да каково-то им придется уезжать? Мы нашу красоту грабить не позволим. Сила не тесто, Расея не квашня, — понаскребем такое — вспухнут! Дай время.

— И я так думаю. Подвооружимся, соберемся, и будет ему плохо.

— А что ж? Не кто-нибудь, — Советская Расея! Вот она какая — просторная.

Настасьюшка с восторгом передает этот разговор, подкрасив его слегка: фантазия — не ложь, фантазия — правда, да только попрытче. И летит та девичья фантазия по линии, добираясь до самых смертных окопчиков, забрызганных кровью, замощенных патронными да снарядами гильзами. Летит такая прекрасная, что всякому хочется с нею встретиться!

Говорят: «Хвали бесстрашно, перехвалить через край нельзя». Но кто знает наш народ, поймет, что это не так. Привыкший к едкому слову, он и в принятии похвалы, и в отдаче ее — осторожен. Оно и лучше. В кремне огня не видать. Величайшим тактом Настасьюшки было то, что веру в победу, веру в то, что неудачи временны, она сумела облечь в эти скромные и прекрасные описания русской природы. Поэтому и похвалы ее казались естественными, и вера ее — правдивой.

Душе становился понятен глубокий смысл жизни. Сродно птице летать, рыбе плавать, а русскому быть красивым в минуты опасности!

6

Между землянок со вздрагивающими трубами показалась фигура комиссара. Марк устремился туда. Когда он вернулся, Бондарин сидел по-прежнему, положив тонкие руки на колени, такие острые, словно напоказ. Среди рыженьких волосиков тыльной части руки как пали несколько капелек с березы, так и лежат.

— Командира ищете? Зря. Он вас найдет. Насчет боя не беспокойтесь, бой сегодня не кончится. Война тоже. Прежде при Бородине бились день, теперь будем биться дней десять, двадцать... Курите?..

— Нет, благодарю вас. Разрешите узнать?

— Смотря что.

— Сколько лет подполковнику?

— Сорок три.

— О! Седой уже.

— Бывает... суть не в седине...

Он, нервно стуча мундштуком о ноготь, торопливо, точно наотмашь рубя, спросил:

— А вы, лейтенант, и не подозреваете, что перед вашим приходом мы с подполковником имели рассуждение о вас лично?

— В списке пополнения моя фамилия значится,— сдержанно ответил Марк. И он хмуро добавил: — Благодарю вас за внимание, товарищ.

— ...Иван Карьин — имя известное... — без внимания к собеседнику, а будто рассуждая сам с собой, продолжал врач. — Машина много раз выручала в бою. Спрашиваю подполковника: «Не сын ли случайно?» Звоним в штаб. Угадал: сын.

— Я признателен весьма... Во время боя, да еще при Бородине... моя личность...

— В данном случае вы были не личностью, лейтенант, а канвою при другой личности,— сказал Бондарин.

Воспользовавшись тем, что лейтенант плохо слушает его, а разглядывает приближающегося к ним капитана Елисеева, врач внимательно осмотрел Марка. При первом взгляде он кажется дурно сложенным, косола-

лым, разметанным, при втором — находишь некую, допустим, лесную изящность, а при третьем, — третий взгляд уже женский, — влюбишься.

— Капитан, вы меня ищете? — заговорил быстро врач, суя танкисту портсигар. — Курите, курите, я только что. Докурился до глупых мыслей, до головной боли! Каков подъемчик перестрелки, а? С минуты на минуту самолеты появятся. Вы незнакомы? Лейтенант Карьин! Капитан Елисеев, сосед наш и выручатель!.. Вы ко мне, капитан?

Молоденький, только что умывшийся и весь прибранный, как оптический аппарат, капитан Елисеев несомненно всем нравился, и несомненно, он знал это, и это нравилось ему. Взгляд его больших маслянистых и словно бы намокших глаз остановился на Марке, — и Марку понравился этот взгляд, на что капитан ответил еще более ласковым взглядом, не без оттенка превосходства.

Но тут капитан вспомнил что-то.

— Карьин?.. Ох, боже ж ты мой, боже! Карьин? По верхней башне вижу — Карьин! Его голова! Сын Ивана?..

— Сын, — отозвался Марк, и ему никогда еще не было так приятно выговорить это слово.

Сильные и горячие руки охватили его. Капитан отскочил и, размахивая руками так, точно желая расколыхать всю вселенную, воззвал:

— Карьин! Сын! У тебя на мне долгу понаросло много. Получишь в любое время и в любом количестве! Благодаря тебе, может, тысячи русских жизней спасено.

— Это не я. Это — отец. Я ни при чем, товарищ капитан.

— Не скажи! Плоть есть плоть. Верно, дорогой доктор? Ты угадал, Дмитрий Ильич, я искал тебя, не спорю. Но, найдя тебя вместе с Карьиным, имею желание встречи вдвойне. Ты вознаградишь встретившихся: водкой и закусками, ха-ха? Мои машины ремонтируют. Есть полтора часа. Насущная необходимость ехать к нему в медсанбат, а, Карьин? К врачу?

Марк сказал:

— К сожалению... извините... мне надо на батарею. Я бы рад... в другой раз...

В ту же минуту появился давно ожидаемый командир, и Марк ушел.

Капитан Елисеев поглядел ему вслед:

— Предмет не бьющийся, не курящийся, не пьющийся, а?

— Вроде,— отозвался врач.— Он произвел на меня тягостное впечатление.

— Ну? А на меня — наоборот. Он... Он стоит сверх чего-то! Он живет громко, вроде меня. А отдыхая, опирается на тучи! Так, доктор?

— Вы, капитан, действительно опираетесь на тучи, а он...

— Не обижай Карьина, доктор. И вот что: я опираюсь на тучу, но на какую? Не на грозовую ли, Дмитрий Ильич?

— Вы о Настасьюшке?

— О ней. Чего скрывать? Фашиста бью, воюю — и в любом случае, самом распропагандистском, о ней думаю. Куда, на какую полку класть такое отношение?

— На полку любви.

— Не нравится мне это слово: любовь. Фокусник мышей своих и тех не любит. Настало для меня время отгадать это слово. Страсть? Чувство?

— Аффект?

— Вот-вот, его еще недоставало. Аффект! Знаешь, какое слово, Дмитрий Ильич? «Всклонюся я другу, не другу: убери от меня ты подалее, не клади ты мне это словушко». Так у нас поется. И — названо оно: страдание! И опирается оно точно о грозовую... звона, легка на помине, корыстится!

И он указал на север.

Оттуда, охватив уже четверть неба, поднималась тяжелая и обвислая, как мокрый мешок, грозовая туча.

## 7

Отец его редко рассуждал о религии. Когда бабка, зажигая накануне праздника лампадку, жаловалась, что «к деревянному маслу не подступишься», отец говорил о некоем собирательном крестьянине Иване Сидорове, который «дорогонько платит за поиски правды, понеже в чем правды нет, в том и добра мало». В детстве Марк часто слышал об этом Иване Сидорове. Он казался похожим на седого водовоза, по утрам медленно возившего во двор их домика зеленую

бочку воды. Водовоз отчаянно, бабьим голосом, ругался, и Марк представлял, что вот так Иван Сидоров ругается, ища правду, и похожа та правда на подпрыгивающую в колеях зеленую бочку.

С детства запомнилось крепко: отец доставал старинную книгу в кожаном переплете с мягко звякающими медными застежками. «Здесь не религия, сударыня,— говорил он матери,— а красота». И Марк знал, что в этом отец не кривит душой. Красота — древние слова, розовые птицы, печально-радостный узор, пение, золотое, гладкое, легкое. На всю жизнь запомнился звучный колокольный голос отца, читающего древние сказания.

И оттуда шло это: «И бысть ему скорбь велия».

Тем временем третья батарея поднималась на холм, опускалась, выкатилась на берег реки, вдоль которого набитые мшистые сваи, таякнула оттуда; обогнула излучину; промчалась мимо какой-то церковушки с тремя главами, со следами пулеметных очередей; и опять выкатилась к реке. Река теперь была другая и по размеру и по цвету. Узкая, в лозняке, насмешливо голубая, веселая, будто нет и не будет ей дела до войны, и неважно ей, что килем вверх торчит тут у берега катер.

Да, грузен труд артиллериста, тяжелы пушки, глубоки грязи, грозен и беспощаден враг, которого жди за каждым кустиком. Светловолосый, как в песне, Ванюшка Воропаев, крановщик с Уралмаша, сказал очень метко:

— На войне, товарищ лейтенант, угодником стать легко, а вот праведником попробуй.

Это значит — угодить просто. А знать правду войны, ее музыку, ее ритм — куда труднее.

И, стоя по колена в грязи, когда мутная, как кисель, холодная вода текла за голенища сапог, а проклятое орудие никак не вкатывалось на пригорок, а тягач глох, Марк думал: «О, как прав Воропаев, как прав! И ему легко, ибо он все-таки уже праведник, а я? Он-то ведь угадал уже музыку войны. И не он один. Вот он присматривается к орудию и сейчас так повернет его, что оно само вкатится. А я?»

Праведники? Хорошее слово, все объясняющее! О войне, ее смысле они говорят редко. О враге говорят теми же словами, какими на Руси испокон веков обы-

вают палачей, катов. Пленных провожают недобрым взором: «Вожжи нужны, а то бы на осину». Все думы — возле орудия. И кажется, что помимо снаряда летит еще рядом с ним кусок их воли. На всякое затруднение, даже беду, уже готов выход. Прищурится, и глядишь, согласно приказу, в ноль-ноль столько-то батарея на позиции и ведет огонь.

И, разумеется, далось это умение не сразу, но вот как далось, кто обучил и приладил, допытаться невозможно. Матвеев? Да, Матвеев, но до него был Петренко, а там — Самсонов, и десятки сержантов, старшин, рядовых — ловких, умных, ладных...

У Марка с батареями сразу установились правильные взаимоотношения. Они нравились Марку. А батареи рады были своему новому командиру. И похоже, что у всех чувство одинаковое — большая лодка, много сильных гребцов, у руля знающий, а главное, смекалистый. И этот, смекалистый, сам над собой чувствует сметку подполковника... Эх, всю бы жизнь так прожить: в отваге, в сметке, в ладу!

Бойчее себя чувствовал также и оттого, что с каждым часом понимал их больше и больше. В редкие передышки, чаще всего после еды, он присаживался к ним, слушая их разговор. Сперва он казался беспорядочным и даже бессмысленным, но вскоре стал обнаруживаться высочайший смысл.

Разговор обычно начинал сержант Никита Редлов, тридцатилетний мужчина с тяжелой челюстью и предобрим лицом. На сцену одновременно появлялись какой-то племенной рыжий бык в тонну весом, которого колхоз менял на ветряк, и вражда двух колхозов из-за неправильно срубленной сосны на кладбище. Редлов служил тогда в каком-то «Земельном управлении» и ездил, как он говорил, «ликвидировать этот сосново-бычий конфликт».

— Я им говорю: «Ну, чего блеете, мужики? Ловчей вас людей в области нету, а вы быка обменять не в состоянии». Тут они кричат: «Да зачем они у нас сосну срубили!» — «Постойте, говорю, давайте разложим события на основные части». — «Это тебя, сукин сын, надо разложить да выпороть, а не нас!» — кричат, будто не понимают, а самим все очень хорошо известно.

— Кропотовцы-то? Село умнейшее! — подхватывает наводчик Стремушкин, бывший плотник, тощий, бе-

лесый и самый говорливейший на батарее. — Я, товарищи, все области прошел и в Кропотове был три раза, а однажды в осень рубил им колхозный коровник — богатейшее здание...

— Так это ты, Стремушкин, сосну-то на кладбище срубил?

— Я знаю, кто рубил, — внезапно входит в разговор татарин Батуллин. — Я зимой катал им валенки, ух, теплый село, жирный народ, веселый...

Собрались люди с разных концов страны, — а страна маханула и в Азию, и в Европу и уперлась одним крылом в Америку даже, — и у каждого своя профессия: крановщик, плотник, пимокат, трубопроводчик, тракторист, огородник, тончайший знаток ягодных растений, печатник. Но, оказывается, все они бывали в Кропотове и, мало того, знают его наизусть! А велико ли село, сотня домов!

Неужели так-таки все и бывали? Не врут ли? Да и существует ли вообще это село Кропотово, племенной бык в тонну, ветряк и пенёк от нечаянно срубленной сосны на селёском кладбище? Почему удвинули это село дальше, в уральские степи, почему оно оказалось самым нужнейшим, что каждый из них побывал там? И почему там такие ловкие, умные, богатые и щедрые жители и такие простые дети? Мечта, созданная дружбой? Идиллия, порожденная войной?

Это сомнение возникло, когда Марк впервые услышал и разобрался, что дело с быком и сосной происходит именно в Кропотове, в уральских степях. Позднее, после двух-трех разговоров, сомнение исчезло, — и объяснить и возникновение его и исчезновение было крайне трудно, да и нужно ли! Марк попробовал прервать их беседу о Кропотове вопросом:

— Редлов, вам известно, что мы стоим на Бородине?

— А как же, товарищ лейтенант? Политрук объяснял, а в Можайск приезжал профессор. Читал лекцию. Кутузов, Багратион, редуты. Что ж! Земля хорошая, противник и лезет.

— А мне, товарищи, — заговорил скороговоркой Стремушкин, — мне сюда идти было боязно. Это Бородино я в школе учил. Учитель сердитый орет на нас: «Чтоб от корня до корня мне подать». А оно длинное. И стоят на нем, товарищи, богатыри. Ну как не сму-

тяться?.. А пришел, гляжу: вдругорядь тот же народ стоит. Я тоже встал.

— Вдругорядь! — отозвался светловолосый крановщик. — А я вперворядь его вижу и скажу: парализовать хочет...

И он затейливо выругался.

— На «нее» и в щель взглянуть жутко, — отозвался кто-то.

«Она» — это смерть. О «ней» говорят редко и без насмешки. И обычно, когда скажут о «ней» что-нибудь, то разговор прервется и возобновляется о другом, обычно опять вспоминают о Кропотове.

Однажды молчание продолжалось дольше, чем обычно. А затем произошло совершенно неожиданное. Воропаев, светловолосый крановщик, вытер узловатые руки о штаны, пригладил усы и, простодушно глядя в хмурое лицо Марка, спросил:

— Разрешите обратиться с вопросом, товарищ лейтенант?

— Прошу вас, — сказал Марк.

— Настасья Федоровна Фирсова родственница вам придется, товарищ лейтенант, или — кроме знакомая — ничего?

Спросил он небрежно, словно бы походя.

— Знакомая, — сказал Марк с усилием. — Постой, Воропаев! Да разве она здесь?

— Ну, а вы будто и не знаете, товарищ лейтенант? Хозяйка! Все поле в ее руках. Смерть не страшна, а умирать противно, не то бы ранам радовался, потому — она лечит. Полевая терапия, товарищ лейтенант!..

Отступление, ужасающие бои, неудачи, — и дружба, господство возвышенного, вера в себя, в отечество... Хорошо!

Праведники? Несомненно, праведники! Люди, шагающие с правдой и мечтой в душе. Люди из Кропотова...

8

— Сожалел небось, Марк Иванович, что тайгу да зверей оставляешь? Кто в лесу жил, знает: дерево, не говоря о звере, и то привыкает к тебе. Отходишь от него, ветру нет, а оно колышет-машет ветками, и на зенитках, приглядись, роса. А солнце полуденное. Как это в лесотехнике-то называется, Марк Иваныч?

— Сентиментальность, Настасья Федоровна, — ответил Марк.

— Ну, кто меня так зовет? Зовут меня Настасьюшкой, будто няню. Да и по словам я старушка ведь, Марк Иванович?

И она думает: «Не такой он, каким нашел его Бондарин, который, будь ему воля, запретил бы ей совсем встречаться с Марком. Давали парню ноши не по плечу, — легкие, он и заскучал и подумал, что мир в ладонь. И стал он выбирать ношу потяжелее, и наткнулся на «ошибку с Фирсовым». Парень смелый, решительный, дай ему эту ношу, — донес бы, не согнулся, да на ту беду вторая ноша: война. И уж две-то ноши: фирсовскую, непонятную, и вторую — военную, ему не унести! Значит, надо парню помочь сбросить ту, надуманную ношу, — фирсовскую. Пусть себе, с богом, несет военную ношу, — лишь бы донес. А донесет! С собой крепок, буен во хмелю небось, но душой и разумом чист. Жалко такого отпускать, да какая же с ним дружба? — медведь с ним дружи!»

— Я давно собирался увидеть вас, Настасьюшка, — говорит Марк в напряжении. — И приехал бы, считай себя достойным встречи.

— Чем же один человек может быть перед другим недостойным, Марк Иванович?

— Мой отец украл у вашей матери...

— Ах, Марк Иванович! Откуда у вас эта муть? Чем ваш отец мог обездолить мою маму? Вы не думайте плохо о мамином счастье, Марк Иванович. Да и о моем тоже. Мама моя вышла за другого, за бухгалтера, жили они хорошо, и бухгалтер был очень доволен, что вот она — с профессором разошлась, а с ним живет. И меня он любил. У ней от него двое сыновей было, они сейчас в Ногинске; один учится, другой на фабрике, где я работала. На фабрике мне было хорошо, Марк Иванович. Интересно. Траву ведь ткешь! Ткешь себе, и чудится, что целое поле превращаешь в кружева, в коленкор или в бумазею. Жалованье получишь, конфет купишь или варенья... нет, я своей жизнью была довольна, Марк Иванович. Я семилетку, слава богу, кончила, и теперь меня Дмитрий Ильич на сестру милосердия готовит, сдам экзамен, на фельдшерицу учиться буду...

Марку подумалось, что разговор идет неправиль-

но: не о том он мечтал, когда рисовал встречу с ней. И он сказал:

— Не сохранилось ли, Настасьюшка, в вашей памяти... это очень важно для меня!.. беседы с матерью... и ваш вывод: в той ссоре наших отцов — кто виноват?

Настасьюшка ответила совершенно безмятежно:

— Да кто их знает, голубчик! Не нам их судить. Все трое покойники. Раз так случилось, что поделаешь?

— Сделать многое можно, — горячо заговорил Марк, — и мы, дети наших отцов... взяв на себя все, что осталось от прошлого...

— О прошлом-то, Марк Иванович, как раз больше всего и врут: оно ведь не станет опровергать. И я так думаю, что взяли мы от прошлого только хорошее, в первую очередь — жизнь. Вот стоим мы с вами на Бородине, а сколько о нем песен пето...

Еще более поспешно, боясь утратить мысли, Марк сказал:

— Да, да! Но о Бородине после. Дневников, записок у вашей матери не осталось? По запискам раскроем: в чем же дело, почему сломали жизни?

— Какие жизни, Марк Иванович? Мамаша жила хорошо, отец помер, — вольно ему было два литра после рыбной ловли пить, я... Да вы на меня гляньте: чем же я несчастна?

Марк напряженно вглядывался в нее. Черты лица ее мелкие, и вообще она вся какая-то мозаичная. Розовые уши ее немножко велики, она понимает это и убирает их под платочек, кокетливо улыбаясь и поправляя шинель, падающую с плеч, тем движением, каким цыганки поправляют шаль. Назвать ее несчастной? Почему же? Тогда чем же Марк способен ей помочь? Но почему же ему хочется говорить о помощи ей?

— Не-ет, разве я несчастная, Марк Иванович? Я поднимусь высоко. Есть такие, которые считают, что человек не должен выше их носа подниматься. И начнут тебе свет застить. Тех я оттолкну! Я добрая, но отталкивать умею. Свету мне хочется, Марк Иванович!

— Законное желание.

Она повела плечами. За этими плечами лесок, а за ним поле. Темные воронки дыма стелются по нему. Из серой ямы неба пикируют самолеты. Сыплется на поле пулеметный град. Снарядом повалило дерево. Лох-

матое, плетенное из веточек, воронье гнездо упало с вершины и застряло, катясь, в колее дороги. Раненый, идущий по колее, перед тем как войти в палатку врача, смущенно очищает грязь с сапог о гнездо.

Марк уходил мелким, лесным шагом, высоко приподнимая ноги. Большие следы его сапог четко отпечатывались на обочине. Рыжая вода заполняла эти следы... Так ли она поступила? Правильно ли, что так быстро сняла с его плеч «фирсовскую» ношу? Она не налгала, нет,— она несколько пофантазировала на тему о своем стремлении «повелевать». И относительно книг она не лгала — Лермонтова, например, она любит больше, чем Пушкина. Но ведь о своем счастье она не лгала? Да, она скоро будет счастлива... с кем?.. с ним?.. Не потому ли «отваживала», что любит другого? Нет, нет, как так можно думать?!

— Настасьюшка, Настасьюшка, что задумалась? Он — интересный, да? Интереснее капитана?

— Какого капитана, Тоня?

— Господи! Да капитана Елисеева.

— Стыдилась бы!.. Копеечные мысли!.. И вдобавок где! — на Бородинском поле!.. Мало работаешь, идем...

9

В землянке мало перемен. Мозолит глаз коптилка, телефон с засаленным от долгого употребления шнуром, папка с приказом, испещренная отметками красно-синим карандашом, закапанная чернилами. По-прежнему вздрагивает коптилка от взрывов, и по-прежнему знамя, стоящее в углу, в клеенчатом чехле, слегка отделяется от стены; тогда кажется, что кто-то хочет его вынести, но, раздумав, ставит обратно. По-прежнему в землянке Хованский и Бондарин. Широкоголовый, недвижимый, словно одеревенев, сидит за ящиками из-под консервов Хованский, прислушиваясь к чему-то такому, что слышит он один. Красные его руки оттягивают ремни портупей. Во всех движениях его серьезная и умная многозначительность, и Марк не думает о нем: «философ музыкальной баллистики». Он думает другое, еще неясное, но, должно быть, очень хорошее...

— Лейтенант Карьин явился по вашему приказанию, товарищ подполковник.

— Садитесь, лейтенант.

И опять безмолвие; пристальное безмолвие, наблюдающее за силой и движением врагов, необозримые ряды которых теснятся на древнем русском поле... Странно, но после разговора с Настасьешкой Марк стал чувствовать себя гораздо свободнее, даже к Бондарину нет прежнего, несколько презрительного отношения. Неужели придется заменить «мыслящий рецепт» — «мыслящим врачом»? — думает он, с улыбкой глядя на Бондарина.

— Как на батарее, лейтенант?

— Все в порядке, товарищ подполковник. Со снарядами есть неувязка, но снабженцы обещали...

— Снаряды привезли. Психическое состояние бойцов?

— В Москву врага не пустим.

Хованский взялся за телефон.

— Нет! Не отдавать ни в коем случае! — вскрикнул он, бросая трубку.

И он опять повернул лицо к Марку. Лицо это показалось Марку усталым, больным, измученным бессонницей сражения. Утешал Бондарин. Бурное волнение пылало на его лице. Он, видимо, страстно желал устремиться в разговор и сразить в нем кого-то:

— А, Марк Иванович! Попали вы на именины войны. Стремление отбросить, покорить врага достигло наивысшего накала. Я это стремление ощущаю более резко, чем всегда. Я вижу, как всегда: ко мне все нити сражения, вернее, перерезанные нервы. Но они еще трепещут, и я вижу много. Много, голубчик! «Тысячи падали. Но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирали труп своего брата, чтобы только отомстить смерть его». Эти строки были написаны по другому поводу. Но я прочел их сегодня... три ночи бессонных... перед сном читал Карамзина... прочту, урони слезу, — страшна ты, история русская, и...

— История Европы еще страшней, — глухо кашляя, сказал Хованский. — Мы привыкли — Возрождение, французская революция, Кромвель, сорок восьмой год, Коммуна... Это — окна. А о доме судят не по окнам. Вы в простенки взгляните! Виселицы, пытки, костры, насилия, надругательства над нациями, искусством. Рыцарство? Ха-ха! А вот в результате исто-

рического шествия всей этой сволоты и появляется великий гной, мировая гангрена, которую мы с вами сегодня, изволите видеть, лечим, Дмитрий Ильич.

— И вылечим, Анатолий Павлыч, вылечим, клянусь!

— Что мне ваши клятвы? Берегите их к концу.

— Концу чего?

— Сражения. Там они понадобятся, когда придется клясться, что с поля не уйдем, пока не падут враги. Впрочем, что о вас заботиться? У вас жару на сотню клятв хватает. Молодая у вас кровь, Дмитрий Ильич!

— Да и у вас не княжеская. Прошлый раз я, простите, злобствовал и, кажись, назвал вас поповским сыном...

— Поповский сын не позорней какого-нибудь другого. Мне-то все равно: поп ли, дьячок ли, купец ли, а лишь бы папаша. Не видел я папаша! И матери не знал. Дед, сказывают, из дворовых, а фамилия — княжеская. И за княжескую кличку бежала за ним всегда насмешка, отчего дед и пил нещадно. А может быть, просто выпить предлог искал? Глупости все эти фамилии, двадцать пять рублей им цена. Суть не в этом. В другом. То, что я вижу в вас, Дмитрий Ильич, трепет от труда! — Он глубоко, будто на столетие, набрал в себя воздух и сказал: — Труд — самый великий меч человека, его защита и его счастье. Платон в «Федре» сравнивает душу человека с телегой, запряженной парой волшебных коней. Кони-то хоть и волшебные, но один из них с пороком, норовит, негодяй, вместо верха — вниз. Но возница мудр и тверд. Благородный, трудолюбивый конь пересилит порочного, вывезет. Вывезет, как вы думаете, лейтенант?

Марк сказал:

— Он уже вывозит, товарищ подполковник.

Хованский захохотал:

— Вот оно, великодушие молодости! Они хотят разделить славу с отцами. И правы! Отцы тоже не дураки. Например, врач Бондарин, вам, я уверен, сегодня пришла в голову великая мысль? Вы накануне открытия! Человечество с легкостью будет залечивать раны! В природу надо еще много вложить труда. И вы вкладываете, Бондарин, а? Читали вы первую книгу Бытия, лейтенант? Нет? Еще прочтете. В конце шестого дня: «и увидел бог все, что он создал, и хорошо весьма».

Обрадовался. А почему? Да потому, что был уверен — придут Бондарины и поправят то, что недоделано, а недоделанного много: и в природе и в человеке! Например, болтливость. Да еще во время боя.

— Болтливость — порок, если бой не налажен. И дай бог нам побольше такой болтливости, как ваша, Анатолий Павлыч.

Хованский опять захохотал, широко раскрывая темный рот.

— Начальник и подчиненные! Речь представителя подчиненных по случаю юбилея начальника. Впрочем, перед тем начальник хвалил подчиненного.

Марку было чрезвычайно трудно следить за беседой. К тому же подполковник явно многословен, а врач — излишне и даже бессмысленно горяч. «Не скрывается ли здесь, как и прошлый раз, что-то иное? — встрепенувшись, подумал Марк. — Спорят они о труде, а думают обо мне». Но, пожалуй, на этот раз было другое.

Бондарин достал портфель, вытащил оттуда пачку поспешно набросанных заметок. Посыпались медицинские термины. Хованский, к удивлению Марка, превосходно разбирался в медицине. Даже сквозь свое невежество Марк понял, что подполковник высказал несколько дельных мыслей. И это наряду с тем, что он отдает приказание о бое, выслушивает донесения, соглашается или возражает своим помощникам.

К Марку они оба относятся теперь по-другому. Почему? В бою никаких особых дарований Марк еще не проявил. Он был послушен, не больше. Для него в бою хорошо и то, что дисциплинирован, но разве не нужна в сражении выдумка, молниеносное вдохновение? «Та-кими разве хаживали в бой деды наши?» — «А разве ты знаешь какими? Бывало, ходили такими, а бывало, придя, делались другими. Мы знаем начало и конец действия, а самый процесс его кто уловил? Кто расскажет мне истинную музыку прошлого сражения, когда вон, по словам Хованского, до сих пор спорят о том, как протекала Бородинская битва...»

Промежутки в буре предвещают еще более ужасный всплеск ее.

Внезапно канонада прекратилась. Наступила тишина, да такая, что упали пылинки — прогрохочет громче грома. Сырой холод потряс Марка.

Хованский откинул назад плечи. Из угла, из тьмы, выступил долговязый писарь. Держа шинель двумя пальцами, он подал ее Хованскому и вышел торжественно, словно на цыпочках. Хованский надел шинель, закутал ноги, опять уселся насупившись. От его шинели пахло табаком, машинным маслом, мылом. Из одного кармана торчало полотенце. Должно быть, ходил на речку окунуться, да и забыл вынуть, — купался он, говорят, до льда.

— Воспитывался я в военной среде, знаете, — сказал он, редко моргая длинными ресницами. — А военная среда к женщине на словах относится хорошо, а на деле — значительно хуже. Здесь, Дмитрий Ильич, тоже не мешало бы подлечить среду. Был я однажды на маневрах. Пришел из Рязани, — стояла наша часть тогда в Рязанской. Батарею мою поставили на хуторе. Так, одно слово, что хутор. Торчит полугнилая изба среди полугнилого поля, у гнилого болота, и вокруг темень, ветер, осень, жуть. Жена у меня тогда в городе находилась. Думаю: что бы хоть жене приехать? Да откуда она узнает, что я здесь? Маневры, бросают влево — вправо, бросили на хутор — пятые сутки неизвестно для чего. И вдруг трынть-трынть, — тогда еще колокольчики водились, — въезжает пара. Она! И была у меня дочка трех лет. До того часу, как они сюда, на хутор, въехали, не помню, как относился я к ней. Растет — ну и расти!.. Въезжает пара, жена возле ямщика, сама белей мела. Говорит: «Ты?» — «Я, мол. Что случилось, в чем причина приезда, да и как нашла?» А она дочь сует в руки, шепчет: «Не могу, тоска загрызла, объясни, что происходит со мной?» — «Да глупость, мол, происходит! Зачем приехала? Что отвечать начальству?» — «То и скажешь, что тоска». Пожили они у меня день. Я настаиваю: «Надо уезжать, и без того неприятности». Уговорил. Да и жена поуспокоилась. Правда, у меня сердце ныло. Выйду, погляжу на небо, небо в тучах, и тучи те прямо у моих сапог. Махнешь направо — дождь, налево — слякоть, а в полях что-то катится, и воет, и свищет. Вдуматься по сути дела, самая обыкновенная русская непогодь, которую и бурей-то, собственно, назвать нельзя. А тоска непогодная, туманная! Поехали. Через день непогодь как топором отхватило, батарея моя вышла к месту назначения, и в каком-то районном центре получаю телеграмму: «Ва-

ша супруга, товарищ командир, скончалась». Поскольку кони, когда ехали от меня, покатило тарантас по откосу, а тут река, омут, — и захлестнуло. О дочери ни слова. Я телеграфно спрашиваю. Молчат. Я — в город. Уже похоронили обеих! Я пришел на могилку. Кладбище старинное, в деревьях. Деревья как золотым металлом осыпаны. А я стою, гляжу на этот темный холмик, где еще следы лопат — приглаживали землю могильщики, и думаю: «Ведь вот отчетливо помню, что полюбил их неслыханно, когда сходили они с крылечка и над ними простерлось наше бессонное небо. Полюбил ведь? Вчера пылало сердце, а тут захирело в сутки?» Что это? Нелепости в жизни? Предчувствия? Или случайности, которые сопровождают каждую бурю? Этих ответов я дожидаясь сейчас, а тогда была просто мука, звериная, грубая мука. И самобичевание: не будь бы я годами холоден, разве бы они ринулись ко мне? Дождались бы!.. Простите, я вам не повесть читаю поучительную о сгоревшем доме, а у меня такая своеобразная манера отдыхать в затишье. Я просматриваю карты, на которых бит, перед тем, как взять карты, на которых выиграю.

И прояснившись, великолепным голосом, напоминавшим Марку голос отца, он спросил с отменной простотой:

— Хорошо вы встретились с Настасьешкой?

— Хорошо, — ответил Марк и не солгал. Чувство, оставшееся после встречи, было подлинно хорошим, словно побывал в большом, отлично содержимом фруктовом саду. Выразить это чувство трудно, но надо. Хованский ждет. На добром лице Бондарина тоже напряжение. Марк, немного помявшись, сказал: — Видите ли, товарищ подполковник...

— В таком случае не трудно сказать — Анатолий Павлыч.

— Я боюсь нагрубить, Анатолий Павлыч, если попытаюсь передать мои чувства, испытанные мною при встрече с Настасьешкой.

— Раз боитесь нагрубить, значит, не нагрубите.

— У меня осталось такое впечатление, — сказал Марк, уже повертываясь к Бондарину, — что я ложусь в двенадцать, а она в восемь. Я работаю в ночи. Она — днем. А все же для нас обоих солнце блестит одинаково прекрасно...

— Как здоровье, лейтенант?

— Превосходно, товарищ подполковник.

— Отправляйтесь на батарею: она нацелена на врага; батарея, вообще говоря, хорошая. Но встречаются неприятные мелочи, наблюдайте за ними внимательно. Знаете, шелуша орешки, тоже наешься вдоволь. Поприглядитесь.

— Есть приглядеться, товарищ подполковник.

10

Да и приглядываться не пришлось.

Два разведчика — Батуллин и Прокопьев отправились узнать, что творится у противника. Три часа идет редкая перестрелка. Противник к чему-то готовится, перегруппировывает силы. В разведке Прокопьева ранили, и в это же время фашисты открыли сильный минометный огонь. Батуллин, «не выдержав техники», по его словам, покинул товарища и прибежал на батарею. Политрук и Воропаев, впервые встретившие его, говорили, что никогда они не видали такого испуганного посинелого лица.

— Мертвец, и тот чище, — добавил Воропаев.

Добро, что случайно оказались под рукой санитары, которые и вынесли Прокопьева! А если б их не было? Погиб бы хороший боец, пал бы позор на батарею! Уже сейчас подполковнику известно... откуда?

— Откуда известно?! Не знаю! — тем же несколько беспечным голосом сказал крановщик.

Марк приказал привести Батуллина.

Приближалась ночь. Торопливо, точно подводя счет, били по лесочку немецкие минометы. Батарея им не отвечала. Спрятавшись в лесочке, на полянке, возле старинного колодца, заросшего высокой крапивой и лопухом, батарея бросала снаряды на левый фланг, к реке. Сюда, по предположению Марка и по словам разведчиков, движется основная сила удара немецких войск.

Ковыляющей походкой, выкидывая вперед каблук, подошел Батуллин. Лицо его, раскосое, круглое, было так бледно-прозрачно, что казалось, можно разглядеть сквозь кожу решетку костей. Увидав это виноватое лицо, политрук и будущий сержант Воропаев потемнели, точно сейчас разглядели трусость.

И тут-то ужасный взрыв ярости, которого так страшился Марк, охватил его. Наклонив голову с просторным, заполненным вспухшими жилами лбом, расставив чугунные сапоги, сумрачный, вздрагивающий, он ворчал глухим голосом, от которого Батуллин сотрясся больше, чем от пикирующего штурмовика.

— Глядите на него! Всматривайтесь!..

— Товаришш командир, товаришш литинант... — бормотал Батуллин, медленно ворочая треснувшими от внутреннего жара губами.

— Уходи! Уходи, чтоб батарея тебя не видала! Уходи под минометы! А оттуда приведешь «языка». Слышишь? «Языка»! Немецкого! Без «языка» не пустим! Налево кругом!..

Батуллин сделал «налево кругом» и, как был без шапки, без винтовки, так и пошел. Уже по дороге добряга Воропаев нагнал его и вручил ему винтовку:

— Ты ничего. Ты не бойся, Батуллин, главное дело! Ты считай, вроде меня, — весело пожито, красно похоронено.

Батуллин неожиданно рассердился. Зубы его сверкнули. Лицо исказилось.

— Кто хоронись? Не буду хоронись! — прошипел он и скрылся в голых кустах.

Воропаев глядел на размеренно вздрагивающие ветки кустарника. Верх их еще зеленоватый, а низ уже надел темную шубу зимы, закутавшись дебелим мхом. «Дал маху лейтенант. Уйдет поэзия!» Разговоры о домашности, которым часто предавался Батуллин, светловолосый крановщик называл «поэзией, детским дерьмом». То ли дело Уралмаш или хотя бы Кропотово, товарищеское веселое село, работающее, вдумчивое, где все друг за друга, каждый другому насадка. «Жалко лейтенанта, надо его поберечь: кропотовский парень, оттуда! Только как же это он, при кропотовском уме, маху дал?»

Но оказалось, что лейтенант маху не дал.

Батуллин вернулся с «языком».

А перед его приходом было жарко.

Батарея, понимая, что все ее спасение в точности работы, действовала с чудовищной, невозможной, казалось, для живых существ точностью. Хотя позиция была новая, но каждый шаг по неровной и незнакомой еще земле был рассчитан сразу: столько-то секунд на

проверку. Чутким ухом батарея улавливает в трубке полевого телефона голос корректировщика, что «с пяти попаданий», «с четырех», «с трех»... «объект разрушен». Марк вносит сообщение в клеенчатую тетрадь, широкую, как тот чехол, которым обернуто шелковое знамя,—и да будет она священна, эта тетрадь, как знамя!

Чем сильнее сгущалась ночь, чем ниже спускались осенние тучи, до липкой влаги которых, казалось, достанешь затылком, тем чаще рассыпались пониже туч коварным, серебристо-желтым блеском вражеские ракеты, тем быстрее и удачнее сыпала в ночь, в наступающих немцев третья батарея свои смертоносные, злые снаряды. «Помирать хотите под иллюминацию? Пожалуйста!» — изредка говорил Воропаев, наблюдавший за подноской снарядов.

И ярость, которой был охвачен Марк и которая не исчезла с уходом Батуллина, а еще увеличилась, ужасающим своим восторгом охватывала не одного его, но и всех, стоящих рядом с ним. Подражая своему бешеному лейтенанту, солдаты, как и он, наклоняли головы, расставляли ноги и после залпа глядели на ракеты, будто по их блеску пытались угадать: сколько же уничтожено сейчас гитлеровцев?

Давно от сотрясений обрушился древний колодец, стоявший небось с Наполеонова нашествия; давно осыпались деревья, засизевшие было осенним инеем; давно в волдырях привыкшие к работе руки подавальщиков снарядов, а командир батареи неугомоним. Он смотрит на приборы, проверяет радиста, телефонирует и чрезвычайно радуется, когда ему удастся перебраться по телефону словом с Хованским, который почему-то тоже в эти часы охоч с ним поговорить. Говоря, он представляет себе Хованского. Голова его, в седом жестком волосе, широка, как кастрюля, а тело длинно и тонко, будто тесина.

— Как можется, лейтенант? По левому флангу?

— Сможется, товарищ подполковник. Так точно, по левому!

И лейтенант спешит к орудиям.

— Еще, ребята, по противнику! Действуй, артиллеристы!

И то сказать — третьи сутки не дают артиллеристы немцу ударить по дивизии с левого фланга. Рушат и рушат.

— ...Куда прикажешь с ним идти, товаришш литинант?

Ух, знакомый голос! Знакомый? Лейтенант кинул трубку полевого телефона.

— Батуллин? Черт! Ты?

— Так точно, товаришш литинант!

— И с «языком»?

— Так точно, товаришш литинант. Большой «язык», едва засиловал. Думал, осиротеют у меня в колхозе, под Уфой. Он мне наперерез! Я — в один прыжок!

Голос у разведчика сиплый, но какая теплота, какая чертовски приятная теплота!

Марк осветил фонариком фигуру гитлеровца. Человек не тряпка, да и ту изомнешь, если ползти тебе под огнем минометов. Помят и немец, рослый и, видимо, силищи неимоверной. Еще недавно, там, за спиной своего огня, был он напыщен и высокопарен, а вот как пробрила смерть, так и стал он пуст и мелок, что противно и смотреть.

— Завоеватель? Ефрейтор, сволочь? — слышится взвизгивающий от злобы голос Воропаева. — В Кропотово им! Прикажете пулю, товарищ лейтенант? Она зудит по нем. Прикажете?

Лейтенант спешно приказал вести пленного в штаб полка. Батуллин, самодовольно лоснящийся, повел его. Не доходя шагов ста до штаба, он решил показать штабным, как удалые разведчики приносят «контрольных пленных». Он взвалил огромного гитлеровца на спину, и согнувшись, потея и пыхтя, принес его к землянке. Немец лежал на его спине смирно, стараясь не задеть татарина локтями; испуганно был раскрыт рот ефрейтора со вставным стальным зубом вверх.

Едва Батуллин скрылся с полянки, как внутри Марка все запенилось и запетушилось. Приятно, леший его дери, чертовски приятно!

Приятно, что угадал сердце Батуллина. Теперь много будет угадываний. Другого порядка, разумеется. Приятно, что в ярости не потерял себя, а, наоборот, нашел! «Тра-та-та-та-та, тра-та-та!» — насвистывал он. И орудия подпевали ему в голос: «Тра-та-та-та, тра-та-та!» И лес вторил.

— Нет-с, Марк Иванович, вы в этом деле не уронили тени отца!.. Да, в этом. А в другом? В каком? Ах, — Настасьюшка!..»

Подумал о ней, и радость его не умножилась... Живет для себя? Живи. Славы ищешь? Ищи. Я ни при чем! Я не из вашего комода, не ваш выдвижной ящик...

...Перед рассветом орудиям дали отдохнуть. Воропаев принес в котелке пахнущую дымом кашу. Марк густо, по лесной привычке, посолил ее и стал жадно есть. В голосе Воропаева, — он «заводила» в батарее, — чувствовал уважение. Он учтиво подавал хлеб: любимые Марком горбушки. Марк понял — батарея нашла настоящего хозяина и подчинилась. Что ж, приятно!

И еще ему приятно сознавать: гул сражения, в котором он участвует, в несколько дней изменился для него. Изменился заметно. Вначале — что греха таить! — он чувствовал себя песчинкой в урагане. Теперь же Марку уже кажется, что он выдернул из себя наиболее вредное, наиболее суетливое, от которого в диком страхе пучеглазится человек. Добыто «оно» с трудом, с тяжестью, будто не дни прошли, а годы. А разве остальным «оно» легко досталось? Мало искривилось людей, мало истоптано дорог гвоздистыми ботинками войны?.. Невелика третья батарея, а послушаешь бойцов — сколько народу погибло, пока не подобрались ладные...

Сквозь залпы орудий, каждый из которых выбивает себе дорогу по сквозящим верхушкам деревьев, сквозь едко-мягкий вой минометов Марк слышал лязг танковых гусениц. Машина спешно пробирается лесом. «Чья бы, куда бы?» — подумал Марк, и ему пришло в голову, что, поглощенный жизнью своей батареи, он забывает спросить, как же обстоит дело на всем Бородинском поле, этом небольшом участке великого сражения, происходящего на гигантском пространстве: от тундр до кипарисов.

С ловкостью, свойственной удачливым и счастливым людям, капитан Елисеев поставил свой танк на холмик, возле опушки. Гусеницы чавкнули последний раз, и, вытирая руки тряпкой, с маслянистым, сияющим довольством лицом в люке танка показался сам капитан. Разумеется, так же, как и Марк, он почти не спал эти ночи, но какая разница в выражении лица! Марк, хотя внутренне и чувствовал себя превосходно, внешне казался угнетенным. Капитан Елисеев? Разве подумаешь: ну, подгулял немного! По-прежнему волосы капи-

тана цвета спелой пшеницы, нежна кожа на длинной шее, даже грубый ворот кожаной потрескавшейся куртки похож на дивный ожерелок из каких-то приятных рыженьких камешков.

По-прежнему капитану нравится шептать вам на ухо, обдавая ваш затылок теплым дыханием. Слова его, включая и самые обыкновенные, вроде «задание», придают вещам и поступкам удивительную волшебную силу. Второй раз видел его Марк, и как стал близок этот человек!

— Есть на моем сердце твоя отметка,— шепчет он на ухо Марку,— по такому случаю и заехал. Надо поговорить. Увидимся ли еще,— не знаю.

— Предчувствие есть?

— Почему так: предчувствие? Предчувствие — это когда угорит человек от нужды. Другое, друг, другое! Ливень крови вижу,— так бьемся. А какой рекой плыть, ту и воду пить.

Слова у него прихотливо плещутся. В юности он был пыльщиком, и есть в его словах что-то от прежнего ремесла: опьяненно свистит пила, сыплются розовые, пахнущие сыростью и смолой опилки, рубаха вздувается от движения...

— Стало быть, другое?

— Другое. Сердце! Про тебя тут, перед приездом, промелькнула напраслина. Дескать, профессорских сынков знаем: дурье сплошь. Ха-ха! Я да еще Настасьюшка в тебя верили. Что? После приезда? Нет, после приезда твоего я с ней не говорил о тебе. Молчали. Да и зачем жевать вслух! Но перед самим собой мигать не хочу! Хованский прав и Бондарин прав: любит она тебя. И ты ее, вижу, любишь! Москва, сказывают с одной спички сгорела. Так что же нам чмурить над людьми, издеваться: не бывает любви с одного взгляда! Бывает? Бывает пламя? Сжигает?

— Сережа!

— А?

— Взгляни на меня.

— Гляжу!

— Похож я на того, каким вы меня вылепили?

— Ты почему так: не годен? Чем? Что ты скрываешься?

— Шарю день и ночь в себе и не нашарю. Чего мне тебя, Сережа, морочить, да и зачем себя портить разговором?..

Он хотел объяснить ему все думы, которые накопились в нем о Настеньке. Достаточно его ткнуть, еле-еле уколоть, как он уже поймет тебя. С ним можно... И тотчас же пришло в голову: «С ним-то более чем с кем-либо нельзя! Уж кто-кто, а Елисеев не поймет. «Какое право,— спросит он,— имеешь ты говорить о ней плохо, сухо, низко? В каком гадком деле ты ее видел? Слово дурное ты о ней слыхал?»

— Марк! Ты опять молчишь? Мне, друг, костылять некогда, мне надо на новые позиции спешить. Я урвал десять минут. Говори, Марк. Не хочешь ты меня морочить? Понимаю! А в чем? Да не мешкай, друг! Говори. Жду.

Марк сказал:

— Не хочу кричать на всю округу во время боя!

Неожиданно словам этим капитан Елисеев придавал большое значение,— истолковав их, разумеется, по-своему.

Он сказал:

— Спасибо, друг. У смерти коса низко ходит, укос травы будет большой. Но про меня не думай, что я, как трава, попаду под ту косу! Нет! Я бы к тебе тогда никак не заехал. Я уязвлен, но не заколот. И уязвленный — пойми... — я могу за твое счастье радоваться.

«Ну что он пристал ко мне с этим счастьем?» — подумал в горечи Марк. Вслух же сказал:

— А как положение на Бородинском?

— На Бородинском? В порядке. Я к тебе почему заехал? — зашептал он опять на ухо. — Почему за тебя радовался? Только потому, что ты хороший? Э-э! Мало ль их, хороших. Я, друг, не так ограничен умом. Нет! А потому, что ты бился лихо! И лихо мне помог на левом фланге! Вот ловко, думаю, от отца — машина, от сына — снаряды. Ух, не отвертеться немцу!

— Совсем не такой я хороший, Сережа.

Капитан выхватил планшетку, развернул карту поля и, тыча сломанным карандашом в испачканный маслом лист, сказал:

— Вот. Иду на правый фланг! Приказ.

— Да ведь левый-то важнее?

— Перебрасывают. Приказ. Не обсуждаю. На правый так на правый... Иду. Возле — как его? — музея встречаю машины. Медсанбат Бондарина продвигает-

ся к правому флангу. Э! Значит, быть там всему пылу. Настасьюшку вижу. Два-три слова. Из них — половина о тебе. Тогда, думаю, свиньей мне быть не заехать, не сказать? Миновало меня счастье, а что поделаешь? Тысячи могут стоять в пространстве. Но в том же пространстве троим тесно. И весь разговор!

— И все-таки на правый — лишнее.

— Приказ.

— Приказ?

— Приказ, выполненный на «отлично», — победа. Вот и весь разговор. Будет тебе приказ — бить по правому флангу, — ты меня поддержи.

Марк вспомнил множество толстых книг о стратегии и прочем и увидел, что точкой опоры теперешнего маневра немцев является бесповоротная решимость завершить маневр атакой, сокрушающей русских на левом их фланге. А мы в это время отдаем распоряжение отвести войска на правый фланг?! Марк привел из книг много примеров. Капитан слушал, моргал глазами и думал о своем: о Настасьюшке. Удивительный человек! Бой у него должен быть в голове, а он — Настасьюшка! И, чтобы отвлечь его от глупых дум, Марк сказал:

— Что же касается нашего разговора о Настасьюшке, то — ни я ее не люблю, ни она меня, да и не встретимся мы с нею больше. Так сложилась обстановка.

Капитан Елисеев протянул вперед руки, будто думая благодарно обнять Марка, но только хлопнул в ладоши и сконфузился от этого мальчишеского жеста. Чтобы скрыть свою радость, он сделал вид, что очень серьезно думает о стратегических расчетах Марка. Он сказал:

— Ты предполагаешь: немцы обеспечивают внезапный удар на левом фланге и мы тоже маневрируем? Допустим. Но зачем же тогда перебрасывать на правый фланг медсанбат Бондарина? А ты знаешь, он опять открытие осуществляет! Буду, говорит, на поле сражения его проверять... И-и, батюшки-светы, Волга-река, времени-то сколько, а мне надо в ноль-ноль...

Он прыгнул в люк и оттуда крикнул:

— Великая у тебя душа, Марк Иванович. Вся в отца! Ы-ых, Волга-река, и покрошу я нонче врага в твою честь!..

Танк щеголевато встал на дыбы, боднулся и, про-

кладывая переулок в кустарнике, пошел напрямки на правый фланг боя, чтобы, развернувшись, с ходу атаковать немцев. Елисеев думал: «Есть еще по дороге родничок, напьемся студеной...» Он остановился у родничка и зачерпнул котелком водицы, студеность которой отдавалась в висках.

11

В те минуты подполковник Хованский думал о Марке. Только что был получен приказ, подтверждающий приказание, отданное полчаса назад: направить все силы к правому флангу и во что бы то ни стало отбить фланговую атаку противника, а затем самим перейти в атаку, дабы немцы откатились к Дорохову, где их ждут... О том, что немцев ждут у Дорохова уничтожающие русские силы, подполковник только предполагал, но иначе и быть не могло.

Подполковник вспомнил Марка Карьина и его третью батарею, действующую превосходно и само собой явно гордящуюся своей превосходной работой. Он сел в автомобиль и приказал везти себя на третью.

Было это около двух часов пополудни.

Тогда же на третьей батарее ранило Михася Ружого и насмерть зашибло осколком мины наводчика Стремушкина, тощего настолько, что все в нем казалось упрощенным донельзя. Зашибло его тоже пушечным осколком, не крупнее горошины, словно для того, чтобы показать, что смерть и таким делом не гнушается.

Перед смертью Стремушкин, широко раскрыв рот, кричал навзрыд:

— Сестрица-а, сестрица, ох, больно мне, больно-о!..

Минутами сознание приходило к нему. Он глядел на Марка, на приятеля своего Воропаева, губы его не двигались, а взгляд говорил: «Простите, товарищи, много в запас было приготовлено терпенья. Вот не хватает!» И, закрыв бесцветные глаза, он изгибался, выпячивая тощую плотничью грудь. Болтались на материи полуоторванные пуговицы гимнастерки, выпачканные кровью.

Люди убывали. Резервы не успевали пополнять. Оставшиеся, собрав силы, отталкивали смерть, но она, упругая, как резина, возвращалась снова. Опять рас-

пахивалась, визжа на петлях, подвальная дверь неба. Тягучий и смертно-медовый звук немецкого штурмовика простирался над леском, и на мгновение вся земля, отдавая звук, превращалась в деку, в доску инструмента, на которой натянуты струны. «У, страшновато...— мелькало у всех в голове.— А что поделаешь: бывает еще страшней! Где страшней? У кого бывает? Где-то, не у нас...»

И одновременно с этим люди бьются, а некоторые разговаривают так, как недавно говорил милый капитан Елисеев. Поворотливые, расторопные, они презирают врага и уверены, что в конце концов как ни тяжело, а мы фашиста побьем. Каждым мускулом, каждым нервом приспособляясь к длительному бою, они твердят: «Не уковырнешь! Будем биться. Будем говорить о своем счастье, заботиться о нем в размерах дум, какие кому положены от природы. Один из нас думает необъятно, другой — набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу. Везем, гребем, и плевать нам на тебя, вражеская сила! Не лезь в терн, обдерешься».

После двух пополудни на батарею приехал подполковник Хованский.

Незадолго перед его приездом отошел Стремушкин. Глаза его совсем обесцветились, слились с измученным темным лицом, лицом походов, горя, ранений, муки нестерпимой. Глаза его были еще полуоткрыты, когда к нему подошел подполковник. Он закрыл Стремушкину глаза и сказал:

— Что поделаешь, дружище, что поделаешь?! — И добавил очень смутно, видимо занятый другой мыслью: — Знаю, и во сне будешь биться. И трудней, чем наяву, да что поделаешь, дружище!

Он на виду осунулся, постарел, волос его отдавал зеленью, а лицо потемнело. Глядя сумрачно и твердо, говорил он негромким густым басом:

— Приметно бьетесь, приметно, ребята. Всему Бородинскому полю приметно. Если так и дальше, увидит немец во сне хомут. Так! — обратился он к плотному высокому артиллеристу лет тридцати. — Нефедов, как можешь?

— Да, кажись, сможем, товарищ подполковник, — зардевшись от радости, ответил артиллерист. — Вот пожрать не дает, сволота, это он сознательно.

— Сознательно, сознательно. Он и на свет-то обнаружил себя сознательно. Да в бреду уйдет, Нефедов!..

Подполковник отошел ко второму орудию, которое было задето неприятельским снарядом. Опытным глазом он осмотрел его, поежился, как будто на сквозняке, и отвел Марка и политрука в сторону.

— Подбили второе?..— сказал он, и опять в голосе его слышалось, что он думает совсем о другом.— А на сотню выстрелов хватит? Как, лейтенант, сможете?

— Пожалуй, и до трех сотен дотянем,— ответил Марк, пристально глядя на подполковника.

Распоряжения Хованского замелькали одно за другим. Занят он, верно, своей думой, а то и горем, но все же видит он зорко, так, что лишь очень опытный ум разберется в этой суматохе, казалось бы, беспорядочных и даже бесцельных фраз. Через час, как опытейший портной, он заштопал все дыры и прорехи, которые Марку были чуть ли не в диковинку. Выпрямившись, строгий и одновременно очень довольный своей распорядительностью, подполковник сказал:

— Ну, надо нам расстаться...

Провел розовыми ладонями по портупее, темной и лоснящейся от долгого употребления, и, не замечая, что спрашивает уже в четвертый раз, спросил:

— Снарядов хватит на сутки? Бьете?

Марк, объясняя вопрос подполковника усталостью, ответил:

— По-прежнему, товарищ подполковник. По главному направлению немецкого наступления.

— Полагаете, оно там, на левом?

Марк, недоумевая, молчал.

— Вам виднее?

Марк не отвечал.

Короткая синяя тень подполковника движется на отлогий холмик, где еще видны следы танка капитана Елисеева. Марк тщетно старается угадать его мысли, но ничего не видит, кроме его тени, сизых щек и широких скул.

В руках у подполковника карта. Он тычет в нее коротким, поросшим рыжим волосом пальцем:

— Вот... вот... Кто у вас на наблюдательном пункте?.. А, дельный мужик, способен себя выказать. Но считаю необходимым, лейтенант, и вам встать туда: на непродолжительный срок и проверить.

Марку приятно, что ему разрешили пойти ближе к неприятелю. Но он сознает, что Хованский делает это не напрасно. Что за этим кроется? Почему он вдруг разрешает Марку зайти далеко вперед, когда ранее ни под каким видом не разрешал?

«Вам виднее?» — сказал он насмешливо. А если на самом деле ему, лейтенанту Карьину, виднее? Мало он посылал разведчиков? Мало приводил пленных? Ведь отовсюду слышишь — враг ведет основные свои силы на левый фланг, а тут приказывают последними снарядами бить по правому, когда достаточно трех-четырех ударов по левому, чтобы немцы откатились!

«Вам виднее?» Да, мне виднее...

На одно мгновение Марк словно бы споткнулся, а затем давно знакомая ему злость прорвалась и знакомым жаром наполнила ему голову. Как всегда в таких случаях, ему стало тесно.

— Товарищ подполковник, — он начал не своим, ворчащим голосом, весь дрожа, нахохлившись и залившись шершавой краснотой: — Товарищ подполковник!..

Хованский, не обращая внимания на рокошующий голос Марка, сказал Воропаеву, заложив руки за спину:

— Благодать-то, Воропай, какая! Сейчас бы зайцы шуровали этим осинничком да выбегали на опушку, а тут мы стоим...

Он выкинул вперед руки и торжественно, словно подавая святыню, сказал только три слова:

— ...на Бородинском поле!

Замолк.

Замолк и Марк, — недвижимый, разбитый этими тремя словами, тоном, каким они были произнесены. Так вот она какова, грозная музыка боя!

И предстало ему Бородинское поле.

Гордец к гордецу, плечом к плечу, стоят здесь русские. Стоят против всей силы, собранной немцами в Европе, против германских, французских, бельгийских, голландских и прочих пушек, танков, минометов, бомбардировщиков. Деды стояли день. Мы стоим четвертый и еще четыре простоим, не заметив, не дрогнув, не возроптав...

«Не дрогнув, не возроптав? А оспаривать приказ командира — это что такое?»

Чувство вины заполняло Марка так, что он не сознавал, как ногти пальцев впиваются до крови в ладо-

ни. Он проклинал свое глупое самомнение, а сказать об этом ему было не под силу.

Подполковник между тем думал: «И не так уж он горяч, как я предполагал. Знать, горячность-то на фашистов хлынула! Хороший командир выйдет и хорошо по правому флангу ударит. Нет, что ни говори, а наследственность — великая штука». Вслух же он сказал:

— Значит, сокрушительный огонь по правому флангу. И наблюдайте сами, лейтенант, за огнем.

— Есть сокрушительный огонь по правому флангу, товарищ подполковник, — не поднимая еще глаз, ответил Марк. — Есть наблюдать лично за огнем, товарищ подполковник.

Он поднял глаза.

Он увидал широкую голову Хованского, узкие рыскающие его глаза... И какое это превосходное, чудесное, умное русское лицо! Нет выше счастья, как смотреть в это лицо, слушать глухой, пахнувший табаком голос, быть помощником, сыном... Если этот голос покинет его, Марк умрет с тоски.

— Других указаний не будет, товарищ подполковник?

— И это не легкое, лейтенант. Как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник. Разрешите открыть огонь?..

И на поляне наступила тишина, та приблизительная тишина боя, когда слышишь голос соседа. Батарея готовилась к ответственному поручению, и всем своим существом Марк хотел сказать, что он умрет, но выполнит это поручение... Но сил не было сказать вслух.

Длинные ресницы Хованского быстро двигались. Он несомненно сумел прочесть правду на лице Марка, и правда эта понравилась ему. Он повеселел, похлопал Марка по плечу, рассказал коротенький анекдот артиллеристам и полез в свою «эмку».

Через час Марк был уже километрах в трех от своей батареи, на передовом наблюдательном пункте. Отсюда он руководил обстрелом. Его сопровождал Воропаев, таща за собой ящик с полевым телефоном.

В лесочке, где стояла его батарея, он мог лишь вообразить то, что происходит в поле. Сражение разгоралось. Виденное им позавчера было лишь вступлением в бой, а не самим боем.

Теперь он видел бой!

Перед ним простиралось огненное море, дышащее жаром, грохочущее, плещущее смертью прямо в лицо. Теперь ему стало ясно, почему он опомнился сразу же, едва подполковник назвал ему Бородино, священное место, где сражались и сражаются русские. Искренне он сознался самому себе, что желает наилучше биться за родину, а значит, и наилучше понять себя. Спасибо Хованскому за его чуткость!

Все горит, шатается, колеблется. Немецкие огнеметы сосредоточили свое пламя на двух русских дзотах... Ага! Понятно! Надо заставить немцев повернуть на Дорохово?

— Огонь! — скомандовал он. — Мы их заставим повернуть.

Откуда-то, в обход дзотов, идет гитлеровская пехота. Марк слышит свист первых пуль, но откуда они — ничего не видно. Впереди холмистое поле, закрывающее горизонт. Посреди поля дерево.

— Придется нам, Воропаев, на дерево лезть, — сказал Марк.

— Скосят огнеметом, да и поджарят, — сказал, смеясь, Воропаев. — Пускай жарят, на то они и людоеды.

Влезли на дерево. Но и оттуда ничего не видно.

— Меньший прицел... — сказал он по телефону. — Огонь!

И оказалось — угадал! Первые выстрелы весьма удачны. Снаряды ударили и по наступающей цепи гитлеровцев, и по танкам. Когда Марк, миновав дерево, прополз дальше, к концу холмистого поля, он увидел трупы фашистов, сраженных его снарядами, и два случайно подбитых танка.

— Те же данные. Огонь!

В стереотрубу он видит клубы разрывов, поваленные деревья, воронки от снарядов. Мимо деревьев, чуть кренясь, торопятся танки. Он узнает походку капитана Елисеева.

Дальше — враг. Засек. Огонь!

Клубы приближаются к немцам. И к ним же приближается капитан Елисеев.

— Куда, под наши снаряды? Куда тебя черт прет, дурак?!

Танки медленно, словно нехотя, все же приближались к месту разрыва наших снарядов. Марк кричал

на батарею, требовал штаб... В густых черных потемках дыма, там и сям, обозначились резкими толчками машины Елисеева. Изредка, с ходу, они стреляли, и тогда дымную темноту прорезал оранжевый луч света.

Должно быть, за танками шла наша пехота...

Помнит Марк, что до боли в глазах он вглядывался в пожарища, в танки. Но дым от взрывов, вздымающиеся воронки не давали возможности ничего разглядеть. Подзадоривая себя воспоминаниями, он рисовал очертания танка, на котором приезжал к нему Елисеев,— именно этот танк видит теперь Марк!

Именно этот танк взметнуло вверх, вбок и шмякнуло оземь так, что звук упавшего железа донесся сюда...

Именно к этому танку спешили,— идя от волнения в рост,— наши санитары, санитарки... Скорей, скорей!..

И именно к этому танку бежала тоненькая девушка, за нею врач с длинной сумкой... Да скорей же!

Наискось, по направлению к тому же подбитому русскому танку, идет цепь немецкой пехоты. Если бить по немецкой цепи, то ударишь и по своим?!

— Те же данные... Огонь!

Помнит Марк: после залпа с осторожностью,— хотя для чего, непонятно,— приподнялся он на руках и поглядел вперед. Теперь дым походил на темные окна. Уцелевшие березы походят на рамы. И в окнах пустота. Смерть?

От земли пахнет мятой. Он уперся в засохшие стебли ее и раздавил, вытер скользкое и словно бы линяющее лицо; тотчас же мучительные думы охватили его: «Куда они девались? Что с ним стало?.. Отступили наши? Где немцы?..»

И будто отвечая на его вопрос, вокруг него опять завизжали пули. Значит, гитлеровцы перебили наших и приближаются? Значит, погибли Бондарин, Настасьюшка, капитан Елисеев, сотни превосходнейших русских людей?

Погибли и не отомщены?! На Бородинском мы поле или нет?

Он закричал:

— Еще левее... огонь! Безостановочно, слышите?

Утомленный, измятый, он полз назад перед самой цепью наступающих немцев, все время указывая цели своей батарее. Падали немцы, падали их танки,— и каждый раз он возвышал голос и резко указывал еще

более точную цель. Наконец, он подполз к первым деревьям лесочка, где стояла его батарея. Он прислонился туловищем и горячим лицом к прохладному стволу дерева, и ему показалось, что сейчас откроется дверь и он войдет в большую прохладную комнату, — там он отдохнет вдоволь.

— Товарищ лейтенант, — слышался откуда-то с вершины гула голос Воропаева, — какие распоряжения?

— Биться! — ответил лейтенант. — Биться, черт их дери, до последнего...

И, оторвавшись от ствола, он вошел в лес.

Лес уже горел.

Ело глаза. Затыкало глотку дымом. Ветра не было, и закатное солнце похоже было на вымытую луну.

С востока прислали пушки, но артиллеристов не хватает. Если расставить всю прислугу, превратив ее в наводчиков, то и тогда не хватит.

Он бросился к телефону.

— Держись, — ответил Хованский. — Найдутся артиллеристы — пришлю. Не найдутся — держись все равно. Сможешь?

Марк, согнувшись над телефоном, неуклюже и хрипло смеясь, ответил:

— Сможется, товарищ подполковник.

— Значит, свидимся.

Щелчок. Подполковник положил трубку.

Марк не помнил, в какой последовательности шел дым от горящего леса и в какой последовательности шли атаки танков на этот лес. Иногда сквозь дым и треск падающих деревьев доносился к нему вдруг визг собак, неведь зачем появившихся.

Мимо пробежали пехотинцы: выбивать гитлеровцев из захваченного ими дзота. Выбили, вернулись, — переклоли парашютный десант.

— Огонь!

Ночь. Ночь на Бородинском.

Немцы бьют из пулеметов трассирующими пулями. Зажигают фары танков... Наши, навстречу фарам, — свет десяти прожекторов.

Вечер был бы совсем прохладен, кабы не дым. С какой радостью глядели, когда орудия выкатились из леса, оставив позади себя догорающие деревья. Выстроились в линию, нашли родничок, умылись.

Шурша соломой, подошел Воропаев.

— Присядьте, товарищ лейтенант,— строгим голосом сказал он,— закуты нет. Да и к чему? Солнце встанет, немца лицом к лицу встретим. Он ждет. Я соломки подстелю.

— А ты, Воропаев? — с усилием спросил Марк.— Подполковник звонил: ты произведен в сержанты. Как, сможешь?

Воропаев сказал с простотой, которая казалась даже искусственной:

— А я, как все, товарищ лейтенант. Пятый день смогли, сможем и десятый. Только бы по двести грамм сейчас, это бы да!

Марку не хотелось водки, но не хотелось и огорчать Воропаева.

— К вечеру подполковник обещал исхлопотать.

После прохладной воды руки горели. Горело и лицо. С жадным вниманием приглядывался Марк к своим потемневшим и дрожащим рукам, пытаясь усталостью объяснить то, что происходило у него в сердце. Он верил в проницательность Хованского, в его знание военного дела, но, с другой стороны, разве Марк не видел Елисеева, Бондарина, Настасьюшки и разве не над ними, милыми и хорошими, разорвались снаряды, посланные по его, Марка, приказанию?!

— Воропаев, у тебя зеркальце...

— В мешке, товарищ лейтенант.

— А, вспомнил. У меня есть...

Потолок, неожиданно оказавшийся над ним, резко рванули. И тут же, еще более резко, рванули из-под ног землю. Вслед за тем открылось бесконечно широкое и бесконечно голубое пространство. Не закрыть глаза нельзя. Он сделал движение рукой, как бы запахивая шинель, и закрыл глаза.

Разорвавшаяся на холмике в наполовину затоптанных следах от елисеевского танка вражеская мина сбила Марка с ног, и осколки металла врезались ему в бедро и в плечо.

Полчаса спустя наши войска перешли в контратаку, и гитлеровцы повернули на Дорохово.

Когда орудия действовали исправно и били точно, Марк думал, что действуют и бьют они так потому, что из штаба полка ему дают замечательные

приказания. А когда орудия стреляли плохо и расчеты суежились без толку, Марк думал, что вся эта бестолковщина от запаздывающих приказаний. Он и не замечал того, что полк уже давно не дает ему приказаний, ограничившись регистрацией того, что Марк делает.

— Не трогайте его,— говорил, с трудом скрывая свой восторг, Хованский.— Он попал на дорогу. Не сбивайте!

Изредка Хованский брал трубку и был счастлив слышать приглушенный расстоянием молодой голос Марка Карьина:

— Сможется, товарищ подполковник.

Это «сможется» уже обошло Бородинское поле и покатилося, подхваченное ветром войны, дальше, по всему полю сражения, от Баренцева до Черного...

Марк не знал этого.

Не знал он и того, что произошло с капитаном Елисеевым.

Капитан, попив воды из родничка, пришел на правый фланг и стал в засаду, прикрывшись плотными и приятно пахнущими кустами черемухи. Загремели батареи. На поле развернутым строем выходили немецкие танки. Капитан насчитал их сорок два и, чтобы не огорчаться, перестал считать. «Сорок против троих, четыреста против троих,— все равно не поверят»,— сказал он сам себе, внимательно наблюдая за противником.

Видны башни, тускло поблескивающие от свежего утреннего воздуха.

— Понадуло смерти во все щели,— сказал, посылая бронебойный снаряд, капитан Елисеев.— Обидятся на меня немцы, а иначе нельзя.

И он послал еще снаряд.

От первого снаряда свернуло башню головному танку; от второго — дым, грохот, взрыв; от третьего — громоздким машинам захотелось вдруг искать другую дорогу, менять курс, увеличивать скорость; от четвертого — «Ага, понадобился кобыле ременный кнут!». В тот момент, когда залпы батареи Марка Карьина пришли на помощь, в поле уже пылало семь немецких танков. И кто знает, запылал ли бы восьмой, потому что немцы уже нащупали, откуда идет уничтожающий огонь, и два прямых попадания уже грохотом отдались

в елисеевском танке... помогла карьинская броня, помог сыновний огонь.

— Наделили талантом всех родных — и отцов и сынов, спасибо!.. — сказал капитан Елисеев, зажигая восьмой немецкий танк.

...Не знал Марк и того, что произошло с врачом Бондариним.

Втайне, уже несколько дней, надумал и приготовил он новое противогнилостное средство. Проверить легко: раненых не успевают перебрасывать в тыл, а некоторые, заслушав о Бондарине, приходят издалека. Проверил. Разумеется, от той перевязки, которая натолкнула его на мысль о новом средстве, не осталось и следа, да и дело оказалось не в перевязке. Но Настасьюшку он уважал, надышаться не мог на ее молодой и радостный талант. Он с нею первой поделился своими выводами и показал первых излеченных им больных. Три часа назад был на розово-синем теле отвратительный гнойник. Настасьюшка сама омывала его. А теперь уже и тело приобрело другой вид, словно бы оттаяло, и гнойник исчез бесследно.

— Дмитрий Ильич, счастливый вы! Как оно на вас налетело?

— Напился допьяна, вот и налетело, — нарочито грубым голосом сказал Бондарин. — Налетел, голубушка, «тампон Бондарина» и всех с ног сбил.

Ночь напролет Бондарин писал в Медсанупр свою «заявку». Поутру он пожелал непосредственно на поле сражения проверить действие своего «тампона». Тампон не только удаляет гной, но сразу же, приложенный к ране, затягивает ее. Уговоры были бесполезны, да и не особенно уговаривали — работы много, врачей не хватает, хочет в поле — иди, не маленький ребенок.

Настасьюшка пожелала сопровождать его. Прошел слух: ранен капитан Елисеев, но о том, что слышала она об этом, Бондарину не сказала. Он проговорил, глядя в ее глаза, голубые, словно наложенные морем камешки:

— Надо идти туда, куда вас, пичужка, зовет не сердце, а долг.

Она не поняла его.

— Куда меня зовет сердце, Дмитрий Ильич?

— К щеголю зовет, пичужка.

— Он не щеголь.

— Догадалась? Капитан Елисеев — щеголь: бой ведет щегольски. И не верю я, что он ранен... — Он подумал и добавил: — Абсолютно не верю. Такого человека не убить врагу, не ранить: он слишком ловок. Марка Карьина могут надломить. Горяч, упрям, а ловкости немного не хватает. Впрочем, приобретет... Знаете, когда капусту квасят, так для гнета кладут сверху камень. Война тем же самым занимается по отношению к Марку Карьину... Так-то, пичужка!

Он осмотрел полевую сумку, все ли взято, ощупал карманы, нет ли чего лишнего, проверил, правилен ли адрес на «заявке». Настасьюшка стояла, опустив руки. В глазах ее он читал тоску. И он поднял ладонь ко лбу, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание голосов раненых и санитарок, измученных боем, он думал. Открытие, совершенное им, помогло ему как бы встрепенуться. Он почти невзначай сказал о капитане Елисееве, а вдумавшись, понял, что надо кое-что досказать. Миленькая пичужка любит капитана и сама себе еще не призналась в этом. Что же касается Марка Карьина, — то какие ж мы дети! В сущности говоря, ни ей нет дела до него, ни ему до нее. Дай бог, если они останутся друзьями, да и это надо ли? Разные люди, разные пути.

Приучив себя говорить людям, которых он уважает, все, что он думает о них, Бондарин высказал свои мысли Настасьюшке. Она малость подумала и с поразительной простотой, ей свойственной, ответила:

— Вот и верно, что пичужка. Посмотрел в мою маленькую душу, да сразу и понял. Люблю, Дмитрий Ильич. — И она добавила: — А мне, значит, лучше идти к батарее Карьина? Жалко мне Сережу бросать и вас, Дмитрий Ильич, оставлять жалко. Вы меня известите в случае чего.

— Обязательно, пичужечка.

Известить не удалось.

Бондарин успел наложить «тампон Бондарина» троим раненым. Возле четвертого уложила самого Бондарина фашистская пуля. Случилось это перед тем, как Марку привиделся в поле танк капитана Елисеева, который в то время стоял в засаде; почудилась ему и фигура Бондарина, который хотя и шел по полю, но по другую сторону черемуховых зарослей, как и не мог Марк само собой видеть в поле Настасьюшку.

Не мог видеть потому, что в это время Настасьюшка, два медика-студента и санитары пробирались горящим лесочком к батарее лейтенанта Карьина, который с непонятным уменьем и поразительным упорством отбивал все атаки немцев и подготавливал нашу контратаку, ломая у немцев коммуникации...

Без памяти был Марк, не знал он и не видел, как маленькая девушка, «пичужка», после того как убили санитаров, ранили студента-медика, сопровождавшего Марка, взвалила его себе на хрупкие плечи и, помогая студенту, вынесла Марка из-под огня.

Не знал он и того, что, услышав о ранении Марка, подполковник Хованский охнул и уронил со стуком тяжелые, словно мертвые руки на стол.

— А все равно не отойду,— сказал он.— Пока сочится кровь, не отойду! И никогда не отойду. Будем биться!

Он приказал соединить его с третьей батареей.

— Кто говорит? — спросил он сурово.

И услышал:

— Сержант Воропаев, товарищ подполковник. Принял командование батареей, держусь. Извиняюсь, немцы приближаются. Отобью атаку, доложу об ихних потерях, товарищ подполковник. Скажите только, лейтенант Карьин Марк Иванович жив?

— Жив, жив,— торопливо ответил подполковник, не веря своим словам.— И будет жив, бейтесь!

— За нами дело не станет... Извиняюсь, идет!

### 13

Марк полуоткрыл глаза с трудом. Веки словно свинцовые и еще по краям посыпаны песком.

Он увидал мелкую речку с длинной, не по ее размаху, широкой отмелью. Словно от стыда за свое хвастовство, речка скрылась в кочках, потемнела. На песке — следы птиц, улетевших отсюда последними... Ветер свежит лицо, заносит следы птиц... И Марку не хочется ни о чем думать. Заносит, и пусть заносит.

Возле борта машины усталое лицо Настасьюшки с мокрыми волосами, приставшими ко лбу. Глаза ее широко раскрыты, будто выкатываются. «Что с вами, Настасьюшка?» — хочет спросить Марк и раскрыл было рот, но равнодушие, наполняющее его голову, опять

сдвигает губы. Кончик носа у нее синеет, на скулах коричневая краснота... Пусть!

Милое детское личико. И пусть!

Милое отцовское лицо. Чье? Хованского? И пусть.

Они о чем-то говорят. Кажется, о том, хватит ли покрышек до Москвы. «Какой вздор? При чем тут покрывки?» — подумал Марк, и ему отчетливо вспомнился обрывок разговора с Бондариным. Говорили о том, что Настасьюшка не любит читать книги.

Книги? Разве дело в книгах? Дело в любви. Сейчас это видно совершенно отчетливо, как вон те следы птиц на песке. И странно, что его волновали и возмущали в ней какие-то пустяки, а главное не взволновало его, главное-то он увидал сейчас.

Честолюбие, которым она бахвалилась? Ах, какая чепуха! Или она лгала на себя, — сознательно, может быть, даже, — или же она заблуждалась? Разве люди с такими страдающими глазами способны быть честолюбивыми? Ну, что она сделала для своего хваленного честолюбия? Ничего. А если прикажут, она без промедления, немедленно отдаст жизнь за... как это отец читал... «за други своя»? Отдаст красоту, молодую и горячую кровь, погасит прелестные голубые глаза с тонкими детскими бровями. Честолюбие? Нет, не честолюбие, а скрытность великолепной души, прикрывающей себя, как крыльями, этим честолюбием!

Для человека, так же как и для картины или архитектурного сооружения, необходим ракурс, точка, с которой возможно разглядеть его по-настоящему. Для Марка, разглядевшего сейчас Настасьюшку, таким ракурсом была мокрая прядь волос на ее усталом от работы и волнений, чудесном и умном лбу.

Разглядеть он ее разглядел, но думал о ней с холодным равнодушием тяжело больного человека. Мелькнул в его воображении лесок, по которому на носилках несли его. И ему пригрезилось, что несла его Настасьюшка. Но по-прежнему холодно он думал о шумящем лесе с его запахом сырого дыма и о руке Настасьюшки, которая поддерживала его голову. «Если так... значит, конец?» — подумал он и хотел сказать прощальные слова, но желание появилось и ушло быстро. Его молодое лицо приобрело цвет металла... оно было страшно.

«Если бы жив был Бондарин...» — подумала Настасьюшка и заторопила шофера:

— Скорей в Москву! Записку не потеряли? Шофер, когда вы поедете через Бородинский мост...

«Позвольте,— сказал сам себе Марк,— но ведь я на Бородинском поле?»

Он думал, что эти слова взволнуют его,— они не взволновали. Мало того: показалось странным, что недавно лишь намек на значение Бородина остановил дикую вспышку свойственного ему гнева, а теперь...

«Конец,— подумал он,— конец тебе, Марк?»

Машина прошла не более шести километров, как оказалось, что до конца жизни еще далеко. Равнодушие кончилось. Вначале разбудила колющая боль в боку, затем он наполнился злобой, когда увидел толпы беженцев, и особенно поразил его седой интеллигент. Серый просторный костюм его был выпачкан грязью, известкой и разорван на коленях. Он шел быстро, почти вровень с машиной, сжав кулаки и вытянув вперед руки. Брови его приподняты, рот раскрыт. Он выкрикивает... и от криков его хочется повернуть машину, вернуться к своим орудиям, бить, бить, дни и ночи напролет!.. Было трое детей, племянница, мать, жена... жили вместе...

— Будь вы прокляты, прокляты, прокляты!..

И кажется так, через всю Россию идет этот несчастный, у которого фашисты убили все, что можно убить... убили и разум его... потому что, кроме вот этого «будь вы прокляты», он уже ничего выкрикнуть не в состоянии...

И Марк повторяет:

— Будь вы прокляты, прокляты!..

Машина повернула к Москве, увозя его, потерявшего сознание.

...Перед тем как пробудиться и приподнять голову, чтобы наполниться необычайным счастьем жизни, которого он не испытывал никогда, он пробуждался несколько раз. Он видел белый квадрат палаты и себя в центре этого совершенно равнобедренного квадрата. От равнобедренности кружилась голова, и он спешил закрыть глаза. Ему казалось, что он шагает по квадратам, поднимается, опускается, опять поднимается. День жаркий, солнечный, квадраты стоят на теплой песчаной отмели, и он слышит:

— Тампон Бондарина!

Плеск воды. Блеск металла. Что-то теплое, приятное вливается в его тело. И опять голос:

— Тампон Бондарина!

Знакомая фамилия, но он не может вспомнить, чья она.

Это его почему-то сердит, и когда он снова открывает глаза, он спрашивает сестру, вытирающую ваткой термометр:

— Кто такой Бондарин, сестра?

— Не знаю.

Увы тебе, Бондарин! Тебя постигла участь многих знаменитостей — остался титул, произведение, «тампон Бондарина», дарующий жизнь, а кто был открывший его, что его мучило и что ему мешало, кому это известно?

14

Марк поднял воротник тулупа и сел в машину. И опять Бородинский мост, грузовики, недостроенные дома.

За Кунцевом, едва они миновали столбы высоковольтной передачи, машину встретил злой северный ветер. Он будто железной щеткой мел широкое шоссе, подскакивал к машине, тряс ее, стремясь сорвать на ней свою непонятную злобу. «Крути, крути немцу хвост, а не мне», — думал Марк, глядя, как ветер крутит стеганый капот на радиаторе и глушит пар, выскакивающий из-под плохо завинченной крышки.

Чем дальше по шоссе, тем меньше плакатов и тем больше надолб, скрещенных и скрепленных попарно железных балок. Начали попадаться немецкие мины, сложенные по обочинам шоссе кучками. Металлические края их прихватил иней. В одном месте ветер раскидал снег, выкопав что-то серовато-коричневое, скорченное, похожее на камень. Шофер, безбородый, молодой, передвинул папироску из одного края рта в другой и сказал:

— Успокоился. Видно, машинку не ту встретил.

— Противники?

— Парашютист, кажется. Их тут много выдувает, товарищ старший лейтенант. Сорвали голову на Москве, ну и обижаются.

«Скоро? Скоро?» — думал Марк. Мучительно хотелось поскорее попасть к своей части, обнять Хованского, получившего звание полковника и уже командуя-

щего дивизией. Большое открытие сделал покойный Бондарин, а вот в диагнозе Хованского ошибся. Нашел рак печени, а оказалось, что у полковника обыкновенная малярия и достаточно было принимать хинин!..

За Дороховом свернули на проселок. Здесь, возле полусожженной сторожки, в три часа дня будет ожидать,— так вчера сговорились по телефону,— капитан Елисеев. Он едет куда-то в объезд Москвы.

А место унылое, не для встреч. Равнодушные, обгорелые бревна, клочья грязной соломы, торчащей из снега, мелкий осинник, тщетно пытающийся закутаться в снега. Холодно ему, дрожит он... И ветер здесь тоже какой-то промозглый, невеселый. Марк посмотрел на часы. Ого! Половина четвертого? Придется подождать. Все равно темнеет теперь рано и ехать придется ночью.

Шофер морщится. Ждать ему не хочется. Марку скучно смотреть на его будничное и скучное лицо с постоянно торчащей тухнувшей папироской в углу рта. Он отошел в сторону и присел поодаль, позади дома. Здесь тише, не дует, и приятно думать свои хорошие, добрые думы.

Вот неподалеку Бородинское поле. Сейчас оно неподвижно, занесено снегом, торчат кое-где остатки разбитых немецких танков, валяются каски, побелевшие от мороза, следы гитлеровского отступления. А что было недавно — осенью? Как гремели орудия! Как много стояло народу... и как много полегло его... полегло...

«Не отдали Москвы!»

«Не отдали»,— повторил Марк, и ему особенно приятно, что есть какая-то маленькая буква, принадлежащая ему, в длинной поэме о том, как не отдали Москвы. Хорошо! Хорошо глядеть на этот снег, нежно опускающийся к дороге, хорошо слушать осторожное поскрипывание валенок шофера, подшитых кожей, хорошо ждать приятеля, хорошо его расспросить и, наконец, очень хорошо думать о себе, что ты изменился, стал другим, строже, умнее и что все твои страхи, которые ты испытал там, на Бородине, осенью, не опустошили тебя, а, наоборот, многому научили и продолжают учить... В голове зашевелилась ленивая мысль: «А хорошо бы, пока не стемнело, развести под елкой костерик, погреться,— в машине продувает». Но лень встать,

распахивать теплый и приятно пахнувший тулуп, лень вообще шевелиться. «Вот оно,— как замерзают»,— сонно думает Марк, зная, что не замерзнет в тулупе, валенках, стеганой шапке и вязаной безрукавке. Так просто захотелось побаловать себя, вспоминая о Бородинском поле, думая, что впереди еще предстоят Бородинские поля.

...Из-за угла дома он слышит приглушенные голоса. Шофера о чем-то спрашивают. Елисеев? Сережа? Марк вскакивает и бежит. Три мужика, волосатых, страшных, заиндевевших; в лаптях и рваных полушубках, рваных валенках, держа вилы наперевес, ведут пленных. «Десант, что ли, переловили? — думает Марк, здороваясь с мужиками.— Откуда тут быть пленным? Фронт дальше». Он спрашивает мужиков. Они раскрывают большие крестьянские рты и замерзшими губами наперебой начинают что-то кричать. «Подожди, подожди, не путай меня,— говорит Марк мужику постарше.— Говори ты, куда немца ведешь?» — «Немца-то! — кричит обрадованный почтительностью офицера мужик.— Немца-то сдавать, ваше благородие, ведем. Князь Хованский, сказывают, принимает пленных. Нам их веле-но сдать, промерзли мы, ваше благородие. Где тут князь-то стоит?» — «Подожди, подожди,— говорит Марк,— какой князь? Откуда вы пленных взяли? Откуда ты ведешь-то? Кто ты такой?» — «Да партизаны мы, ваше благородие. Поручик Иван Карьин забрал их, немца-то, пушкой пугнул и велел вести к князю Хованскому, он, говорит, принимает». Второй мужик подхватывает: «Промерзли мы, ваше благородие, сдать их никак не можем, надоели они всем, ни люди, ни земля тех немцев не берут. Вот и ходим мы... Помилосердствуй!..» — «Позвольте, позвольте,— волнуется Марк,— но это же я — Иван Карьин, и разве Хованский — князь, какой же он князь?!» И смотрит на дорогу. Дома нет. Машины нет. Елка, под которой он сидел, крошечная, еле видна из-под снега, а вместо осинника стоят широкие сосны. «Позвольте,— думает Марк,— как же так, ведь нынче тысяча девятьсот сорок второй год, а не тысяча восемьсот двенадцатый».

...Он услышал смех. На него бросилось что-то мохнатое, ловкое. Его тормозат, обнимают. Перед ним чудесное, милое лицо капитана Елисеева. Нагнувшись к уху Марка, капитан шепчет, что все замечательно, что

он очень доволен, что Хованский ждет не дождется, что на батарее все живы-здоровы и рады его видеть, что Воропаев уже вернулся... Откуда? Да он кончал школу и теперь, обученный, будет командовать третьей, которая действует здорово...

— А Настасьюшка? — спрашивает Марк, и хотя ему приятно будет узнать о ней, но он сознает, что вопрос этот вошел в его голову лишь потому, что надо узнать обо всех. Он помнит что-то опрятное, голубое, необыкновенно внимательное — и все. Ни лица ее, ни фигуры явственно он представить не в состоянии. Если можно так выразиться, она стала для него отвлеченностью. Даже странно слышать оттенок благодарности в словах Елисеева: он все еще думает свое — «дескать, отказался Марк, сознательнейше взвесив «за» и «против». Какой вздор живет иногда в голове очень умных и здоровых людей, вроде капитана Елисеева! Понять бы ему: был мальчик, думал исправить ошибку отца, — ах ты, юноша, — а прошло время, сделался взрослее, понял, что не все исправишь в мире, да и не все надо исправлять.

Елисеев шепчет:

— Настасьюшка, друг, идет далеко! От нее ждут бондаринских способностей. Касаясь личной жизни, скажу, что мы соединились навечно. Да что я? Она, коли надо, гвоздь из стены взглядом вырвет: выдающаяся личность. Играй, ветер! Шуми по этому случаю, песня. Пляши, жизнь! А помнишь?..

— Что, Сережа?

— Помнишь, фашист нас все с фланга брал? А теперь мы ему под фланг подобралась, да так загнем полу, что бежать ему не убежать! Мы теперь так живем: маневр и атака. Маневр и сокрушительная атака! И ты, Марк, тем же жить будешь.

Он стоит перед ним, распахнув полушубок и не обращая внимания на холодный ветер. На золотистых бровях у него повисли сухие прозрачные январские снежинки. Руки у него — словно из меди, а лицо — огненное от заходящего солнца, глаза — прикажи только — способны пробуравить насквозь землю. Как с ним приятно быть вместе, а того приятней дружить! Они долго стоят на январски звонкой, закатно-золотистой дороге, смотрят друг на друга и не насмотрятся. На душе у них просторная весенняя оттепель. Они — друзья навсегда, навечно.

## БЛИЗ СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГИ

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника-цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнувшей ванилью, закрывали какую-то деревню.

— Горки?

— Горки,— недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки,— думает он.— Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темно-бронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.

Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнувшие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них невероятно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «стёпистых» — колесом шей... Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не резанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей... Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи... И надо всем этим пыль, пахнувшая ванилью,— должно быть, оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбросали множество ело-

вых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стопятидесяти тысячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того — еще раз увидеть бывшие места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть... И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем под мышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих... Земля содрогалась и была шершавая, как шагреневая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит по-прежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов»; поелику «защитой бо града единый был Гектор». Здесь — защищая Москву — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью...

Длинный кухонный обоз, видимо, принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая, выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что они походили на птичьи лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев,

и даже кусок гусиного крыла во рту лакея,— и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать... дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с длинными, заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда с лучезарного Босфора в прохладно душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика,— все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось изыбшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало!  
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;  
Мой юношеский цвет без запаха отцвел...

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белёве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми, мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежной и ласковой. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и незыблемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане...» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море... Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают... Маша выходит за профессора Мейера, а любовь по-прежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени — а он поднимался по лестнице дворцов не только России, но и всей Европы,— не вытеснили его любви.

...Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон их сколько! Ведь их пропускать — к утру в Можайске не будешь!

На западе в сизоватых тенях вечера колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков.

Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской... Василию Андреевичу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой-голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно тоскующим. Он хотел сказать: «Постоим, пропустим войско», — да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть, чужого плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим приходам... Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.

— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок... Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?

— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куса, иду. А только сделай божеску милость... уныло у меня на душе... Земля вон и та сотряслась, да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьма-тьмущая войска идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так быдто под колоколом, такой шум... весь день тучковский полк ищу...

«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутно-мраморное лицо старухи. — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа... Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же! Путает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски трогательное. А его коляска — разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не на-

поминает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший скот, матушка. Тучковых?

— Не-не, батюшка,— торопливо заговорила старуха.— Зворыкиных будет скот, Зворыкиных, Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка... да вот хожу весь день, и все народ попадается жоской, будто кора на нем медная, прости господи... А стадо, батюшка, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу...

— Эка, бабка,хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску.— В пятьдесят пудов каркадил бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын,— старший жил в Москве — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, густы, большеколосны; сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иванович и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Паникидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты от работы в липком поту, как в меду? Вот отвезем тяжелые возы с зерном, засыплем его... привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги,— вот тогда можно и «паникидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости— и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечку-то о здравии внука, что кашляет, надо поставить...

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полы зипуна, опустив

пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, заветные два рубля — «на полную панакидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «панакидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу легче станет. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет в «Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто понеугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский», против французов. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за околицу, как провожали на татарина, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу... Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немо... Выслушает ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выпрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на Петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»... И скажет поп: «Прощаются, мать, тебе грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко...

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасско-

му. Привратница, с неподвижно мягким лицом и искривленными глазами, сказала ей, что весь причт и все монахи уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от оружейных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «панакидки», на том самом, на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну ее Степану. Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто холодные бумажки и показала привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где же инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-четвертого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножия обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль поднималась на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полазипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «панакидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидела Бородино. Испугала ее строгая линия солдат. в томительно торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупым лицом, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник несясь возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчовым покровом. Не видела императора в яркой одежде; не видела ни разноцветных посланников, ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом, ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастатысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещи-

ми темными пятнами приближающейся смерти. Не видела и отца Николая,— да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской...— провозглашает первосвященник.

— Ура-а!..— отвечает полуторастатысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «панакидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане.

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, а он уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу несколько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить крынку, как подъехали молодые чиновники и отогнали старуху. Шум, грохот, крики... нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..

И вот, к вечеру уже, вышла она к старой Смоленской дороге, где неподалеку, говорят, пал генерал Тучков-четвертый и с ним воины русские, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иванович и сын, безугомонный, с нежным лицом, — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить. Достала она крынку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледно-зеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Попало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не остановятся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И она расскажет, как умерли и

как жили ее муж Марк Иванович и сын, безугомонный Степушка. Да разве для нее, для старухи, остановятся солдаты. А он небось сильный барин...

Вот и спросила у барины старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать... все ему расскажу, все...» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барский скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова. Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такие коровы бывают,— сказал кучер.— А про быка...

— Подожди ты насчет быка,— быстро заговорила старуха.— Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иванович, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковом... и сын, Степушка, направился к нему. А перед самым тем уходом Бурешка-то и пади. Ох, и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади... Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминающая капители коринфского ордена. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она из всего Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?.. Но что-то ей понятно,— продолжал думать Васи-

лий Андреевич, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче,— иначе разве бы стала она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательнее стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила к тому же она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерян. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли ее разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то случилось при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлипнула, сначала тихо, затем громче и наконец опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох, как грешна.

И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смоленке. Экипаж неслышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя по-прежнему шли от всей глубины сердца.

От дороги слышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?

Старуха сказала, что речка далеко, и, хотя ей са-

мой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил крынку и припал к ней. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выпрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна... И она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и сказал:

— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она ответила:

— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было,— а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины — верст, пожалуй, пять, да и то небось пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой.

## ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ

Я слышал этот рассказ зимней мягкой ночью, так располагающей к воспоминаниям. Правда, обстановка мало соответствовала воспоминаниям: рассказ неожиданно раздался с небольшой клубной сцены на вечере, посвященном творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Но дело в том, что старый актер, рассказавший эту историю, был слегка навеселе, в трамвае, когда он торопился в клуб, его обидели, назвав гнилым грибом, а стихи, которые он читал, ему в этот день приходилось оглашать впервые, и вдобавок перед выходом начальник клуба попросил, кроме стихов, рассказать «что-нибудь прозой, можно и воспоминания», подразумевая, конечно, что актер прочтет воспоминания современников о Лермонтове. Впрочем, актера никто не перебивал, всем казалось, что так и надо, да и рассказ шел удивительно плавно, так что я, человек опытный и всегда отличающий импровизацию от заученного, и то спутался. Позже актер объяснил мне, что он рассказывал эту историю уже несколько раз: в семейном кругу и приятелям... «Едва ли это так», — подумалось мне.

Обстановка была самая обыденная. На сцене вышались декорации: горы, освещенные розовато-желтым, как предполагалось, вечерним светом. Посредине задника, занимая добрую половину снежной горы, висел портрет добродушного молодого человека в гладкой бурке и в невероятно красном мундире — Михаил Лермонтов. Зал переполнен. Пахнет известкой стен, празднично промытым телом и, конечно, табаком. Вошел пожилой актер, с лицом, каких много. Он сказал задушевно:

— Согласно программе я исполню вам стихотворение Михаила Лермонтова, характеризующее... впрочем, докладчик сказал вам, наверное, что оно характеризует. Я прочту вам «Ангела»... или «По небу полуночи...», потому что, товарищи, ангел определяет мало, а небо полуночи вы представляете себе совершенно ясно. Итак:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел;  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой...

Внезапно актер остановился. На лице его появилось выражение легкой растерянности, он стал шарить по карманам, но шарил таким нарочито актерским жестом, что каждый из нас подумал: «Э, играешь, знаем мы, как это вы забываете», — а между тем актер от усталости и оттого, что ему больше хотелось говорить со зрителем, чем читать, на самом деле забыл стихотворение.

— Кх... Кх... Извините, пожалуйста, я сейчас. Тесно в трамвае, сами знаете, предпраздничная давка, душу потеряешь, а не только какие-то листки. Я жене, Софье Петровне, всегда говорю: «Нарвемся на неприятность к старости лет, а потому клади мне стихи в левый карман, а прозу в правый». А теперь вот и правый и левый — оба пусты! Вытащили! Не мог я забыть, не мог! Я читал со всех эстрад Страны Советов, — правда, не этот номер, — но я читал в Забайкалье, среди холода и снегов, Эмиля Верхарна и видел перед собой растроганные, скуластые, обожженные морозом лица. Да! На Кавказе я провозглашал Эдгара По, и когда я восклицал «нувермор!», весь театр вставал как один — и плакал. Урал стонал над стихами Тараса Шевченко, а Средняя Азия смеялась, как ребенок, над Беранже. Покойная Вера Антоновна, моя сестра, аккомпанировавшая мне на рояле и потому бывшая свидетельницей всех моих триумфов, всегда говорила мне: «Береги голос, Филипп, слишком щедро ты читаешь». А что голос, когда я вкладывал в каждое стихотворение — мало того, в каждую строфу — весь пафос своего существования...

А вот теперь забыл. Забыл...

Правда и то, что давно я не читал этого стихотворения, чуть ли не с детства. Да, с детства, отчетливо помню. Отец мой служил мелким чиновником в казначействе, а я учился тогда в городской школе. Зима была, помню, холодная; отец в ту зиму зарабатывал мало, да и мать прихварывала, так что штаны у меня были рванейшие и башмаки тоже, но заштопано все это было тщательно: в школу оборванцем появиться — ни-ни! Помилуйте, скажут: отец чиновник, а сына так содержит... выпивает, что ли? Конец репутации! И мне строго было внушено — заплат отнюдь не показывать, так что на парте я сидел этаким фертотом, вроде винта... учитель чистописания, близорукий человек, и тот удивляется: «Что это ты, Пятержицкий, сидишь вроде египетской статуи: одна половина анфас, а другая в профиль?»

Да, и вот надлежало мне при высокопочтенном обществе, — попечитель был чуть ли не тайный советник, — прочесть что-либо, потому и тогда уже я беспокоил людей своим зычным голосом и многие желали знать его применение. Выхожу к столу. Приказывают мне прочесть «Ангела», вот это самое «По небу полуночи...».

Я прекрасно знал, дорогие мои, это небо полуночи! Почти каждую полуночь отец возвращался с работы, — он дежурил вне срока, да и переписывал там что-то необычайно чисто, так что и дунуть на бумагу боишься, как бы буквы не разлетелись. А я должен был открыть ему дверь, дабы он звонком не побеспокоил соседей, чай приготовить и разогреть кашу. А днем, да и вечером, моешь полы, стираешь, варишь, — по болезни матери я исполнял все работы в хозяйстве, — и так устанешь, что сидишь за столом у лампы, и лампа кажется то озером, то огненным столбом, то вдруг резанет тебя мечом по глазам — искры! Ждешь не дожدهшься, когда мама скажет: «Филипп!» — это значит — стучат, иди открывай двери и подавай самовар. Открою. Сени у нас были деревянные, холодные, но все же, как откроешь дверь, таким тебя холодом толкнет, что на сердце тоска неизреченная. Вижу при свете фонаря, что освещает наш двор, усталое лицо отца, и за ним громадное холодное небо полуночи, а на нем звезды. Не любил я звезд и думаю, что кто много и часто видел звезды, тот никогда про них хороших стихов не

напишет. Неприятное это зрелище, волки будто какие-то бесчисленные вас окружают, сверкают глазищами, и оттого мне все казалось, будто отец от волков только что убежал...

Итак, вызван я был к столу, который мы, по ненависти к нему, прозвали «крапивой». Велено мне прочесть «Ангела». Я стихотворение это знал превосходно, даже матери читал не однажды, а здесь, как учитель словесности сказал мне: «Читай», — меня точно огнем обрызгало и оборотило в другую сторону. Стою окаменелым кремнеземом и молчу. Мечется этот дьявольский ангел вокруг меня, а в памяти совсем другое. В памяти плата за право учения, собранная с таким трудом, ночные дежурства отца, болезнь матери и холод, холод в сенях. На стол я смотреть не могу, повернулся боком к классу и чувствую, что сейчас хлынут слезы, разревусь. А класс меня понимает; вижу: глаза у всех такие же, как у меня, щеки белые, и все дрожат и на учителей смотрят. Тут, сбоку стола налево, поп сидел, толстый, рыжий, властный поп, с серсбряным крестом; он на мое молчание смотрел с улыбкой презрительнейшей, а затем отвернулся даже к классу. И вижу: вдруг что-то дрогнуло у него в щеке: он взглянул на учителя, а затем все четверо переглянулись, и учитель внезапно мне говорит: «Иди, превосходно прочел, Пятержицкий». Инспектор, ласковый был старичок, говорит: «Иди садись, Филипп Пятержицкий, читаешь хорошо!» И действительно: на отметку посмотрел — что такое? — «5». Однопартники смотрят: «5». И на лицах их: «Да так и следует, как же иначе».

«Да что такое, думаю, прочел я или не прочел?» Читаю про себя. Все помню, и как читал. Даже нравится. Бегу домой, хочу крикнуть: «Сдал, сдал!» — а вместо этого кричу: «По небу полуночи, папусь, по небу полуночи!». Да, были все-таки и в нашем детстве золотые дни, к чему его хаять, были; хоть и кривые на один глаз, но все же были.

И еще мне вспоминается. Иду я с ней, Софьей Петровой, по берегу Волги, в Ярославле. Я уже состоял в труппе, даже играл какие-то роли, но чаще всего выступал в дивертисментах, и всем чрезвычайно нравилось, как я читаю «У парадного подъезда», а в особенности когда взывал: «Выдь на Волгу: чей стон раздастся над великою русской рекой?», — так, не поверите,

каждому слушавшему хотелось встать и выйти, чтобы самому посмотреть, та ли это самая Волга, и все ли еще слышится над нею стон народный. Так вот, бредем мы с Софьей Петровной, которую про себя я ласково прозвал Сойкой,— водится такая лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем; у Софьи Петровны тоже был хохолок на лбу и платице такое голубенькое, чрезвычайно ее украшавшее.

Бредем, сворачиваем от берега на бульвар, где вековые липы. Липы цветут, и чувствую я, что надо мне сказать ей. А что скажешь? Встречались мы с нею редко, была она дочь богатого инженера, который где-то там в степях строил какой-то там чудовищный мост и получал за этот мост не менее чудовищные деньги, и, того гляди, мог мою Сойку перевезти в самый Петербург. Собою Софья Петровна была строга и во всем обожала точность и честность, а в особенности в вопросах литературы, которая тогда неслыханно властвовала над умами. Знала она ее, как древний начетчик, а не дай вам бог ошибиться и не так ей ответить. Не простит. И поэтому молодые люди старались литературных разговоров с нею не вести.

Идем мы, следовательно, под липами. Я счастлив и без особого основания чувствую себя, как река, которая окраится, то есть когда у ней лед отстанет от берегов и она обозначит себя. Как вдруг ни с того ни с сего Софья Петровна меня спрашивает: «Филипп! Вы любите Лермонтова?»

Вечер был уже, но глаза ее я видел: ласковые и строгие такие. Чувствую, что, ответь я ей по-настоящему, она способна полюбить меня на всю жизнь; да и я под этим взглядом сознаю, что люблю ее страстнейше, до безумия люблю, так что иначе как к смерти в случае отказа и свернуть некуда. Но одновременно с этим чувствую, что сердце у меня закатывается и ломота в нем этакая ровная и опасная; значит, не иначе, что произойдет сейчас что-то необычайно глупое и страшное.

«Да, люблю,— говорю,— и мало того: люблю чрезмерно и многое помню наизусть. Вот слушайте «Боярина Оршу».

А точно, «Боярина Оршу» я затвердил дня три назад, и всем нравилось, как я его читаю, а тут, думаю, бульвар, липы резонируют, голос, думаю, понесется

так, что сердца дрогнут и скалы повергнутся. Только открыл я рот и повелительно произнес первую строчку, как она меня бесцеремонно, хотя и нежно, перебивает: «Боже мой, Филипп, какой у вас вдумчивый и умный голос! Я хочу, чтоб вы прочли мне «По небу полуночи...». — «Прекрасно».

И я начинаю:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел;  
И месяц и звезды...

Липы густые, но все же в просвет видно небо над Волгой, и месяц, и звезды, и все прекрасно, и она, возлюбленная, идет неслышными стопами рядом со мной, подняв к звездам прекрасную голову, и внимает... И — я забыл. Да, забыл. Вот убей меня на месте, мне было бы легче, чем знать то, что я забыл эти стихи. Чувствую, что рука ее тяжелеет, взгляд опускается долу; вот она повернулась, слегка оттолкнув меня, и пошла прочь, навсегда. Я понимаю, что уходит мое счастье. Схватил я голову руками, упал на скамейку, и лицо мое и ладони уже в слезах. И чувствую, что еще мгновение, встану, а затем — обрыв. Волга, темная вода и смерть, конец... Тут вдруг чувствую на голове чью-то руку, и голос, в появление которого поверить невозможно, говорит мне: «Боже мой, Филипп, как удивительно вы прочли «Ангела».

Я поднял голову, встал. Глаза ее сияли. Она слышала меня, она меня слышала. Я прочел! Я схватил ее руки и впервые тогда назвал ее Сойкой, и это имя ей понравилось; и она мне сказала: «Зови меня так. Мы с тобой объедем всю Россию, и ты станешь знаменитым». Мы не обманули друг друга. Мы проехали всю страну, и она всегда восхищалась моим голосом, и уже мне пятьдесят пять лет, а она все еще говорит: «Боже мой, Филипп, ваш голос все еще молодеет». И все же, несмотря на всю ее любовь, когда меня мучили сомнения и когда я ее спрашивал: «Сочечка, скажи мне по совести: прочел я тебе «По небу полуночи...» или нет?» — и она неизменно лукаво говорила: «Чудесно прочел, Филипп, чудесно!»

И еще последнее вспоминается.

Было это много лет спустя после стола, который мы называли «крапивой», и бульвара с липами, — словом,

ездил я в тысяча девятьсот девятнадцатом году по Украине с гастролями, читал. Время, знаете, было такое, что хлеб снимали не косой, а головой, и ходили мы все в сборной одежде. Когда я туда уезжал, супруга моя только что принесла третьего и потому осталась в Калуге, а мне дала такое напутствие: «Хлебца, Филипп, и поросятинки». — «Ой, говорю, Соечка, страшно, выпотрошат меня продотряды, как мерлушку из овцы». А она мне: «Ничего, Филипп. Дубленье упрочивает кожу, а страх — жизнь». Как видите, знание русского языка пошло ей в пользу, слова ее на меня действовали, и я поехал, втайне лелея мысль о хлебце, поросятинке и варенье, что было уже, так сказать, от суеты мечтаний.

Не могу похвастать, чтобы успех был огромный, однако же, променяв свой фрак и полосатые штаны, я приобрел несколько фунтов сала, краях восемь хлеба, пшена и все это уложил в добротный мужицкий мешок. Еду в Калугу. Все вы прекрасно знаете из картин и романов, как было тесно в поездах, но так как я был тогда еще молод и к тому же привык к тесноте, то я был, в общем, доволен. Сижу день, другой, третий, приглядываюсь и вижу, что рядом со мной сидит, по знакам обряда очень боголюбивый человек, но по настоящему чину — подозрительная личность.

Во-первых, он сел без мешка, что тогда было невозможно и невероятно, а во-вторых, еще заявил, что едет в Сибирь. Пробовали его выпрашивать, как же он туда доберется, а он одно: «Доберусь». И тут, не смотря на толкоту и тесноту, люди стали от этого боголюба отодвигаться и намекать, что хотя и боголюб, мол, но всякие подлецы бывают. А он точно прилип и все смотрит на мой мешок, да нет-нет и скажет: «Дяденька, а ведь у вас мешок-то самый большой в вагоне». Тьфу!

Однажды, к вечеру так, поезд останавливается среди поля. Ну, думаем, надо набирать воду или дрова, но слышим — выстрелы, а тогда почти каждый кулак пулемет заводил. Слышим крики: «Банда, банда!» — и суетня у вагона, как раз у нашего, и суетня, чувствуем, довольно беспомощная, — должно быть, у охраны начальство не оказалось одаренным волшебной силой отваги. Тут мне все окружающие шепчут: «Вы, говорят, человек рослый, голос у вас хвалебный, вы бы

посодействовали, а то придется нам нашей мордой перед бандитами вензеля писать». Я бы, может быть, и выскочил на площадку и дальше, но, с одной стороны, мой мешок, дети, Соечка, сестра — мой аккомпаниатор, которой по состоянию здоровья тоже надо питаться; а с другой стороны — сидит и пучит на меня глаза этот подозрительный богомолец, по всей видимости, бандитский исследователь. Выйду, — и пропал мой мешок, потому что этот подозрительный его упрет, даже если и бандитов отгоним. А вагон рыдает, просит, молит, а за вагоном уже по звукам можно понять, что охрана подняла вверх полупрозрачные от страха руки, и во рту их, хоть вентилятор поставь, все равно воздуха нету. Терпя, знаете, и камень треснет. Короче говоря, охватила меня злость, и захотелось высказать кое-что своим, без сомнения, звучным голосом. «Э, думаю, что там мой мешок!» «Бери, поддувало! — говорю я подозрительному. — Бери мою провизию, черт с ней!» Сам на площадку.

Определить в точности, что происходило возле поезда, было трудно. Но бандит шел усердно, тащил пулеметы, гранаты бросал, выстрелов тогда с ихней стороны было много. Охрана стоит, и действительно — без команды, так как всех командиров перебили. Тогда я им с площадки: «Смирно! Слушать команду: по врагам революции — огонь!»

И давай, и давай... Охрана подхватила винтовки; мне в руки обломок какой-то шпалы попался, а тут и граната подвернулась, я ее хотел было швырнуть, но, к счастью, какой-то красноармеец меня за руку: «Вы, говорит, дяденька, в своих метите, а враги уже бегут». Я ему гранату вернул, так как, по совести говоря, обращаться с нею не умел.

Возвращаюсь в вагон. Поезд дает отходный гудок. Поднимаюсь на площадку и вдруг вспоминаю: «Мешок!» И стало мне жалко всего: мешка, и фрака, и полосатых брюк, и семью в Калуге. Вхожу. Смотрю — мешок тут и тип тот тоже тут сидит подле и еще ехидно улыбается. Ну, мне уже его не столь страшно. Я тоже проникся ехидством и спрашиваю: «Что, на следующей станции мрежи думаешь раскинуть? Ископаемые твои ждут?»

Он на меня смотрит, улыбается еще ехиднее и отвечает: «Да, ждут, дяденька». — «Ну, вот, говорю, они

дождутся у меня штаба Духонина», — то есть конца, по тогдашней терминологии. А он ничего — пожал узкими плечиками и сидит.

Подходим к станции. Поезд останавливается у семафора. Тишина. Мой спутник смотрит на меня иронически. «Что, говорю, смеешься? Али ваши уже станцию заняли?» — «Да, — говорит он, — заняли».

И действительно, — суматоха опять. Входят люди с винтовками и прямо к нему. Вагон завизжал, а они успокаивают: «Мы продотряд. А, здравствуй, Ваня!»

А Ваня этот самый указывает на меня и говорит: «Этого — пропустить! Он, говорит, здорово бандитов отчитал. Все «По небу полуночи...» им прокричал. А те подумали, что черт их знает! — может, какие новые орудия у них или новая команда. И побежали». — «Врешь, говорю, Ваня. Я им слова команды...» — «Да, вначале слова команды, верно, а там «Ангела». Я тоже в приходском учился и сочинения Лермонтова учил, я этого «Ангела» везде различу. Читал, дяденька, читал, очень отчетливо слышали. Вся команда подтвердит».

Команда кивает головами, а он мне мешок передает и говорит: «А если у вас, дяденька, есть сверх нормы, так везите себе спокойно. Это вам двойная норма за ваше чтение...»

Да, забыл. Читал я им или нет, не помню; скорее всего не читал. Но, с другой стороны, зачем они мне аплодировали тогда, в вагоне?.. Впрочем, все это к делу не имеет отношения. Теперь пришла старость, болтливость, забывчивость. Листья опадают, деревья гонят, талант вечереет, голос удалой не воротится, и уже, видно, никогда мне не вспомнить, товарищи, «По небу полуночи...». Что, товарищ директор? Я прочел хорошо? Мне цветы? Поздравления! И вы слышали, товарищ конференсье? И вы? И вы, товарищи публика?! И эти цветы мне! Простите меня, вы можете выявлять свою волю, но я же не читал! Читал? И хорошо? Удивительно, удивительно...

---

## ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

### I

Отец поэта выделял превосходные кривые ножи, какие ковал и дед отца, и прадед. Оттого земля дома ремесленников иль-Каман от непрерывного поступления угля и сажки стала несравненного черного цвета. Однако и на эту прокопченную землю зарились богачи, раскинувшие вокруг мастерской оружейника свои сады, увеселительные беседки и влажные фонтаны.

Народ уважает тех, кто кует хорошее оружие, и отчасти из страха перед народом, а главным образом из трепета перед острыми ножами, которые умели не только выковывать, но и применять с редким искусством ремесленники иль-Каман, судьи признавали право их владения.

Споря с богачами, не разбогатеешь. Иль-Каманы любили целительный блеск цветов и сочные плоды, но, как они ни рыхлили землю, как ни заботились о ней, она дарила им лишь семь жалких кустов роз. Вдобавок копыт и сажка быстро превращали расцветшие розы из белых в серые, а из алых — в махрово-черные. И все же цветы эти возвышались среди ржавых кусков железа, куч шлака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала.

### II

Мальчик Махмуд и в ковке ножей, и особенно в отделке их проявлял изумительную ловкость и разумение. На рукоятку ножей он ввел орна-

мент роз, а лезвие украшал тремя полуразвернутыми лепестками. Заказчики предсказывали ему большое будущее. Быть может, ему суждено увидеть лучшие времена Багдада и он будет каким-нибудь крупным купцом, или мореходом, или устройтелем процветающей компании караванов? Не его ли верблюды пойдут в далекую Бухару и Китай, а корабли — в Индию и Цейлон?

И отец его, обольстившись догадками заказчиков, подумал: «Что я знаю о будущем? Они много ездили и, несомненно, видят будущее лучше меня».

И отец повел мальчика к своему другу, судье багдадского базара, кади Ахмету. Кади Ахмет считался шутником, а это, как ни странно, украшает суд, обещая победу истцу и легкое наказание ответчику. Кади Ахмет преподавал мальчику начатки грамоты и поэзии, сказав, что остального — а оно огромно! — он должен добиваться сам. Иначе какая цена его ножам, если торговец, продающий ему железо, будет продавать ему уже готовые лезвия и рукоятки?

Затем отец повел его ко второму своему другу, законоведу Джелладину, который скривился и закалился, изучая Коран, лучше и крепче самого удачного из ножей, выкованных отцом, и дедом, и прадедом.

### III

Едва мальчик успел погрузить свое сердце в грохочущие и оглушительные видения пророка Магомета, за которыми Джелладин настойчиво указывал на Закон, — отец мальчика погиб, и мальчик вернулся к горну, к наковальне и к токарному станку предков. Всепожирающий, страшный «греческий огонь» поверг отца в глубины Средиземного моря, когда тот, в обществе таких же осунувшихся и голодных ремесленников, вздумал плыть в Италию, чтобы там выгодно продать свои изделия, а при случае подраться с теми, которые не желают покупать эти изделия. Багдад в те дни раздирали смуты, сталь для лезвий и рог для рукояток подорожали. Детей и жену нужно кормить, — и не продавать же свой домишко богачам, посредники которых все чаще и чаще стучались в деревянные ворота, источенные временем и червями.

Заказчиков не было. Ища занятий, молодой человек выходил к набережным Тигра, куда, медленно уравнивая бортами беглый свет на переливающихся волнах, пришвартовывались морские суда, пришедшие из Красного моря и груженные товарами Индии: душистым и драгоценным деревом, лечебными травами, пряностями, шелком.

Моряки с рыжевато-бурыми от ветров щеками спрыгивали на камни набережной и торопились в притоны, пить, — о, беззаконные! — пить вино и ласкать таких же беззаконных и бесстыдных женщин. Глядя на моряков, молодой человек вспоминал своего доброго и ласкового отца, и сердце его kloкотало. Он предлагал свои услуги морякам, а они говорили:

— Видишь эти товары и видишь склады, тоже полные подобных же товаров? Мы их привозим напрасно. Караваны могут, конечно, отвезти их к Средиземному морю, но какой толк?

И они подробно рассказывали о неистовом владчестве византийцев, которые овладели всем Средиземным морем и не позволяли Багдаду перевозить индийские товары в Европу. Молодой человек, рдея от злобы и желая вонзить все свои ножи в горла и утробы византийцев, говорил:

— Да, да! Мой отец погиб в море от огня византийцев. Я хочу им мстить, и хочу научиться плавать по морю, и прошу вас взять меня! Я научусь и пойду в Средиземное море во имя пророка и халифа...

— Да будет прославлено имя его! — восклицали моряки. — Но мы не знаем, пойдет ли еще в путь наш корабль. Команды наши полны, а новых кораблей не строят. Пойдем с нами и выпей с горя вина!

— Пророк запретил пить вино, — говорил молодой человек, отходя от моряков, а они, глядя ему вслед, говорили между собой, что из него выйдет добрый моряк, в свое время, конечно.

Тогда Махмуд иль-Каман, — ему в те дни шел девятнадцатый год, — начал сочинять стихи. Поэт жил в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Мутаки-Биллахи, — да будет прославлено имя его! — и стихи были о силе Багдада и о силе халифа, законного имама пророка, меча правоверных. Он прочел стихи кади Ахмету, и тот сказал:

— Стихи твои, пожалуй, еще лучше и оригинальней твоих ножей. Но если Багдаду не нужны твои ножи, то зачем ему поэзия?

#### IV

Поэт, светлый душой и телом, часто повторял про себя волнистые и жгучие, как пламя, слова 74-й суры Корана: «Эти одежды — твои. И ты держи их чисто! И ты избегай гнусностей. Например, не раздавай милостыни в надежде вновь собрать «ее». Поэтому он все чаще и чаще составлял стихи и оглашал их перед потухшим горном, когда, после судебных занятий, кади Ахмет навещал его. Поэт говорил:

— Заботящийся о вере и мести за веру, я хочу быть лучшим поэтом! Не затем, чтоб низко льстить халифу и быть плетевидным, подобно плющу, а во славу пророка.

Кади Ахмет, подвязав торбу с кормом к голове своего гнедого и пожилого мула, садился возле узкой двери мастерской на коврик, который расстилала госпожа Бэкдыль, мать поэта. Кади выпивал из тыквенной бутылки, которую постоянно держал у пояса вместо ножа, некоторый целительный состав и говорил:

— Мне нравятся разговоры о поэзии. Но когда поэзией роют землю, словно конь передней ногой, это тревожит меня.

— А как же иначе? — восклицал поэт. — Багдад видит, что халиф стал чересчур уступчивым. Багдад хочет силы, а не уступок! И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?

— Хм... — бормотал кади, отхлебывая из тыквенной бутылки, лоснящейся в его руках. — Хм... посредник... Посредник чего перелетающая птица, ведущая свои крылья с севера на юг? Посредник тепла и овета, быть может, ха-ха? Я несколько иначе думаю о поэзии, дорогой мой. Она напоминает мне женщину, утомленную ночными ласками и перед сном выбалтывающую много прелестных безделиц. Жизнь наша — ворочанье с боку на бок перед вечным сном, и ничто так крепко не помогает уснуть, как безделицы. Признаться, я огорчен, что познакомил тебя с поэзией, Махмуд. Мне кажется, ты понял ее превратно.

— Я понял ее превратно? — восклицал своим грохочущим голосом Махмуд. — Разве она не меч и не огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!.. Мне горько думать, что не халиф, а эмиры, его вассалы, гордятся своей силой. Вы слышали, наверное, кади, что некий нечестивец — начальник одного дикого племени — мерзавец Али, выстроивший мощный замок в Алеппо, возгордился и присвоил себе прозвище Сейфф-ад-Даулы, «меч династии»..

— Вот дурак! Ему мало хлопот с самим собою, так он придумал хлопоты над покроем платья для какой-то новой династии.

Поэт продолжал:

— Увы! Это не династия халифа ал-Муттаки-Биллахи...

— Суд требует, — сказал наставительным тоном кади, — при каждом упоминании достопочтенного имени халифа прибавлять: да будет благословенно имя его!

— ...а его, подлеца Али, собственная династия! И не позор ли для Багдада, что кое-какие арабские племена склонили перед нечестивцем Али свои бороды, а поэты воспевают его в стихах? Теперь именно, как никогда, мы, оставшиеся поэты, должны воспеть нашего халифа!..

— Да будет прославлено имя его! — сказал кади и отпил из бутылки. — Что касается меня, то я полагаю, что при таких сложных обстоятельствах полезнее было б употреблять настой мускатного ореха, полыни, хмеля, который, как видишь, употребляю я. Иначе твое чело раньше времени покроется морщинами, глубокими, как трещина в горной породе, а нрав твой станет подозрительным и испытывающим. Если бы мне удалось увидеть халифа, я б сообщил ему немедленно рецепт моего состава...

— А я бы прочел ему свои стихи! — прокричал, задыхаясь от страсти, поэт.

## V

Кади Ахмет жалел поэта и желал ему добра. Наполнив до краев свое сердце добрыми пожеланиями, кади Ахмет, видя, что поэт чересчур часто ходит к набережным Тигра, в результате чего уйдет

когда-нибудь в море, а богачи, потеряв Махмуда из виду, вновь затеют тяжбу, и старуха мать и малолетний брат поэта останутся без крова, кади уговорил законоведа Желладина пойти к визирю и выхлопотать для Махмуда небольшой заказ на ножи.

И он получил заказ.

Вновь запылал горн, младший брат качал мехи и подкладывал угли. Махмуд шлифовал нож или вытачивал ему из рога подобающую рукоятку.

Кривыми ножами перерезают горло скоту и неверному, если он попадет в руки мусульманина. Горло в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророка и халифа,— вот почему поэт для визиря особенно тщательно выделывал ножи, а один нож, тонкий и короткий, сделал таким, что на нем как бы постоянно жила слизь, струящаяся из горла перепуганного и умирающего врага.

Когда принесли к визирю первую партию ножей, он, вспомнив, что ножи эти рекомендовал ему шутник кади Ахмет, пересмотрел сам все ножи и, остановив свой взор на тонком и коротком, как бы покрытом слизью из горла ужаснувшегося врага, остался очень доволен и сказал:

— Действительно, этот Махмуд иль-Каман искусный мастер. Я возьму этот нож себе.— И, разглядывая нож, он увидел на лезвии его семь роз и три изящно выгравированных лепестка на рукоятке.— Необыкновенно искусный мастер.

Визирь призвал кади Ахмета, передал ему свою благодарность и приказ о новом заказе.

Кади сказал в ответ:

— Не удивляйтесь, о визирь, что мастер Махмуд пришлет вам благодарность стихами. Он грамотен, знаком с каллиграфией и в свободное время составляет стихи.

— Стихи? — И визирь сказал: — Халифа утомили поэты. Пишут о любви к женщине, воспевают ее рот и ноги. Как будто у нас нет коней и оружия!

— Поэт Махмуд поет лишь об оружии и мести византийцам.

— Оружие? Превосходно. Византийцы?.. Хм... Истинный правоверный ненавидит византийцев, но... мы

ведем сейчас с ними некоторые переговоры об эдесской святыне... Ты слышал? Скоро я соберу законоведов и кади. Ты будешь приглашен. Можешь взять с собой и этого поэта. Если будет свободное время, мы послушаем его. И я ему сам посоветую не писать о женщинах. Тьфу. Недавно, обсуждая повод, почему эмир Эдессы вдруг подарил мне тридцать пять своих самых любимых невольниц,— мы осмотрели их. Возможно, я отношусь к эмиру Эдессы несколько предубежденно и мне не нравится его манера вести переговоры с византийцами, но эмират у него большой, он выбирал для себя лучших женщин, и уверяю тебя, кади, я не нашел среди них хотя бы одну, которая была достойна поцелуя в лоб. И тогда Джелладин выразился о женщинах так метко, что даже ты, кади, позавидовал бы.

Визирь расхохотался.

— Ха-ха-ха! Джелладин сказал... ха-ха! Истый воин Закона должен относиться к женщине, как садовод к ивовой корзинке для упаковки фруктов. Не все ли ему равно: старая корзинка или новая? Лишь бы довести до Базара Суеты свои фрукты. Ха-ха! Я бы добавил — коль есть вообще расчет везти фрукты.

Кади Ахмет возвел глаза к небу. Визирь, читавший в глазах кади одобрение своим словам, ошибался. Кади Ахмет хотел бы сказать: «О верхушка Закона! О зубцы Мысли! Любили ль вы женщину?» Но даже болтливый кади умел иногда молчать перед сильными.

Кади, верхом на своем гнедом муле, плелся из дворца визиря.

Был вечер, сонный, спелый, когда все вокруг тебя кажется свежим и новым, словно видишь это впервые. И небо, размышляющее над твоими делами, и последний луч заката, и первая звезда, и слабый вздох ребенка, засыпающего в колыбельке, которую мать осторожно уносит с плоской крыши своего дома. И Багдад, и вся жизнь казалась кади Ахмету большой, значительной, поддерживающей и заботящейся о нем... И он стал мурлыкать про себя песни. Он хотел бы спеть какую-нибудь любовную песню, сочиненную его молодым другом — оружейником. Искал — и не мог найти. И он опечалился в сердце своем, потому что если ты в такой вечер не найдешь песни друга, то что значит дружба твоя?

## VI

Кади напрасно печалился.

Мореход с радостью пристаёт к материку. Но с не меньшей радостью он видит и острова, направляя к ним свой корабль. Багдад и его слава для поэта — материк. Но если вам встретится на долгом и тяжёлом пути поэзии небольшой остров, влекущий вас тенистыми деревьями, травой лужаек и рыхлой, «влажной» почвой возле родника, разве вы минуете его?

Махмуд глядел в тот вечер, так же как и кади, в средину неба и видел его повелительную и массивную глубину такой же сочной и ласкающей, какой видел ее кади. А может быть, он видел ее еще более целительной, чем кади Ахмет. Ведь кади Ахмет на своем пути мог сейчас разговаривать лишь с гнедым мулом, а поэт говорил с возлюбленной. Он стоял с нею, рука об руку, на маленькой и плоской, как лужа, крыше своего черного одноэтажного домика. Он стоял и пел новые стихи в честь этой женщины, пел их вполголоса, но звуки эти были для нее столь оглушающи и прославляющи, что она и дрожала и плакала от радости и счастья.

А он, кичась нежностью и плавностью своих стихов, позволял им смягчать опаленную пожаром корабля, на котором сгорел его отец, свою воинственную душу.

И душа его сладостно и несколько испуганно ныла, точно очищенная от коры часть древесного ствола.

## VII

Госпожа Бэкдыль, мать поэта, хорошо вела хозяйство его. Получив второй заказ на ножи, она попросила задаток. Одну треть она отдала сыну, чтобы он купил сталь для лезвий, а две трети взяла себе, сказав, что задолжала и что надо выплатить долги. Между тем долгов у нее не было, а, наоборот, еще от первого заказа она удержала кое-какие деньги. Ей не терпелось купить трех хороших коз, которые бы давали молоко и тонкую шерсть для прядения. Сыновья, особенно младший, нуждались в еде, а сыр и козье молоко весьма полезны. Кроме того, они сильно пообносились.

Разумеется, госпожа Бэкдыль рассчитывала, что ее сыновья когда-нибудь заработают достаточно много денег и она наведет должный порядок в доме. После потери мужа госпожа Бэкдыль часто прихварывала, пальцы ее дрожали, и, подобно блуждающему огоньку, ее дразнила надежда, что она приобретет трех невольниц, коня, двух ослов и множество овец и коз!.. Невольницы прядут, ткут, делают сыры, убирают полы и двор, подкидывают угля в горн: качают мехи. Когда они плохо работают, госпожа Бэкдыль слегка бьет их, они кричат, и все соседи, слыша крики, говорят между собой, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

Поэтому, прежде чем спуститься на площадь, где продают коней и коз, госпожа Бэкдыль, томимая надеждой на покупку рабынь, обошла ряды, крытые дырявыми циновками, сквозь которые щедро падало жаркое солнце, и где было душно и тесно, и где продавали невольников и невольниц.

Конечно, мать хотела бы купить белую невольницу с плотным телом, отлично вскормленную, от которой легко можно было бы добиться послушания. Черные невольницы много спят и едят, подвержены чесотке, и от них плохо пахнет. Белые — зато дороги, особенно сейчас, когда багдадские воины слоняются без дела, а если вздумают воевать, то, наоборот, сами попадают в невольники к византийцам!.. Были у нее, кроме рабочих, и другие соображения. Сын ее возмужал, силен, и в нем уже клокочет желание, создающее много несчастий, если его не победить с помощью жены. Женить, женить!.. Люди болтают, что Махмуд безобразен и потому не сможет увлечь красавицу, которая бы согласилась на бегство или пустить его в гарем, опоив своего мужа.

«Безобразен! Безобразия нет, а есть трусость. Он же не труслив, а значит — красивее многих красавцев. Если же он не увлекает красавиц, то лишь потому, что работает для матери и своих стихов. Значит, я должна найти ему рабыню!»

Она не спешила. К солнцу и пыли она привыкла, базарный шум доставлял ей наслаждение. Она шла мелкими шажками, пыль тонкой мутно-желтой струей катилась между пальцами ее тощих ног, голых до щиколотки. Она размышляла вслух:

— Безобразен? Широкие, растопыренные уши, как парус? Подсмеивайтесь!.. Этими ушами мой сын слышит в мире то, что ваш ленивый слух никогда не услышит! Толстый, короткий, как кулак, нос с огромными ноздрями? Он чувствует далеко запахи счастья! Вашему ли расслабленному носу обладать таким нюхом, дряблые псы! Узкие глаза? А зачем ему видеть все горе в мире, бездельники, не видящие ничего, хотя глаза у вас больше подноса!..

Размышляя так и прицениваясь, госпожа Бэкдыль шла по рядам, где по одну сторону, в своем естественном безобразии, сидели и возлежали на полу многочисленные черные невольники и невольницы, а по другую — раскрашенные и завитые — на скамейках, которые подчеркивали их иноземное происхождение, сидело несколько белых женщин. Позади, стремясь оттенить их подержанную красоту, висели ковры.

Поодаль, на коврах, возлежали купцы, изредка глотая кофе. Иногда вставал какой-нибудь продавец и подходил к белым невольницам, чтобы похвалить красоту их, а где красоты невозможно было обнаружить, восхвалял их послушание и работоспособность.

Обойдя ряды, госпожа Бэкдыль оцепенело остановилась и сказала с глубоким вздохом:

— Неужели ничего нельзя поймать лучше? Чахнет, чадит Багдад, факел ислама! Разве это женщины? Разве таких женщин продавали лет десять тому назад? Кобылицы были, и племенные кобылицы притом, а не женщины!

Торговец сказал:

— Мать, ты сама была, быть может, десять лет назад кобылицей, а теперь ты сжатая полоса.

## VIII

Шакал не перекричит торговца рабами, гиена не поборет его своими гнусностями. Госпожа Бэкдыль смолчала. Стоящий рядом с нею знакомый мастер морских лодок и припасов рыбной ловли сказал:

— Ваша правда, госпожа Бэкдыль. Мы разоряемся! Всех сильных невольников забирают себе вассалы, а в столицу халифа — да будет прославлено имя его! — поступает дрянь, отчего происходят язвы, вред

и ущерб. Поверите ли, вчера я купил у этого негодяя черного раба, с виду мощного и, казалось, даже щеголявшего своим здоровьем. Приказываю ему сегодня тащить лодку к реке, чтобы испробовать ее ход... он падает, у него горлом кровь! Я привожу его обратно, чтоб обменять или получить свои деньги, а торговец не хочет ни того, ни другого!

— Негодяй!

И госпожа Бэкдыль добавила:

— Подумать только, господин мастер лодок! Ведь давно ли, при покойном халифе ал-Матадида, в двухсот восьмьдесят первом году хиджры привели сюда три тысячи пленных...— И она продолжала, передавая базарной прозой одно из стихотворений своего сына:— А теперь? Сын одного из этих сопляков... их за бесценок продавали вот здесь, возле этой навозной кучи, которая называет себя торговцем рабами!.. Подлец Али, прозвавший себя «мечом династии», смеется над Багдадом! Пощечина аллаху!.. И он еще осмелился при своем вонючем дворе завести каких-то поэтов. Поэты?! Паралитик ал-Мутанаби, пьяница Абу-Фарас, гнусавый Ан-Нами. Всех их пора выставить вот сюда, в эти ряды!..— И она продолжала, указывая дрожащей рукой на белых невольниц: — Смотрите, до чего дошло! Какую-то грязную черную девку выдают за белую, а просят за нее столько же, сколько за коня или верблюда! Купите-ка, попробуйте. Она не только не сможет услаждать ваш вкус и слух, она так малосильна, что, поставь на нее клеймо вашего дома, она сдохнет от волнения!

И мать Бэкдыль радовалась, говоря это, потому что ее неудовольствие происходящим вполне соответствовало ее денежным средствам. За невольниц просили так много!

Едва она закончила свою речь, как одна из белых невольниц, высокая, худая, с повисшими грудями и впалыми голубыми глазами, вдруг склонилась набок и упала со скамьи прямо на каменный пол головою. Лицо ее, и без того равнодушное, стало не живее камня и словно бы покрылось плесенью смерти.

Торговец закричал, махая кулаками в сторону матери Бэкдыль:

— Она сглазила ее, этот дух преисподней, эта чахлая рвань!

Между тем надсмотрщик базара, он же и врач, наблюдающий за чистотой и здоровьем, кинулся к владельцу невольниц:

— Ты обманул меня, подлец! Я поверил тебе, что она здорова. А ты просто показывал мне ее в тени, а стоило выйти солнцу, как она упала! Ты заражаешь базар и других невольников.

И он повел его к кади Ахмету.

Торговец, склоняясь перед кади Ахметом, бормотал:

— Господин кади! Она была вся прелесть и блеск. Я ее кормил сладкими лепешками, мясом и давал ей даже вино, да простит мне это аллах. Она была как померанцевый цвет, но эта старуха сглазила ее, и я требую от старухи вознаграждения!

Кади Ахмет узнал мать поэта. Ему захотелось сделать добро и невольнице, и матери поэта, а кроме того, торговец был отвратителен. Пока торговец и старуха бранились, кади рассматривал невольницу. Она лежала на полу, сырая от болезненного пота и как бы вся закутанная страданиями. И все же кади Ахмет увидал в ее лице что-то свежее и ясное, а в движениях ее тела — гибкость.

Кади Ахмет сказал, обращаясь к матери поэта:

— Женщина! Ты могла сглазить, сама не зная того. И ты должна понести наказание.

И он сказал, обращаясь к торговцу рабами:

— Мужчина! Ты своими беспутными словами вызвал действие дурного глаза. И ты тоже должен понести наказание.

Подумав, кади Ахмет добавил:

— Женщина! Ты возьмешь невольницу и заплатишь за нее цену двух коз. Мужчина! Ты подчинишься этой цене. Молчите, иначе вы оба будете ввергнуты в тюрьму.

Он глотнул из тыквенной бутылки и сказал:

— Уходите. Суд окончен.

## IX

Махмуд посмотрел на невольницу, худощавую, чужую, со светлыми спутанными волосами, которые катились по ее костлявой спине, словно дрова, сплавляемые по горной реке россыпью. И он по-

смотрел на худую козу, которую купила мать, потому что, испуганная Законом, она отдала слишком много денег торговцу рабами и козу пришлось купить самую плохую.

Махмуд сказал:

— Зачем они? Что с тобой случилось, мать?

Она проговорила, уважая Закон и слова кади Ахмета:

— Девушка будет чистой, теплой, тяжелой, как морской прилив. Я откормлю ее. И коза тоже будет откормлена!

Как ни уважал он свою мать, но он не мог удержаться от хохота.

И, вспоминая хвастовство матери о морском приливе, он хохотал всегда, когда видел козу и невольницу вместе.

## Х

Минуло три месяца, и он перестал хохотать, глядя на нее. Слова матери сбылись. Невольница стала чистой, и ее походка расстраивала его чувства и мешала ему составлять песни. Он издали чувствовал ее теплоту и ее глаза, уже не впалые, — они сияли голубым огнем, и взгляд их, нежный и приятный, останавливающийся на нем, заставлял его насвистывать и потягиваться.

А девушка с улыбкой вспоминала свой испуг, когда впервые вошла в этот черный дом, обитатели которого показались ей неграми. Но вскоре она увидела, что их зачернила работа и что если их мыть долго, то, быть может, отмоешь и добела! И она с радостью взялась за стирку. Затем оказалось, что это добрые, ласковые люди, любящие цветы, и она с радостью поливала семь кустов жалких роз, и розы цвели так, как они не цвели никогда.

Так произошло начало любви.

Любовь возрела медленно и осторожно. Даже кади Ахмет не замечал ее. Правда, он долго не появлялся к ним, возможно сомневаясь в своей прозорливости, но однажды, чересчур много хлебнув из тыквенной бутылки и боясь в таком виде явиться домой, приехал к ним и, садясь на коврик, спросил:

— Женщина! Довольна ли ты своей покупкой?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я довольна. Даже коза и та поправилась.

И она поклонилась ему.

Кади Ахмет сказал:

— Из всех судебных процессов, проведенных мною, этот, пожалуй, был самым удачным. Дело в том, что я редко лживо толкую Закон, а тут я толковал его совершенно превратно. Не сделать ли мне из этого подobaющие выводы для следующих процессов?

И он долго сидел у них, наслаждаясь своей бутылкой и своим остроумием, и в первый раз поэт слушал его с неудовольствием: не потому, что кади говорил плохо, а потому, что поэт спешил к ней.

В любви к ней поэт проявил ожидание. Он не набросился на нее, как должно хозяину рабыни. Он дал возрасти и ее и своему чувству, и когда эти чувства слились, они охватили их, словно огромный вал прилива, и он сказал матери:

— Мать, ты была права. Она — чистая, теплая, и чувство к ней у меня огромно, как прилив.

Мать радовалась его словам, хитро улыбаясь. Она знала, что когда она купит ему еще двух невольниц, его чувство ко всем трем будет огромно, как океан, а она будет хлестать рабынь по щекам, упрекая их за нерадивость, и они будут кричать, и соседи будут говорить, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

## XI

Однако бывали часы, когда он грустил. Любовь, как поется в песнях, — цветок. И он нашел этот цветок! Но все же, сколь ни мил цветок, — это флора небольшой местности. Его цвет, его букет цветов — меч, обнаженный в защиту халифа! И халиф, направляющий этот меч! И Багдад, воплями и песнями воспевающий этот меч! И над жидкой кровью неверных цветут его стихи, стихи Махмуда иль-Каман!..

Девушка, думая, что он огорчается любовью к рабыне, сказала ему:

— Я не простого рода. Я скажу тебе то, чего не говорила и в чем не признавалась другим арабам. А даже отрицала это и хворала непрерывно от этой лжи. Я не хотела, чтоб византийцы хвастались, что они продали дочь князя! Мой отец — начальник одной из дру-

жин князя Игоря и сам княжеского рода. И братья мои, Сплавид и Гонка,— князья.

— Кто такой князь Игорь? — спросил поэт.— Багдад никогда не бился с ним и не получал от него дани.

— Князь Игорь никому не платит дани. Он со всех берет дань! Он — владелец обширной земли Русь, где лето с теплыми и короткими дождями, а зимой земля покрывается колеблющимся и зыблущимся снегом.

— Мой отец в детстве видел снег. Он выпал однажды в Багдаде. Снег держался три дня. Много людей тогда умерло от холода и испуга.

— Мы не боимся ни холода, ни испуга. Мы — Русь. Помнишь базар? Я собиралась умереть от негодования, что какая-то черная негритянка торгует меня, но добрый судья помог мне увидеть видение счастья. Я верю, что принесу тебе счастье, а свое я уже получила от тебя.

Махмуд спросил:

— Где же ваша страна, скажи? — И он поспешно добавил: — Удивительно, как плавно сердце, охваченное любовью. Твоя страна уже близка мне, и я томлюсь по ней. Я хочу знать о ней все, что ты только помнишь!

— Моя страна лежит далеко, по ту сторону шипящей, как змий, на весь мир Византии. Моя страна растирает в пыль и в песок своих врагов, и с времен князя Олега Византия платит нам дань! Три года назад Византия отказалась платить нам дань. Тогда наш князь Игорь собрал войско и с обширной реки Днепр пошел к Византии...

— А, поход варваров! — сказал поэт.— Я слышал о нем. Византийцы ведь прогнали вас?

Даждья, дочь Буйсвета, сестра Спавида и Гонки, сказала, чувствуя, что по правам своим она уже обязана предостерегать поэта:

— Ты опрометчив, Махмуд. Верить утверждениям византийцев! Их правда всегда в тумане, несмотря на то что над Константинополем всегда ясное небо. Варвары? В нашей стране — большие чудные города, наши ладьи управляют всем Черным морем, и наш меч, ослепляющий врагов, грозен всем и каждому! Варвары?! Ха-ха!.. Завистливая, струящаяся ложью Византия, стараясь унижить нас, называет нас варварами, и ты повторяешь это унижительное слово, Махмуд?

Защищаясь от ее справедливых упреков, поэт спросил:

— Как же случилось, что страна ваша велика, богата воинами и оружием, а ты, дочь князя, попала в плен?

— Как?! Из-за слабости Багдада.

— О-о! — воскликнул он с горечью.

## ХII

Дав улечься буре, поднявшейся в нем от ее обжигающих слов, Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, продолжала:

— В девятьсот сорок первом году, по общепринятому византийскому летосчислению, князь Игорь, повторяю, собрав войско на множество судов, двинулся на Константинополь. Три года назад. Горе, горе, о Перун, бог Киева и славян!.. Я преклоняюсь перед твоими стихами, Махмуд, но никакой сборник твоих стихов не сможет описать страданий, перенесенных мною. Когда я придумываю мечь византийцам, любые их мученья кажутся мне только подборанием колосьев, а не полной жатвой. Мсти им, Махмуд, мсти им! Они убили твоего отца, и вот я плачу о нем теми же влачащимися долгими слезами, какими плачу о моем брате Сплавиде!

Она вытерла свои слезы, и рукав ее платья от пальцев до локтей был мокр от слез.

— В числе других женщин, желающих увидеть славу Руси, я сопровождала войско. Еще при Олеге мой отец, витязь Буйсвет, погиб накануне того дня, когда наш князь прибил свой длинный коленчатый щит к Золотым Воротам столицы византийцев. Олег огромным молотом вбивал гвозди с такой силой, что гром стоял над Константинополем и жители прятались в погребах и ямах, опасаясь землетрясения!..

— О, красота, о, прозрачность аллаха! Твой рассказ, милая, идет стройной линией, как войско. Говори, говори!..

— Повторяю, под Константинополем коварный византиец убил моего отца, спрятавшись за дуб, когда отец подвел своего коня, чтоб напоить его из родника. Я была в дни похода Олега еще ребенком, но я помню вопли матери. И теперь, когда Игорь направился в по-

ход, я сама хотела видеть, как он прибьет к Золотым Воротам свой щит. И я поднесла ему небольшое золотое украшение для этого щита. Так сделали многие наши девушки, отчего щит заблестел, как солнце, и был тяжел, как телега, груженная зерном. Но князь наш силен, и он носит щит с легкостью...

— Он красив, ваш князь Игорь? — спросил, побледнев от ревности, поэт.

— Нет, нет! — поспешно сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки. — Он сутул. Вернее сказать, горбат! И он косит одним глазом. Он совсем некрасив, и редкая девушка влюбится в него...

— Редкая! Значит, все же влюблялись?

— Я говорю в том смысле, что не знаю такой девушки! Уважение к князю и любовь — это совершенно разные вещи, Махмуд.

Она солгала? Едва ли. В свое время, как и многие девушки Киева, она притаенно вздыхала по князю Игорю. А теперь и на самом деле он казался ей уродливым, и она искренне клеветала на него, называя его и горбатым и косым. Не будем осуждать любовь, она прекрасна, даже и при такой, правда наивной, клевете.

Слова ее звучали искренне. Поэт сказал:

— Братья тебя обожали, наверное? И ты у них единственная сестра? Но как же случилось, что они взяли тебя с собой в битву? Согласись, брать девушку в поход, да еще против таких гнусных врагов, как византийцы, по меньшей мере неразумно.

— Я убедила их, сказав, что наше хозяйство расстроилось и мне самой надо последить за их добычей. Они легкомысленны! Они склонны к игре в кости, к вину. Кроме того, им не везет в игре. Так, недавно вернувшись из похода на печенегов, братья привели шестьсот пленников, и ни одному из пленных не было больше двадцати лет...

— О, богатая добыча! — воскликнул поэт. — У нас такой витязь уже презирал бы халифа, называя себя — тьфу! — «мечом династии». Хочу повидать твоих братьев!

— И вы подружитесь! — сказала она, сжимая его руки. — Но только Сплавид уже погиб, а выздоровел ли другой — не знаю...

Она помолчала.

И он спросил:

— Подозреваю: они проиграли шестьсот пленных печенегов?

Грустно улыбнувшись, она сказала:

— Да, проиграли, в пять дней. И вот, когда я им напомнила об этом проигрыше, добавив, что они проиграют и богатую византийскую добычу,— они взяли меня с собой.

Был вечер. Над высокими стенами, окружавшими дома Багдада, шелково шелестели деревья, уходя в сиреневую тьму вскачь приближающейся ночи. Весна кончалась, и этим вечером, быть может, прошел последний ее, тихо мерцающий, дождь. Во всяком случае, между вершинами деревьев и водой, шумящей у их корней, прижавшись друг к другу, расселись соловьи и пели, всячески расцвечивая свои песни.

Вслед за деревьями в сиреневую мглу скрылись и широкие разноцветные купола мечетей, и только тонкие минареты, как мечи пророка, пронзали небо. И небо, пронзенное мечами веры, истекало нежным светом, постепенно заменяясь другим, тревожным и мрачным. Это было световое кольцо вокруг луны, которое показалось раньше самого светила, и показалось оно над медресе эль-Мустинсериз.

По переулку проехал всадник. Быть может, это был кади Ахмет? Мул всадника хлябал подковой, и он, в такт этому хлябанью, бормотал какую-то песню.

— А возможно, твои братья и правы, проигрывая все в кости? Зачем нам добыча, пленные и золото? Воин и поэт не должны ли быть расточительными?

И он расточительно называл ее луной, и небом, и красной медью своего трубящего радость сердца, и мечтой счастья!

И, захватив ее мизинец указательным пальцем своей руки, ходил с нею по крыше домика, такой же тесной, как и дворик внизу, где лежали под навесом куски металла, из которого он ковал свои кривые ножи, украшенные лепестками, и лежал сухой помет для топлива, спрессованный в кирпичи, и лежали древесные угли для горна. Там же, возле козы, укладывалась на ночлег мать поэта, госпожа Бэкдыль, потому что дом она предоставила любовникам. Мать радостно вздыхала, слыша глухой говор счастья, доносящийся с крыши. Ах, если б еще двух рабынь, и как бы все было великолепно, и как бы соседи завидовали тогда иль-Каманам!..

### ХІІІ

Они не спали всю ночь, и на рассвете, ослепленный счастьем, поэт поднял голову с ложа и спросил:

— Однако, моя любовь, ты не объяснила мне, как же Багдад мог помешать князю Игорю в его мести византийцам?

— В год нашего похода,— сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки,— в Багдаде и во всем халифате была смута. После смерти халифа и поэта Ар-Ради...

— Он был плохой поэт!

— Может быть, поэтому вы не могли так долго выбрать нового халифа и резали друг другу горло?

— Я, как и ты, ненавижу смуты!

— Прекрасно. Тогда ты скоро поймешь меня. Тебе известно, что на восток от Византии, направленный против Багдада, стоял тогда с большим войском умный и опытный domestик схол Иоанн Каркуас?

— Да.

— И тебе известно также, что, когда Багдад ослабел, Иоанна и его войско византийский император увел к западу? На нас.

— Нет. Этого я не знал. Я слышал только, что Иоанн ушел.

— Иоанну добавили войска, которые готовились вторгнуться в Южную Францию. А мы уже в это время дрались с византийцами в Вифинии! О, мы их били! Я имею основания думать, что мы били их прекрасно! Они пускали от нас коней и свои тонкие ноги во всю прыть. Мы подошли к Никодимии, а по берегу Черного моря — к Гераклее и Пафлогонии. Византийцы перепугались. Они собрали все имеющиеся у них таинственные машины, извергающие воспламенительный «греческий огонь». Привели свой флот, которому в иные времена стоять бы против багдадского флота...

— О, горе! — простонал поэт. — Горе Багдаду!

— Византийцы сожгли наши ладьи. Наше войско отступало. Старшего брата Сплавида изрубили мечами. Младшего, раненного, уносили трое дружинников — все, что осталось от славной дружины князя Буйсвета! Защищая братьев, я взяла лук. Меня ранили в плечо. Вот сюда, смотри! Трое дружинников все-

го... кого же нести? Меня? Брата? Я сказала: «Разложите костер. Зажгите. Я встану на вершину огня. А скажите в Киеве, чтобы Русь пришла сюда за моим пеплом: И чтоб посыпала этим пеплом главу византийского императора и растоптала его корону на моей могиле!»

— Хорошие, всегда вспыхивающие слова!

— Костер пылал. Я сидела на вершине его. Дружинники унесли брата, так как византийцы были близко. Но у византийцев большой бог, он вставляет иногда днище в такую бочку, которая, казалось бы, совсем развалилась. Вдруг хлынул ливень, потушил костер, и меня сняли с костра обгоревшей, но живой. Я не хотела выздоравливать. Я звала и видела дух моего отца Буйсвета и дух моего брата Сплавида!.. Тем временем Иоанн Каркуас, отправленный вновь на восточную границу, увез меня с собой. Больную, они пытали меня, чтоб узнать мое звание. Я молчала! Тогда они плюнули мне в лицо и в числе других рабов обменяли за какого-то проткнутого багдадским ножом византийского старикашку-вельможу... Я сгорала, духи отца и брата стояли рядом со мной... Ты, Махмуд, подарил мне сердце и создал мне душу. Я жива! И я сильнее, чем когда-либо, жажду мести византийцам.

Ее слова радовали его. Он сказал:

— Мы будем мстить!

#### XIV

Мстить! Но как?

Несколько дней подряд, не отходя от горна и станка, поэт делал ножи. Подруга его дергала веревку, которая раскачивает мехи, подающие воздух в горн. За работой поэт неустанно думал: «Если визирь заказал мне так много битвенных ножей, то, значит, ожидается сражение с неверными. Багдаду, а значит, и всему халифату известно, что византийцы подошли к стенам Эдессы и, упоенные славой, требуют выдачи эдесской святыни. Властный эмир Эдессы приутих и приехал советоваться с халифом. Не пора ль пропеть песню перед халифом?»

Поэт стучал молотом по металлу, и ему грезилось, что он стоит перед халифом и слова его стучат по сердцу повелителя, извергая искры.

Даждья спросила:



— Что такое убрус, о котором мать принесла весть с базара?

Махмуд сказал отрывисто:

— Эдесская святыня.

— Чьей веры святыня? Мусульманской? Христианской?

— Той и другой.

— Как же — и той и другой? Вы называете себя правоверными и, однако, признаете христианскую святыню?

— Пророк Исса, или, как его называют византийцы и несториане, Иисус, освящен в Коране.

— Еще одна слабость Багдада!

— Где ты нашла слабость?

— Говорят, святыня — это полотенце, которым однажды утерся пророк Исса. На полотенце нерукотворно отпечатался лик пророка Иссы. Как же так? Ведь пророк Магомет запретил поклоняться идолам и всяческим изображениям?.. О, вы рабы собственной слабости! Вы поклоняетесь какой-то тряпке, потому что ее нарисовал византийский художник. У греков были великие художники, а у вас, арабов, никогда не было художников, и не потому ли пророк Магомет запретил рисовать портреты?

Махмуда раздражала ее болтовня, тем более что в ней заключалась правда. Но что она твердит — слабость, слабость! Нельзя же, в самом деле, ковать ножи и собираться на битву, сознавая в то же самое время себя слабым?

И он сказал:

— Молчи. Ты мешаешь работать.

— Наоборот. Я помогаю тебе работать, так как развиваю твои мысли. Нужно быть последовательным. Если ты мусульманин, зачем тебе христианская святыня?

— В халифате много христиан, а Коран...

— Коран приказывает тебе уничтожать неверных!

— Молчи! Что ты понимаешь в Коране? Ты языческой веры...

— Я языческой веры? — воскликнула она. — Моя вера одна: если любишь, люби со всем, что есть в этом человеке. А ты мне кричишь: молчи! Убей меня тогда. Коран приказывает тебе уничтожать неверных, а ты мне не веришь!

На лице ее выразился гнев и презрение. Отталкивает ее, дочь Буйсвета, сестру Сплавида и Гонки? И губы ее сжались так, словно она собиралась плюнуть ему в лицо.

Как, плевать в лицо арабу? Поэту? Нечестивая! Он отбросил молот, потому что был зол и чувствовал опасность.

Она, распахивая одежды и указывая на свою белую грудь, воскликнула:

— Бей ножом! Вот ножны для твоего ножа, неверный и неверующий.

Он отступил от нее и сказал:

— Ты глупа.

— Значит, ты меня не любишь?

Он молча ушел.

## XV

Что такое поэт? — спросил сам себя кади Ахмет, увидав входящего к нему Махмуда. — Это основа радости. Человек и его жизнь зачастую — игра судьбы. Поэт берет из этой игры наиболее веселые моменты и словами, тающими во рту, рассказывает о них другим, с тем чтобы люди были выносливы и снисходительны. Итак, мы ждем твоей песни, поэт!

— Я сам жду от вас, добрый кади, и от вас, о перст Закона Джелладин, помощи и указаний.

— Прекрасно! Будем утешаться вместе.

И кади Ахмет подбросил ему подушку, чтоб поэт мог облокотиться, и указал место на ковре рядом с собою. Вследствие своей снисходительности к людям кади был беден. Однако он никогда не жаловался на свою бедность, и даже восхищался ею, говоря, что у бедного всегда отлично работает желудок и он оттого может без помехи наслаждаться благами жизни, вроде воздуха, солнца или цветущих деревьев. Багровый, полнокровный, рыжебородый, он возлежал на рваных, жестких подушках с таким счастливым лицом, словно подушки мягче пуховиков, а лохмотья их глаже шелка. Он курил дрянной табак и пил с удовольствием плохой, дешевый кофе, который варил себе сам не потому, что его не уважала или не любила жена, а потому, что не хотел затруднять ее. С женой, что редко бывает среди праведников, он жил дружно.

Против кади сидел законник Джелладин, согнутый, изможденный и порядком озлобленный. Его уму принадлежало изречение: «Есть Закон, есть и ты». Встретив вас, он не желал вам ни доброго утра, ни доброго вечера,— он желал вам законно провести свое время. И он пичкал людей текстами законов, как неразумная кормилица ребенка грудью, обижаясь и негодуя, что обкормленный ребенок кричит. Джелладин глядел на людей так, точно готовился бить их сейчас кнутом или подвергнуть пытке. И только когда человек не подавал признаков жизни, Джелладин смотрел на него мило-стиво, передав его другому судье, который, он допускал, знает Закон так же, как Джелладин.

Из всех людей, пожалуй, только один кади Ахмет находил удовольствие от встреч с Джелладином. «Наш ум как нож — остер, когда имеется хороший брусок,— говаривал кади.— Кроме того, у него, бедняги, имеется лишь одно наслаждение — Закон, а его, как я знаю по опыту судьи, очень тяжело переварить. И я надеюсь в конце концов познакомить его хоть с парочкой из тех многочисленных и разнообразных наслаждений, которые известны мне».

Чего хотел сам Джелладин от кади Ахмета? Быть может, свидетельства на суде беззаконий кади Ахмета, когда проницательный халиф — закон законов — разглядит все проступки кади Ахмета и сменит его и отдаст самого под суд, и на этом суде будет главным судьей Джелладин? Кто знает! Как бы то ни было, Джелладин, ходячий сборник форм и образцов, ежедневно посещал кади Ахмета, ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов.

— Какой же помощи ты ждешь от меня, Махмуд? — спросил Джелладин.

Махмуд сказал:

— Я хотел бы прочесть свои стихи перед лицом халифа, да будет благословенно имя его!

— Так. Да будет благословенно!

Джелладин проговорил:

— Махмуд! Не считаешь ли ты нужным прочесть вначале свои стихи перед моим лицом? Твои стихи, я знаю, излагают закон правоверных. Кто же лучше меня толкует Закон?

Махмуд, огорченный своей первой ссорой с подружкой, думал, что не сможет с должным чувством про-

честь свои стихи, призывающие к битве против Византии. Оказалось, что ссора не помешала пылу чтения, а придала ему большую силу.

Джелладин, обдумывая стихи, смотрел в пол. Кади Ахмет улыбался, щекоча рыжей бородой свой нос. Он сказал:

— Мило. Очень мило. Мне представилось, что это стихи не об усмирении Византии, а о важности усмирения возлюбленной. И не лучше ли отбросить Византию и оставить возлюбленную, которой у тебя, Махмуд, еще нет, но которая придет, если ты будешь по-прежнему с таким совершенством сочинять. Что же касается халифа, то ему теперь не до стихов. Эдесса!.. Святыня!.. У халифа, насколько мне сейчас известно, слабый и частый пульс, и, кроме того, халиф жалуется,— да будет благословенно имя его! — что его мучают мурашки на спине и зуд в пятках. По-моему, он чересчур много кушает дынь, а дыни к весне, уже теряя свою целебность, вызывают лихорадку.

— Беззаконно так низко говорить о халифе! — торжественно провозгласил Джелладин своим воспитывающим голосом, один звук которого напоминал формат какой-то толстой книги законов. Даже в обсуждении болезни халифа должна проявляться сдержанность.

Он встал.

— Махмуд, при случае я сообщу твои стихи визирю. Я их запомнил, у меня отличная память. Тебе нужно, правда, внести кое-какие вставки, необходимые с точки зрения Закона. Зайди ко мне завтра, я тебе их сообщу. Возможно, стихи твои визирь передаст халифу. Другого пути нет. Стихи, как и тексты Закона, идут по соответствующим ступенькам.

Махмуд сказал:

— Я хотел спросить еще: что такое эдесская святыня и как могло случиться, что мусульмане и христиане чтут ее равно?

Джелладин, остановившись в дверях, сказал:

— Предание, которое скоро халиф введет в форму Закона. На эту тему я рассчитываю сказать длинную речь в совете, созываемом визирем.

— Вернее сказать, предрассудок,— проговорил кади Ахмет.— Один из обаятельных предрассудков, которые так любит человечество. Чудо. Будучи мусульманином и кади, я допускаю чудеса. С ними легче жить.

И потому чудес на земле много. Не удивляйся, Махмуд, нерукотворному убрусу, или мандилии, как называют эту картину византийцы. Я слышал, например, что в Индии на скале имеется отпечаток ступни некоего пророка Будды. Отпечаток этот цел и поныне.

Он вздохнул и продолжал, ласково глядя на Джелладина, который высказывал нетерпение:

— Чудес много, и всего чудеснее моя жена в полнолуние, хотя я и устаю на другой день. Именно сегодня мне предстоит встреча с ней. Она, когда появляется полная луна, начинает испытывать ко мне благосклонность. Надо думать, родительница зачала ее при полной луне, и жена моя, вам это известно, наверное, тщетно добивается от меня продолжения нашего рода...

Джелладин прервал его, торопясь к своим свиткам:

— Аллах вас наказывает, кади, за беззаконие, не давая вам продолжения рода!

Он скрылся, а кади продолжал:

— Скорее всего, аллах заботится о моем спокойствии. По слабости своей я отдал бы своего сына на воспитание к Джелладину, а этот ученый в преподавании слишком любит ускоренные переходы, подобные военным переходам. Дорога Закона — суха, камениста, раскалена. Не будем торопиться.

## XVI

Кади Ахмет сказал:

— Возьми ступку, Махмуд, и потолки кофе, он уже прожарен. У тебя сильные руки, а мне нужно беречься к сегодняшней встрече с женой.

Глядя, как Махмуд ловко толчет кофе в каменной ступке, кади говорил:

— Вернемся к твоей просьбе, мой милый поэт. Завтра, повторяю, я буду усталым, — годы, поэт, годы! — и мне вряд ли захочется говорить об эдесской святыне перед приехавшим эмиром и нашим почтенным визирем. Халиф, да будет тебе известно, не принял эдесского эмира. Почему? Халиф знает, что он делает, и пока он не сказал нам своих дум, нам незачем о них догадываться. Завтра поэтому визирь и собирает нас, чтобы в присутствии эмира Эдессы обсудить в сильнейшей степени затруднительное положение с эдесским чудом, именуемым убрус, или, чаще всего, мандилия.

Чудеса приятны, но с ними столько хлопот и усталости! Аллах, я заболтался, и ты столько успел натолочь кофе, что мне его хватит на месяц, а он выдыхается. Сыпь сюда!

Он подставил ему кожаный мешочек для кофе и, глядя, как запашистый коричневый порошок тонкой струей льется в мешок, говорил:

— Итак, я буду усталым, как луна на ущербе. От усталости скажешь глупости. Бездельники вдобавок извратят смысл слова. И пищеварение твое испорчено на неделю. А в пятьдесят лет весьма необходимо заботиться о желудке, Махмуд! Поэтому я с удовольствием передам тебе мои соображения, Махмуд. Ты соединишь их со своими,—получится убедительно, красиво. Два мешка всегда лучше, чем один.

— И я могу читать стихи?

— Стихи? Избави тебя аллах от стихов! Кто же читает стихи на государственном совещании, да еще по такому сложному делу, как эдесская святыня? Тебе нужно, чтоб на тебя обратили внимание. Визирь уже знает о твоих ножах. Теперь он узнает о твоем умении говорить, которым ты обладаешь, как я заметил давно. Ну а затем придут стихи. Джелладин прав — надо помнить о ступеньках!

Он отложил мешочек с кофе в сторону, достал кофейник и попросил Махмуда раздуть угли в жаровне:

— Я все забочусь, видишь ли, о том, чтоб у меня было поменьше усталости. Но впрочем, что такое жизнь, если в ней не будет усталости? Получится сплошная беготня! Я верю в чудеса и думаю, что, возможно, ты, Махмуд, получишь когда-нибудь командование кораблем, хотя ты совершенно не знаком с морским делом. Но, аллах, мало ли мы знали адмиралов, которые, получив командование флотом, именно в тот момент впервые вступали на корабль. И всего удивительней — они побеждали! А ты, Махмуд, хоть знаешь поэзию, что для командира корабля имеет немаловажное значение. Таким образом, я считаю, что есть вероятность рассчитывать тебе и на штурм Константинополя. Кстати, скажи, Махмуд, что ты будешь делать в Константинополе, когда войдешь туда?

— Я сожгу его!

Кади вздохнул:

— Вот так поступают все влюбленные. Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее. Один только я постоянен, хотя, признаюсь, очень устаю в дни полнолуния. Что поделаешь! Старуха моя толста и тепла, и мне было б жаль сжигать ее. Это обстоятельство я тоже отношу к области чудес.

Кофе сварился. Кади Ахмет налил две чашечки. Они неторопливо выпили, рассуждая об эдесской святыне, а затем кади зевнул и сказал:

— Мне нужно поспать перед вечером. Прошу тебя не обижаться и хорошо запомнить мои слова об эдесской святыне, которые я тебе советую сказать завтра. Что главное? В таких запутанных делах, как багдадские, лучше терпимости нет ничего. Джелладин, если рассуждать по совести, недопустимо омерзителен. Мое мнение — святыню надо удержать в Эдессе, она связывает и христиан и арабов вместе, иначе они поссорятся. А христиан у нас много.— И, потягиваясь, он добавил: — И это самые кляузные люди из всех, кого я видел на суде.

Он дотронулся до его щеки своей медной бородой и быстрой, резвой своей походкой подошел к ковру, поправил подушки, лег и немедленно уснул.

## XVII

Когда Махмуд вернулся домой, Даждья подметала пахучим веником из полыни комнату, где он имел обыкновение отдыхать. Рваные ковры были выбиты и починены. По углам комнаты стояли в больших горшках розы. Она отбросила веник и обняла его. Руки ее пахли розами и полынью. Он сказал:

— Забудь ссору. Я был глуп.

— Я давно простила тебя. Мне казалось без тебя, что ты ушел совсем. Где ты был?

Он сказал ей о совете у визиря и о том, что кади Ахмет предложил ему говорить.

— А свои мысли ты сказал ему?

— Он меня о них не спрашивал.

— Лень! Но насколько важно для тебя, что ты скажешь визирю, настолько же важно, чтоб визирь захотел выслушать тебя.

— Он захочет!

— Захочет, если ты и в безмолвии своем покажешь ему себя умным.

— Как же я безмолвно могу показать себя умным?

— Это называется придворным поведением. У нашего князя Игоря тоже есть свой визирь. Он часто посещал наш дом, и я беседовала... наш визирь умен. Ваш, мне думается, похож на него. Слушай... Нет, в начале поговорим об эдесской святыне. Отдавать ее, по-твоему, или нет?

— Никогда!

Твое мнение и мнение кади Ахмета сходятся?

— Да.

— Понятно, что ты не мог сказать ему своего мнения, потому что своего у тебя и не было.

— Я имею свое мнение!

— Какое же?

— Отдать святыню — невозможно!

— Ты только что говорил, что это мнение кади Ахмета, и, наверное, Джелладина, и вообще всех ученых дураков. Ты не в счет, потому что ты мало учен. А я училась в Киеве кое-чему, и, быть может, большему, чем твои ученые дураки, и их хорошо понимаю. Итак, не отдавать? Допустим — не отдавать.

Она помолчала, пристально глядя в глаза Махмуду, а затем сказала:

— Тебе известно, что на багдадской границе по-прежнему стоит domestик схол Иоанн со своими войсками?

— Да.

— И тебе, быть может, известно, что князь Игорь за три прошедших года после последнего похода на Византию сильно вооружился? И что он опять пойдет на Византию?

— Допустим.

— Допустим. Также можно допустить, что domestика схол Иоанна уведут с багдадской границы против князя Игоря, если византийцы почувствуют, что Багдад слаб?

— Да, да!..

— И теперь-то, несомненно, князь Игорь разобьет domestика схол Иоанна! И мы с тобой будем пить вино из черепа Иоанна! И я буду петь песню... Слушай.

Она вполголоса стала напевать. Слова песни были непонятны, но мотив ее говорил о торжестве воз-

вращения домой. Она пела и одной рукой била в воздух, словно в руке ее был тяжелый молоток, в другой — щит, а перед нею высились очертания Золотых Ворот!

Не допев песни, она сказала:

— Но если domestик схол Иоанн не покинет вашей границы, нам трудно будет с тобой нанести византийцам поражение. Нам, багдадцам!

Он поцеловал ее в губы. Отшатнувшись, она сказала шутливо:

— Я же язычница! Кого ты целуешь? — И добавила: — Не кажется ли тебе, что, требуя эдесскую святыню, византийцы испытывают наши силы и поход Игоря уже начался? Значит, вам сейчас выгодно показать византийцам вашу слабость. Халиф у вас — человек превосходного ума. Выскажи ему то, что он думает, и он выслушает твои стихи.

— Что же он думает?

— Халиф думает, что сейчас полезно показать византийцам свою мнимую слабость. Халиф думает, что Багдад должен отдать византийцам эдесскую святыню, что полезно озлобить Багдад этим грабежом. Отдача святыни не рассорит, а соединит багдадских мусульман и христиан. Они понимают, что после этой святыни византийцы могут потребовать и жен их, и детей... Что ты на это скажешь, Махмуд?

Махмуд молчал. Он согласился с ее доводами. Он пробормотал, уступая:

— Но честь Багдада...

— Тебе дороже честь Багдада, чуть-чуть поколебленная, или победа над византийцами и череп domestика схол Иоанна, отделанный в виде чаши?

Помолчав, он воскликнул:

— Откуда в тебе столько ума и лукавства?

— Я — женщина, — смеясь, ответила она. И добавила: — А теперь позволь я расскажу тебе, как поступить, чтоб визирь обратился к тебе с предложением речи.

## XVIII

В полдень кади Ахмет верхом на своем муле приближался к дворцу визиря. Мул, несмотря на свой пожилой возраст, подобно хозяину, был любо-

пытен: он часто останавливался и осматривался. Кади не торопил мула. Люди заблуждаются, когда говорят, что куда-то опаздывают. Никогда и никуда нельзя опоздать. Горести везде найдут вас, а счастье — совершенная случайность.

Махмуд шел рядом, ведя за повод мула.

На площади перед дворцом они увидели множество съехавшихся всадников, слуг и мальчишек. Продавцы воды и сладостей выкрикивали цены. Кади сказал:

— Я истинно чувствую усталость: полнолуние в моем возрасте вредно. Мне хочется выпить, а баклажка моя пуста. К сожалению, я не вижу ни одного знакомого торговца, продающего тайком нужный мне настой. Неужели я их всех успел упрятать в тюрьму? Весьма жаль, если так.

Они подошли к воротам, чтобы через них вступить во двор и подняться по лестнице, предназначенной для бедных и скромных посетителей. По ту сторону ворот, в деревянной клетке, сидел, для примера другим, какой-то мудрец, ложно толковавший Коран. Он был от голода и болезней, и кади Ахмет сказал, направляясь к нему:

— Печально лишать визиря удовольствия слышать эти вопли, но пусть, если ему нравятся вопли, прогуляется он по окраинам Багдада. Он много сидит, а прогулки рекомендуются врачами. Кроме того, конечно, я свершаю, как судья, беззаконие, кормя этого негодяя. Но я слаб, и в подобных случаях мне мерещится клетка, которую для меня сколачивает Джелладин, и мне делается стыдно, что я не помогаю самому себе.

И он сунул в клетку мудреца кусок лепешки, которую держал за пазухой, так как знал, что за столом визиря, если даже кади и пригласят к нему, он получит лишь воду для мытья рук.

Дворец визиря примыкал своей оградой к дворцу халифа. Дворец халифа был из розового плотного камня, дворец визиря — из зеленоватого и порыхлей. Все это знаменовало собой, по замыслу архитектора, цветущую розу и листву, поддерживающую розу. Дворцы разделял обширный сад с дорожками, посыпанными редкостным черным песком, с лужайками, фонтанами и бассейнами. В воде плавали диковинные рыбы, а на лужайках бродили прирученные дикие животные.

Когда кади и поэт проходили мимо евнухов и невольников во дворец, то, несмотря на то что они поднимались по самой бедной лестнице, слуги с безмолвным-неодобрением оглядывали их жалкие одежды. Махмуд по молодости застыдился. Кади Ахмет заметил это и сказал:

— В жизни, как и на войне, важно, чтоб хорошо прикрывалось главное укрепление. В данном случае—ум. Ты не страдай, поэт. Твои внутренние одежды блистательнее одежд любого из этих блюдолизов. Впрочем, впоследствии, одевшись сам в блистательные одежды; ты с удовольствием вспомнишь свои страдания на этой лестнице бедных. Но тогда твои внутренние одежды, к сожалению, будут бедней.

В зале совета они были усажены в пятом ряду, позади богатых торговцев и видных мастеров оружия, сухопутного и морского снаряжения. Впереди всех сидел Джелладин. Законовед, вымытый, вычищенный, глядел вперед со свирепым видом, готовый во имя Закона, подобно псу, стерегущему отару овец, броситься с воем навстречу любой опасности. Законовед не видал никого и ничего, кроме дверей, через которые должен был войти визирь. Тем не менее кади раскланялся с ним и сказал:

— Вежливость — большая обуза. Она мешает видеть мир в истинном свете. Но это, пожалуй, и лучше. Когда имеешь возможность, вроде меня, часто судить людей за пустяки, надо хоть вежливостью исправить вздор, который ты порешь.

Знакомый мастер морских лодок, услышав резкий голос кади, обернулся к нему и озабоченно спросил, почему рабы нынче столь малосильны. Вот он покупает в течение года уже четвертого раба, и все они страдают желудком и малокровием! Он разорится. Ему самому приходится сталкивать тяжелые лодки в воду, это унижает его достоинство, отпугивает покупателей!

И мастер лодок с соболезнаванием осведомился у Махмуда: жива ль их белая невольница, которую он отговаривал покупать, а госпожа Бэкдыль все же купила. И ему стало неприятно, когда Махмуд живо сказал ему, что девушка здорова, отлично трудится и все ею довольны. Тогда торговец осведомился, жидкой или твердой пищей они кормят невольницу и дают ли ей

рыбу. Прошел слух, что злой волшебник Аббикон, насланный византийцами, портит в реках и море рыбу и что именно поэтому питающиеся рыбой ослабели.

Кади Ахмет сказал:

— Во-первых, Аббикон не волшебник, а лишь злой дух, присылаемый неким волшебником Бади каждые семь лет для ловли рыбы. Последний раз он был в наших водах четыре года назад, и сейчас ему здесь делать нечего. Во-вторых, рекомендую вам давать рабам впятеро больше рыбы, чем вы даете, и тогда никакой волшебник или злой дух не ослабит их. Вообще я заметил, что люди довольно легко справляются с волшебниками или злыми духами и гораздо трудней с самими собою. Я могу вам рассказать совершенно достоверную историю о волшебнике Бади...

Но тут вошли стражи, за ними чиновник, который громко прокричал о приближении визиря и глубокоуважаемого гостя его, эмира Эдессы, достопочтенного Омара ал-Бараби-Сагайн.

Визирь медленно нес на тоненьких ножках свою большую желто-серую яйцевидную голову, старавшуюся изобразить уважение к гостю. Гость, попадая в шаг визирю, семенил за ним толстыми ногами, и маленькая властная головка его, круглая, с густыми черными бровями, часто вздрагивала. Эмиру казалось подозрительным, что халиф так долго не принимает его, и он боялся узнать по лицам законоведов и кади свою судьбу. Эмир приехал в Багдад, рассчитывая свалить на плечи халифа, как религиозной главы ислама, всю ответственность за передачу эдесской святыни византийцам. И эмира злило, что его принимает визирь, которого халиф всегда может сменить, утверждая, что по глупому приказанию визиря передана святыня.

## ХІХ

Визирь сказал:

— Законоведы и судьи! Халиф — да будет благословенно имя его! — повелел мне спросить вас: отдавать или нет великую святыню Эдессы, так называемый убрус, или мандилию пророка Иссы. Византийский император в обмен клятвенно обязуется отвести свои войска от стен Эдессы, вернуть нам три тысячи плен-

ных, а за понесенные нами в войне убытки выплатить немедленно двенадцать тысяч серебряных монет. И, разумеется, заключить вечный мир.

Законоведы и кади задумались, стараясь угадать то, чего хотят халиф и визирь. «Великая святыня» — значит, раз великая — отдавать нельзя! С другой стороны, слова «вечный мир» визирь произнес без иронии. Значит, надо отдать. Но слово «клятвенно» он, несомненно, произнес с усмешкой. Значит, нельзя отдавать?!

Встал Желладин, быть может, единственный, кто не вдумывался в затаенный смысл слов визиря и кто пришел на совет с готовой речью. Выпрямляясь в воздухе, как пес во время прыжка, он заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, подтверждая свои слова изречениями из Корана.

Прежде всего Желладин разъяснил собранию, что убрус, не будучи законной святыней, вследствие ложно толкуемого предания, является тем не менее святыней, поскольку ей поклонялись много веков мусульмане. Стало быть, эдесский убрус — Закон, и мы его чтим! Затем Желладин перешел к требованиям византийского императора. Они *незаконны!* Святыня принадлежит Эдессе, и в продолжение веков *никогда* византийский император не требовал ее, тем самым признавая законность пребывания ее в Эдессе. И честь ислама *никогда*, а сейчас тем более, не позволяла и не позволит признавать требования императора Константины осуществимыми. Нельзя желания византийцев принимать как закон, потому что, принимая их как закон, мы должны и самих византийцев принять как друзей, а 5-я сура Корана говорит: «Тот, кто примет христиан за друзей, кончит сходством с ними. И тогда аллах не будет путеводителем нечестивых!»

— Нам путеводитель аллах и Магомет, пророк его, начертавший эти слова в Коране. Коран есть Закон, и Закон *говорит*: эдесскую святыню нельзя передавать византийскому императору! — заключил торжественно Желладин. — И эти слова, с которыми, мне думается, согласится все собрание, я прошу вас, достоуважаемый визирь, передать могучему халифу, да будет благословенно имя его!

Визирь почтительно наклонил голову, и некоторым показалось, что он согласен со словами Желладина,

Тогда встал другой законовед, рослый и красивый старик в зеленом парчовом одеянии. Несмотря на свой внушительный вид, он не привел иных доводов, чем те, которые высказал Джелладин, и визирь попросил его говорить короче. Затем говорил третий, размахивая свитком Закона с таким убеждением, что свиток упал на ковер и кое-кто рассмеялся.

Визирь зевнул, втягивая щеки далеко внутрь.

Лицо Махмуда не потому, что он добивался этого, а потому, что много и долго спорил о том с подругой, невольно следовало за выражением лица визиря, и, когда визирь зевнул, Махмуд тоже зевнул и даже потянулся.

Эти повороты тела, эти изгибы лица и даже излучины одежды Махмуда — все показывало визирю на какую-то взаимность между ним, визирем, и этим молодым человеком с широкими, как бы закоптелыми руками, почтительно склонившимся к кади Ахмету. «Да это, пожалуй, тот оружейник и поэт!» — подумал визирь, и он еще раз поглядел в горячие, упрямые глаза молодого человека. Уловив взор визиря, кади Ахмет полузакрыл веки, словно задремав; и, внутренне улыбнувшись этой невинной хитрости, визирь, выслушавший к тому времени четвертого и пятого законоведа, которые говорили приблизительно то же, что и Джелладин, сказал:

— Говори о ты, молодой человек, сидящий рядом с кади Ахметом. Халифу будет любопытно знать, что думает багдадская молодежь об эдесской святыне.— И, желая ободрить Махмуда, визирь добавил:— Говори смело.

Визирь любил гулкие и звонкие голоса, и его голос казался ему самому чрезвычайно гулким. Поэтому визирь порадовался, когда голос Махмуда наполнил не только зал совета, но и разлился по всем лестницам.

Махмуд говорил:

— Да будет благословенно имя халифа! Неподатливым, норовистым, строптивым врагам ислама — смерть!.. Да будет то, что я выскажу, понято в истине, а что будет не понято, пусть не будет рассмотрено как намеренное умолчание, а лишь как обмолвка моя, человека неопытного в совете и впервые представшего перед светлые очи нашего уважаемого визиря. Благодарение аллаху, смуты в халифате залечиваются. Но

их целиком залечит хорошая победа над неверными. Нам не долго ждать этой победы. Однако, к сожалению, надо признать, что победу эту мы не получим под прославленными вратами Эдессы, потому что город расслаблен плохим руководством, трусостью отдельных военачальников и — я не побоюсь сказать — явным предательством! Да, я вижу предательство, хотя еще, по неопытности своей, не вижу лица предателя. Зато, я уверен, это лицо видит халиф, да будет прославлено имя его!

Голос Махмуда гремел.

Визирь уже не предавался зевоте. Положив тонкие руки на острые колена, он наклонился вперед и рассматривал Махмуда. Щеки визиря надулись и были розовы, как щеки дремавшего кади Ахмета. Визирь, с легкостью принимавший настроения халифа, как гипс принимает очертания статуи, делается слепком ее, с радостью и одобрением смотрел на молодой гипс, из которого скоро отольются замыслы халифа. «Только бы он не вздумал читать стихи о войне с Византией, — мелькнуло в голове визиря. — Зачем говорить о войне, когда мы говорим о мире!»

Лица законоведов побледнели. Лишь Джелладин ничего еще не понимал, злясь на кади Ахмета. Зачем кади, обжорливый дурак, привел сюда этого молодого самоуверенного болтуна? И над участью его думал Джелладин! И ему преподавал он начатки Закона?!

Визирь перевел глаза на лица законоведов. Бледные? А не подозревали ли вы или даже знали о переговорах эмира Эдессы с проходимцем Али, «мечом династии»?

## XX

— Багдад нанесет поражение врагу. Ислам покроет их города кровью, а сердца позором, как штукатур покрывает здание той краской, какой хочет! И мы уничтожим всех, кто, подобно преступнику Али, осмелившемуся назвать себя «мечом династии», мешает нам в создании победы. Но нужно быть здравым. Поражение главного врага придет некоторое время спустя после того, как мы *отдадим* эдесскую святыню. Святыню *нужно* отдать. Сегодня нет другого средства бороться с византийцами и получить мир и

многочисленных арабских пленных, которых они обещали вернуть и вернут несомненно, так как им тоже необходим мир с Багдадом. Мне кажется, что на Византию идут славяне; князь Игорь... Мы же, заключив мир, получив наших пленных и византийские деньги, сможем вооружиться...

Визирь снисходительно прервал Махмуда:

— Ты слишком много говоришь о вооружении.

— Я — оружейник, — сказал Махмуд. — Я, о визирь, кую ножи.

— А, это ты куешь хорошие ножи, которые принес мне кади Ахмет? Продолжай же, кующий ножи.

Махмуд сказал:

— Утверждают, что убрус, или мандилия, — несокрушимая защита Эдессы. Но эта защита *не защитила* Эдессы, и мы вынуждены вести довольно постыдные переговоры с византийцами. Зачем же нам держать святыню, которая, будучи защитой, не защищает? Не лучше ли вернуть ее византийцам, тем самым усыпляя их настороженность. Пусть она теперь «защищает» их! Отдать не позволяет нам честь Багдада? А держать при себе святыню, отказывающуюся нас защищать, — честь? Она смеется над нами!.. Весьма полезен этот поступок будет и для греков-христиан, подданных халифа, и тех, что византийского толка, и тех, что несторианского. Они, увидав, что убрус безропотно переходит к византийцам и не защищает Эдессы, не замедлят, разочаровавшись в своей религии, перейти в истинную, в ислам. Говорят нам, что мусульмане чтут убрус. А зачем? Вовсе не нужно замыкать дом на десяток замков, достаточно иметь один, но хороший. Коран — вот замок ислама! Истый мусульманин в иных святынях не нуждается. Именно силою и правдою Корана будет взят Константинополь, и, когда он будет сожжен, на пепле его халифу поднесут золотой поднос, чтоб он выпил чашку кофе и отдохнул от трудов своих!.. Я сказал все, о достопочтенный визирь.

Махмуд поклонился визирю, эмиру, всем законоведам и кади, а затем особо поклонился своим учителям — кади Ахмету и Джелладину. Кади Ахмет сделал вид, что проснулся. Его багровое лицо и рыжая борода лоснились от удовольствия. Ему казалось, что Махмуд смело и горячо передал собранию как раз те мысли, которые хотел высказать и сам кади. Кади

Ахмет забыл вчерашнее свое мнение, покоренный остроумным софизмом Махмуда относительно «чести Багдада» и «чести эдесской святыни». Такая фраза стоит многих святынь!

Джелладин негодовал по-прежнему. Он встал и прокричал:

— Закон открыл глаза Махмуду. Он прав в части преследования преступников, благодаря которым наши войска потерпели поражение. И да покарает закон предателей, которые вещь накладного золота выдают за золотую. Что же касается передачи святыни византийцам, он говорит неправильно, и не слушай его, о визирь! По молодости лет он еще не знает всего Закона!..

— Что еще скажут законоведы и кади?— спросил визирь.

Законоведы и кади сказали, что Махмуд прав и что аллах осветил его разум.

— Тогда мы поблагодарим аллаха,— сказал визирь,— и пойдем каждый к своему делу.

И когда все ушли, визирь сел на коня и поехал во дворец халифа.

Два дня спустя было обнародовано решение халифа о передаче эдесской святыни византийцам. В иных обстоятельствах это решение обрадовало бы эмира Эдессы, но тут он опечалился, багдадские врачи внезапно нашли у него какую-то опасную болезнь, которую можно излечить лишь в Багдаде. И визирь приказал ему не покидать столицу.

Визирь призвал Джелладина, кади Ахмета, Махмуда и сказал им:

— Джелладин, знаток Закона! Ты поедешь передавать византийцам эдесскую святыню. Ты прост и честен и хотя ошибся, но ты все-таки лучше всех знаешь Закон. Тебя посылает халиф.

— Халиф — Закон, и да будет благословен Закон,— сказал Джелладин.— Я всегда повинуюсь Закону.

— Мы так и думали,— проговорил визирь.— И нам кажется, ты лучше других сможешь защищать перед византийцами честь Багдада. Чтоб показать наше миролюбие, ты будешь сопровождать эдесскую святыню до Константинополя. Мы не посылаем с тобой грамот к императору, потому что не знаем, примет ли

он тебя. Но если примет, передай ему нашу дружбу.

Обращаясь к кади Ахмету и Махмуду, визирь сказал:

— Поедет также кади Ахмет, он наблюдателен, любопытен и сможет увидеть в Константинополе то, что полезно перенять Багдаду. Кроме того, он весел, знает толк в кушаньях, и он усладит ваше путешествие. Начальником вашего конвоя будет оружейник Махмуд. Идите, и да будет с вами благословение халифа!

Они пошли. Визирь, подумав, сказал:

— Ты, Джелладин, останься. Ты — первый среди посланцев халифа, и мне нужно передать тебе деньги и одежду, потому что вы все честны и оттого плохо одеты, и византийцы могут подумать о вас дурно. Махмуд! У тебя византийцы сожгли отца?

— Сожгли, о визирь. И мое сердце...

— Понимаю, понимаю. Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственными соображениями. Кади Ахмет, знаком ли ты с мифологией древних и читал ли ты Аристотеля?

Кади Ахмет осторожно сказал:

— Давно когда-то и почти забыл, о визирь.

— Надеюсь, однако, ты сможешь объяснить своему ученику, что Пегас древних уже не обгоняет коня халифа.

— Так, визирь, так!

## XXI

Когда они вышли из дворца, Махмуд спросил у кади:

— Кто такой Пегас? Что он говорил?

— Он хотел сказать, что воинственные стихи рано или поздно будут петься. Как ни плотны и долголетни были бы слои мира, под ними всегда лежит война. А военная песня облегчает войну, ведет напрямик к врагу, и поэт представляется воином, совлекающим доспехи с врага. Кто же совлекающий доспехи не будет прославлен? Будь уверен, Махмуд, что к славе ведут окольные и не различимые во мгле времени пути. Таково мнение визиря об Аристотеле.

— А Пегас?

— Пегас — конь, которого тебе даст визирь. На нем ты въедешь в Константинополь. Это ретивый конь, но он любит, чаще всего не к месту, воинственно ржать. Бей его чаще по морде, и он не станет особенно беспокоить тебя.— И кади, не без грусти, добавил: — У нас слишком большое различие в возрасте. Иначе я б рассказал тебе о преимуществе любовной песни перед воинственной, и, быть может, ты, вообразив, что оставляешь в Багдаде нежную возлюбленную, спел бы нам что-то очень удивительное.

Махмуд смолчал. Песня эта теснилась у него на сердце. И на самом деле, не с рыжим же кади Ахметом делиться ею?

Он пропел ее в тот вечер своей возлюбленной.

Он пел о судьбе, кривой, как его ножи. И пел о семи розах на рукоятке. Это семь дней недели, в которые он непрерывно страдает по Ней. Пел он о трех лепестках на лезвии. Не напоминают ли они Тебе, о милая, клочковатые облака на небе, которые уходят, уходят... Как ни крива судьба, но перед нашей любовью она очистится, словно лезвие. Исчезающие туманы разлуки не напомнят ли Тебе когда-нибудь, когда мы всегда будем вместе, эти уходящие клочковатые облака? Я приду к Тебе! Я приду к Тебе, милая.

Конь его был далеко за Багдадом, когда Даждья вышла на крышу его дома и, глядя на запад, запела эту песню. Багдад спал. Но шел мимо дома оружейника один влюбленный. И он услышал песню, и она пронзила его сердце, и он запомнил ее, и пошел к своим друзьям, и поделился с ними своей находкой. Он исполнил песню, и друзья одобрили ее. Обнаруживший песню был скромным, он говорил, что в устах неизвестной певицы эта песня во сто крат великолепней. На другую ночь друзья пошли искать певицу. Влюбленный забыл улицу и дом. Друзья шли и в пути пели песню, надеясь, что эхо приведет их туда, где рождается этот переливчатый звук. И в поисках дома, с крыши которого неслась чудесно-тоскливая песня, они обошли весь Багдад, и когда остановились, то услышали, что весь Багдад поет эту песню, потому что весь Багдад слышал ее. Был конец весны, а любовь в конце весны особенно чутка. Кроме того, город Багдад обширен, и обширна любовь его, и многие хотели прийти к Ней, а Ее не было.

— «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе!» — пел Багдад.

Халиф проснулся на рассвете, разбуженный этой песней. Он спал хорошо, чувствовал себя бодрым, даже молодцеватым. Ему подали серебряный кувшин и таз для омовения. Радостно содрогаясь от холодной воды и слыша в кустах сада щебетание и лепет птиц, а за оградой эту песню, он спросил, глядя на светло-лиловое, прохладное небо и редкие облачка на востоке, схожие с цветками гвоздики:

— Я не разберу слов. Что они поют?

Ему объяснили. Он улыбнулся благосклонно и сказал:

— Дети. Ну что ж, пусть поют.

## XXII

Жарким летом 944 года бесконечный лес копий князя Игоря двинулся, шурша сухой травой, по днепровским степям. Войска шли к Дунаю, оставляя позади себя широкие пыльные дороги. Тут были люди великого племени русь с широкими, тяжелыми мечами; рослые всадники племени полян с круглыми белыми щитами, на которых были охрой нарисованы змеи; приземистые, быстроногие тиверцы и белобрысы кривичи, которых никто не мог победить, когда нужно было драться внутри укреплений. Кроме того, шли нанятые князем Игорем гладколицы, с тонкими бровями печенеги.

А по Днепру спускались ладьи, и когда они вышли в Черное море, они покрыли его, как покрывают ковром пол. Впереди, сотрясая море и пугая волны, плыла огромная ладья князя Игоря. Она была украшена золоченой статуей Перуна, а по борту узором из серебряных пересекающихся линий. Рядом с Перуном стоял большой щит, сверху донизу унизанный золотыми бляшками. Время от времени князь Игорь, высокий, длиннолицый, с проседью на висках, подходил к щиту и поднимал его, словно готовясь поднять его еще выше, к цоколю арки Золотых Ворот.

И византийцы содрогнулись. Зажглись толстые свечи перед иконами, дым ладана наполнил храмы, неистовым всеобщим бдением молились монастыри, и сам трудолюбивый император Константин отложил разри-

совку киноварью и золотом заглавных букв к гигантским сборникам «Житий святых», которые должны были состоять из ста томов, изложенных красивым слогом ученого мужа Симеона Метафраста. Император встал на молитву, высказав сильное желание, чтобы в Константинополь для спасения столицы возможно скорее прибыла эдесская святыня и войска domestika ехон Иоанна Каркуаса.

### XXIII

И в Эдессе была засуха и жара, и сады эдесские, славящиеся плодами, были бедны, так что цена на оливки поднялась, и жители жаловались, поражаясь своей скудости. Они объясняли бедствие тем, что их великая святыня покидает город. И никто из жителей не вышел навстречу посланникам халифа.

Джелладин, кади Ахмет и Махмуд долго стояли на высоких стенах городской крепости.

С крутых каменных стен видны были рвы, наполненные тухлой водой, в которой плавали трупы. По берегам рвов стояли вымазанные толстым слоем глины стенобитные машины византийцев. Машины были так высоки и громадны, что, казалось, до них невозможно было дотянуться рукой. Возле машин на земле, в прикрытиях из циновок, утомленные зноем, спали византийские солдаты, и слышен был их безмятежный храп.

К посланцам халифа, на стены, пришел в сопровождении знатных прихожан эдесский епископ Павел, низенький лысый старичок с воспаленными глазами, говоривший хриплым басом. Поодаль от них шел епископ несторианского толка со своими священниками и дьяконами. Джелладин принял их, сидя на бочке с древесной смолой.

Христиане были одеты нищенски, но разговор их изобиловал обещаниями золота, и видно было, что они не лгут. Они выкупят арабских пленных! Они выплатят халифу те деньги, которые ему обещают византийцы, и в срок более быстрый. И это не дерзость или стремление отделаться словами, а вполне ясные предложения, которые они готовы осуществить хоть сегодня! В речах, задыхаясь от волнения, они делали частые остановки, и Махмуд дивовался на них, и ему хотелось посмотреть эту странную эдесскую святыню.

Джелладин сидел непреклонный, довольно однообразно повторяя слова о Законе и законности всех распоряжений халифа. После долгих прений Джелладин резко, от имени халифа, приказал выдать убрус.

Епископ Павел воскликнул:

— Лучше закрыть глаза Эдессе, как покойнику, чем отдать икону!

И епископы, священники и миряне ушли не поклонившись.

Джелладин приказал подать коня. Он направился в лагерь византийцев, чтоб сообщить им решение халифа. Завтра убрус будет выдан.

Джелладин долго не возвращался. Был уже вечер, и Махмуду, начальнику конвоя, сообщили, что народ оцепил главный эдесский собор, устроил вокруг него возвышение из камней, перекрыл камнями центральные улицы города. Город теперь разделен на две части, и одна половина в руках восставших. Махмуда особенно взволновало, что мусульмане города помогают христианам оружием и таскают им камни.

Весь дрожа от волнения, Махмуд нашел кади Ахмета, который спал в прохладном месте погреба для вин. Махмуд сказал кади о восстании, которое он намерен немедленно подавить с ужасающей жестокостью. Он готовит своих воинов к атаке. Во имя халифа и Корана он приказал им не щадить никого! Он пылал от злобы и жажды сражения, и пот лился по его темному лицу.

Кади Ахмет выпил из своей баклажки, вытер шею мокрым полотенцем и сказал:

— Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить. И лучше было бы мне научить тебя спать на собрании у визиря, чем говорить блестящие речи. Впрочем, дело испортил не ты, а Джелладин. Вместо рыбы, которая переваривается желудком легко, он вздумал кормить народ дровами. Я предпочитаю, как и народ, рыбу. А также отговорки, которые похожи на рыб резвостью своего бега, легкостью в еде, и только идиот может подавиться их костью. Едем!

— Ты поедешь со мною сражаться? — спросил Махмуд.

— Нет, — кротко сказал кади. — Это ты поедешь со мной, без оружия, и будешь смотреть, как я сра-

жаюсь словом. Помни, что я судья и привык говорить в столице, а здесь глухая провинция.

Кади приказал заседлать своего мула, взял лепешку в руку и, жуя ее, направился к главной баррикаде восставших, к эдесскому собору.

Подъехав к баррикаде, он почтительно поклонился древнему зданию собора и, вызвав предводителя восстания епископа Павла, повел перед ним речь. Вначале он с глубоким почтением отозвался о святыне. Он никак не хотел порочить ее или презирать. Отнюдь! Он также не желает круто изменять взгляды восставших, и они, пожалуй, правы, что взялись за оружие. Он приехал только затем, чтобы напомнить восставшим о главном положении, которое они упустили из виду и которое он, кади Ахмет, глубоко чтит. Они забыли о существовании чуда, то есть о сущности эдесской святыни. *Чудо!* Чудес много, и они замечались неоднократно. Во-первых, в Эдессе много церквей, и в каждой из них имеется копия убруса. Не кажется ли вам, что копия, — а это будет чудо, — представится византийцам оригиналом? Копия убруса из второстепенной церкви, ночью, перейдет в главную, а отсюда, завтра, к византийцам. Во-вторых, если допустить, что византийцы увезут оригинал, то опять-таки нужно помнить о чуде. Эдесская святыня свершит чудо и сама возвратится домой, обратно в Эдессу! Неужели эдессцы так уж сомневаются в себе, что не могут умолить святыню вернуться обратно? Эдессцы, доблестные, отважные, показавшие чудеса в защите своей святыни! Эдессцы, трупы которых наполняют рвы, окружающие город!.. И в-третьих, нужно принять во внимание и теперешнее положение города. Город разрезан на две части. Одна половина города будет драться с другой, стены будут обнажены, а византийцы что же, будут смотреть? Они начнут штурм, немедленно возьмут город и ограбят его так, как еще не грабил никто и никогда! И в-четвертых, есть одна замечательная, всегда победоносная вещь. Эта вещь называется — ожидание.

— Я прошу вас подумать об ожидании, — заключил кади Ахмет.—И я жду вашего ответа.

Он отъехал от баррикады в тень платана, достал свою лепешку и начал ее есть. Когда он собрал с платка, разостланного на коленях, крошки и высыпал их

в свой рот, он повернулся к баррикаде. Эдессцы разбирали ее. Он хлебнул из баклажки, чмокнул языком и сказал, обращаясь к Махмуду:

— Разве я был неправ, утверждая, что здесь глухой угол и что здесь нетрудно говорить? Они даже и не знают, что представляет из себя истинный оратор! Здесь я мог бы пойти далеко вперед, не опасаясь я лишней заботы.

#### XXIV

Джелладин вернулся в сопровождении Авраамия, епископа византийского города Самосата. Авраамий по распоряжению константинопольского патриарха должен был принять икону. Епископ, продолговатый и бледный, как гребок для мешания извести, был одет в широкие, украшенные камнями и золотом, парчовые одежды. На голове его качалась митра, нагрудный знак горел драгоценностями, а жители Эдессы кляли его и смотрели на него с ненавистью, словно он совершил растрату общественной кассы.

Воины-рабы выстроились на площади, рассматривая отделанный крапчатым мрамором собор. Епископ Авраамий, громко читая молитвы, поднялся на ступени паперти и здесь остановился. Он стоял, клал крестное знамение и о чем-то думал. Затем, повернувшись к епископу Павлу, сказал, что ему было сейчас видение. Убрус находится не в этом соборе. Здесь лишь копия убруса. Эдессцы спрятали подлинный убрус, но он найдет его. Видение укажет ему путь!

И Авраамий, сев на коня, поехал по улицам Эдессы. Он ехал, не спрашивая ни у кого дороги, хотя в городе был первый раз. И эдесский клир в глубокой горести шествовал за ним. Они подошли к храму, расположенному возле городского рынка. Авраамий опять поднялся на паперть и опять долго молчал, размышляя. И опять он сказал, что ему было видение и что в этом храме не подлинный убрус, а тоже, хотя и хорошая, но — копия. И он сказал, что видение направит его стопы дальше.

И все окружающие ужаснулись такой проницательности. Ужаснулся вслух и Махмуд, сопровождавший шествие.

Кади Ахмет сказал:

— Несомненно, это ужасно. Но ужасно не потому, что видение, а потому, что у византийцев всюду прекрасные шпионы. Кроме того, у епископа прекрасная память, раз он, со слов шпиона, по памяти узнает дорогу. Впрочем, можно допустить, что шпион его, известный лишь ему, идет впереди нас, в толпе. Кроме того, епископ ужасно хороший мим, как и все византийцы, добавим. Единственно, что они наследовали от древних эллинов,— это отличную актерскую игру. В политике и в театре их следует опасаться.

Наконец в жалкой кладбищенской церкви епископ Авраамий обнаружил подлинный убрус. Византийцы возликовали, а жители Эдессы стали рыдать и бить себя в грудь и в голову. В арабов полетели камни. Один угодил Джелладину в плечо, а другой рассек Махмуду лоб. Кади Ахмет, перевязывая его, сказал:

— А в меня, хвала аллаху, камень не попал. Вы заплатили пошлину за проезд через ораторский мост, принадлежащий мне, и пошлина эта не велика.

Подали балдахин из серебряной парчи с золотыми кистями. Балдахин внесли в храм, и оттуда, с песнопениями, в облаках ладана, эдесская святыня направилась к воротам города, которые были распахнуты. На стенах Эдессы стояли жители, рыдая и крича. А за стенами, на равнине, расprostерлись византийские воины, и стенобитные машины были пусты, потому что все византийское войско ползло на коленях к главным воротам.

Кади Ахмет сказал Махмуду:

— Если ты хочешь знать, что такое жизнь, взглядишь внимательно в эти стены и в эту равнину. Жители Эдессы плачут и стонут от горя. Византийские войска делают то же самое от радости. Мы же не понимаем ни того, ни другого. Мало того, мы не видим, а возможно, и не увидим, из-за чего одни радуются, а другие горюют. Рассуждая здраво, мы вправе предполагать, что под балдахином вообще нет ничего.

— Что же тогда, кади, представляет из себя жизнь? Бессмыслицу?

— Грохочущий с гор поток, Махмуд, в котором нетрудно утонуть, если не научиться плавать.

Джелладин, оборачиваясь к ним, воскликнул:

— Ты учишь его безнравственности и пороку!

Кади Ахмет сказал:

— Я учу его хладнокровно задумываться над жизнью, быть справедливым, а также и страстным в чувствах. Тогда он не только переплывет поток, но сам будет создавать горные потоки.

К убрусу вели раненых, слепых, калек и убогих. И слышны были крики, что уже появились первые исцеленные. Жители Эдессы, умоляя икону вернуться к ним, рыдали так, что казалось, стены города колеблются.

Кади Ахмет сказал:

— Вот я недавно говорил о чудесах. Но не удивительное ли чудо, Махмуд, что мы видим все это? И я предчувствую, что мы увидим еще более чудесные вещи. Я не хотел бы присутствовать при главном чуде, хотя именно я выдумал его: внезапный уход убруса из византийского войска и возвращение убруса в Эдессу. Мне хочется повидать Константинополь.

— Гнездо разврата и вместилище беззаконий? — спросил Джелладин.

— Определение, допустим, правильное. Константинополь — гнездо злых духов. Но разве для того, чтобы бороться со злыми духами, не нужно знать их силу и их возможности? Например, мне говорили, что у византийцев чудесное вино. Я охотно верю в это чудо и с удовольствием проверю его. Византийцы много пьют, а кто много пьет, тот, естественно, ищет лучший источник. Я не спорю, что Багдад имеет свои достоинства, но вино в нем отвратительное, и у меня всегда жжет под ложечкой, когда я пробую его, с тем чтобы узнать состав злого духа. И мне тогда делается тошно, точно уже наступило полнолуние...

Махмуд, думавший о чудесах, которые свершал убрус, спросил:

— Кади! Византийцы — неверные и нечестивые, подлежащие мукам и в этой жизни и в будущей. Как же аллах, — а чудеса, несомненно, свершает аллах, — как же он свершает их сейчас над неверными?

— Аллах свершает чудеса над неверными затем, чтобы ослабить их. Неверные в конце концов перестанут верить в свои силы, будут надеяться на чудо, и тогда верные, то есть мы, победят их. А нам, верующим, аллах свершает меньше чудес, чтоб мы не ослабли и верили в свои силы. Он открыл нам лишь Закон, что есть непрестанное чудо, и его вполне достаточно нам.

Джелладин воскликнул:

— Впервые в жизни ты высказал хорошую истину, кади!

— Но...— продолжал кади, кланяясь в сторону Джелладина со своего мула.— Но возможно, что главное чудо, по неисповедимым путям аллаха, заключается в том, что все это нам лишь мерещится. Эдесса, убрус, вот эти войска, сквозь которые мы сейчас проезжаем и которые нас не замечают, кроме византийского чиновника, указывающего нам дорогу, и даже вот это персиковое дерево, на котором, из-за необычайной жары, так мало плодов. Я поверю в достоверность всего происходящего тогда лишь, когда попробую константинопольское вино. По-моему, нет ничего реальнее вина, хотя оно иногда и опьяняет. Но что такое опьянение? Состояние, в котором животное кажется человеком, а дурак — умным. В трезвой жизни подобное состояние случается урывками, а в пьяной — оно идет непрерывной полосой. Но что лучше: ухабы или полоса гладкой дороги? Дерево, покрытое цветами, или голые сучья зимой? Если персиковое дерево покрыто сплошь плодами, это вам кажется милым и реальным, а если я, пьяный, вижу весь мир, как персик, прекрасный, почему это вам не кажется реальностью из реальностей?

Джелладин плюнул через голову коня, и плевок его, как удар копыта, пал на землю так, что пыль встала столбом.

— Ты, кади, бродяга мыслей! — вскричал он.— И я горько раскаиваюсь, что только что похвалил тебя.

И он поехал вперед, чтоб не слышать кади Ахмета.

## XXV

Джелладин отъехал, а кади Ахмет продолжал говорить в том же духе, высматривая в лагере византийцев какую-нибудь харчевню, где можно было б закусить и выпить. Харчевни были закрыты. Все торговцы вышли встречать убрус. Кади Ахмет огорчился и сказал:

— Это печально. Неверные не должны быть столь ретивы в своей вере, которая есть туман и наваждение злого духа. Ведь получится таким образом, что мы

до самого Константинополя будем питаться сухими лепешками и пить сырую воду, которая при жаре очень вредна. Я ожидал другого. И неужели у них другие торговцы, чем у нас?

После благодарственного молебствия в палатке византийского военачальника состоялся пир. Арабам в их палатку принесли обильную пищу, но так как византийцам было известно, что арабы не употребляют вина, то вина и не подали. Кади Ахмет отозвал стольника подальше и сказал ему:

— Дорогой! Путь до Константинополя далек. У меня старый и глупый мул, и я уже проверил, что, когда он не идет, ему полезно дать кружку вина.

Стольник удивился и сказал, что в таком случае византийцы дадут немедленно уважаемому посланцу молодого и крепкого на ноги мула.

Кади Ахмет сказал:

— Уже держась на этом муле двадцать лет, трудно слезть с него. Кроме того, сколько я потратил денег! Подумайте, в Багдаде поить мула вином! Когда я влезаю на него, у меня такое чувство, будто под мной мешок денег. А я человек бедный, и мне жаль расставаться с такими чувствами. Лучше дать ему вина, поскольку пророк нигде не запрещал употреблять мулу вино.

Стольник приказал подать вина. Но так как византийцы не знали, сколько же употребляет мул вина, то обратились к кади. Кади сделал удивленное лицо и сказал:

— Он, старый дурак, не видит разницы между водой и вином и пьет вина столько же, сколько и воды.

И ему принесли большой мех, и кади привязал его на спину мулу, позади седла. Кади прикрыл мех свисающим с плеч дорогим пепельно-серым плащом, выданным ему по приказу визиря. Когда фляжка была пуста, кади под плащом, ощупью наполнял ее и говорил, поднося ее к своей рыжей бороде:

— Это небольшое чудо, но оно приятно.

Мула же он водил сам поить, и византийцы, которым было выгодно видеть, что арабы пьянствуют, делали вид, что не замечают обмана.

Византийский военачальник прочел перед воротами Эдессы грамоту, «хрисовулл» императора Константина о вечном мире, передал арабских пленных и

положенное количество серебряных монет, и византийские войска отошли от Эдессы.

Балдахин серебряной парчи с золотыми кистями двинулся к городу Самосату.

Арабские посланцы ехали в конце процессии. Между ними и византийцами наблюдалось такое расстояние, какое необходимо для того, чтобы улеглась пыль.

## XXVI

Влажная и плодоносная долина Евфрата была выжжена солнцем. Ореховые деревья, оливы и виноградники пожухли и поблекли. Кони и козы, тощие и жалкие, бродили, не находя пищи. Река была так мелка, что ее перешли вброд, не замочив колен. Однако поселяне, надеющиеся на чудо дождя, которое им принесет убрус, радостно выбегали навстречу процессии. Их широкие наивные глаза были наполнены слезами. Они дарили мясо и рыбу несшим икону и целовали следы ног священников.

Кади Ахмет сказал:

— Они неверные, и я должен бы желать им зла. Но мое сердце болит, глядя на эти несчастные нивы, и мне хочется молиться с ними о дожде.

Ночи были душные. Жаркая тьма обнимала землю. Сон не приходил. Так как они ехали по горестным местам, где, несомненно, орудовали злые духи и волшебники, то кади Ахмет, не боявшийся действий злых сил днем и даже насмеявшийся над ними, ночью ощущал страх и потребность защиты. Он будил начальника конвоя, и они покидали палатку.

Отовсюду из тьмы шли на них шорохи, трески и какое-то сухое быстрое шуршание, похожее на шаги. Кади узнавал во тьме очертания злого духа Аббикона, уничтожавшего рыб и зверей. Мерещился ему также волшебник Бади и его похотливая любовница Гозар, которые портят людей, насылая им судороги и ломоту в костях. Он видел и злого духа Фозулла, безобразного, способного одним взглядом испепелить ум человека. Кади Ахмет вздыхал, прижимался к Махмуду, а тот хватался за меч. Кади поспешно читал суры Корана. Махмуд молился рядом с ним. Махмуд не видал ни злых духов, ни волшебников. Ему виделись синие

глаза Дажды, и сердце его иступленно ныло, и ему хотелось домой, и он думал, что это злые духи показывают ему возлюбленную, чтобы он не выполнил приказания халифа и бежал к ней.

— Даже вино и то не помогает мне! — шептал кади.

Но приходило утро, и духи зла исчезали, и опять булькала влага в тыквенной бутылке кади, переливаясь в его горло. Улыбаясь, он говорил:

— Благодарю тебя за помощь, Махмуд. Я слаб, но счастлив, что слабость моя усиливает мне наслаждения утра.

В городе Самосате эдесская святыня оставалась несколько дней, пока не записаны были все чудеса, свершенные ею. Скорписцы, со слов исцелившихся, заносили на пергамент подробности болезней; свидетели, священники, врачи подтверждали их своей рукой и печатями, и курьеры мчались в Константинополь, чтобы доставить императору и патриарху эти драгоценные пергаменты. Записано было также, что, после того как убрус удалился из долины Евфрата, над всей долиной пронеслись обильные дожди.

Узнав об этом, кади Ахмет сказал:

— Есть и омерзительные чудеса, и из них самое омерзительное то, которое творят чиновники и блюдо-лизы.

## XXVII

Через несколько дней после ухода из Самосата они увидали горы и вступили в них. Они медленно поднимались по широкой каменистой дороге, усеянной обломками желтых скал. Скалы поросли колючими серыми кустарниками. Монахи пели непрерывно и громко, утверждая, что ранним утром на звуки этого пения из серых кустарников к процессии приближались львы, чтобы увидеть и поклониться святыне. Одетые в грубо выделанные шкуры, дикие племена выстраивались на дороге. У ног их лежало оружие, и свирепые лица выражали покорность.

— Таких людей и такое оружие любопытно посмотреть, — говорил кади, стараясь приблизиться к диким племенам. — В иных обстоятельствах вы имеете возможность увидеть их лишь мертвыми.

Однажды ночью, при свете факелов, они вошли в замок какого-то феодала. Их на мосту замка встретил епископ этой местности в кольчуге и препоясанный мечом, который он обнажил во славу своего бога и кинул на каменный настил моста, чтобы убрус пронесли над ним. Рыцари, неловко сгибая колени, склонились рядом с епископом. И в замке пировали до утра, восхваляя убрус и дальновидность императора, овладевшего этим убрусом.

Погреба, из которых носили прислужники вина, были расположены неподалеку от помещения, где возлежали арабы. Им принесли барана, изжаренного целиком, но, так как Джелладин не знал, зарезан ли баран согласно Закону, арабы отказались есть. Когда уносили барана, кади Ахмет нырнул во тьму вслед за прислужниками и вернулся нескоро. Но вернувшись, он весело размахивал руками, и от его бороды пахло вином и жареным мясом. Он сказал:

— Они будут пить до рассвета. Я начинаю верить, что по-своему они крайне набожные люди.

Кади Ахмет рано разбудил Махмуда. Кади думал о чем-то хорошем, и глаза его увлажнились, словно пропитавшись превосходными мыслями. С его лица не ускользала улыбка, и Махмуду тоже стало весело. Он вскочил:

— Пора ехать?

— Смотря куда,— сказал кади.— Если к Константинополю, то мы поедем вечером. Епископы пьяны. Их протопросвитеры пьяны. Пьяны все, и если б аллах не возбранял мне это, я бы прославил пьянство. Благодаря их пьянству мы увидим с тобой поучительное зрелище. Город!

— Разве здесь есть город? Вчера ночью мы не слышали шума города, не видели огней и не было колокольного звона. И большой город?

— Большой. Такой большой, что Багдад и Константинополь по отношению к нему, что ступица к колесу.

Они прошли двор замка, где в беспорядке спала пьяная прислуга. Ворота замка были открыты, и вратари тоже спали пьяным сном. Мост был опущен. Махмуд возмутился такой беспечности, а кади оказал:

— Я же тебе говорил, что они надеются на чудо и глупеют с каждым днем.

На мосту они остановились и, садясь в седла, посмотрели на замок. Во втором этаже, в зале, где стоял балдахин с убрусом, догорали свечи, и возле свечей на коврах, положив головы в направлении святыни, спали монахи. Свечи образовали, оплывая в одну сторону, большой нагар, и от них несло запахом горячей одежды.

— Превосходный замок и превосходнейшее вино! — сказал кади. И он стегнул мула, чтобы тот поскорее обогнул гору, на которой стоял замок.

Они увидели великую плоскую равнину и русло высохшей реки. Вдоль этого русла, заваленного валунами, тянулась набережная и стояли руины домов, церквей и увеселительных ристалищ.

— Развалины! — сказал Махмуд.

— Иные развалины поучительнее цветущего города, — проговорил кади, погоняя мула.

Они въехали в предместье, где некогда были маленькие домики бедняков. Вскоре перед ними начали подниматься большие белые, и красные, и синие колонны, облепленные колючими травами. Трава хрустела под ногами, как некогда под ногами времени хрустели, разрушаясь, эти высокие мраморные дворцы и храмы.

Да, это был когда-то могучий и славный город! Так как равнина возвышенна и к тому же было раннее утро, то весь город можно разглядеть довольно ясно.

Они поднялись к акрополю.

Кади достал свою тыквенную бутылку, лепешку, предложив Махмуду позавтракать. Махмуд отказался.

— Как называется город? За какие грехи и кем он уничтожен? — спросил он.

Кади сказал:

— Никто не мог мне сказать этого! — И он продолжал: — Люди думают, что устроить праведную жизнь так же легко, как перенести парус с одного борта лодки на другой. Но гляди, вот что осталось от их намерений.

— Это потому, что тогда не было пророка Магомета! — сказал Махмуд.

— У них был свой пророк, и они строили свой город на развалинах другого. Вспомни замок, из которого мы только что выехали. Разве владелец замка не старается выстроить возле себя новый город и разве он не уверен, что знает правила жизни лучше, чем кто-либо до него?

Махмуд строго посмотрел на кади:

— Что же делать? Не жить?

— Я говорю это именно к тому,— ответил кади,— что жизнь прекрасна и что не нужно отчаиваться. Как ни удивительно, но и старый глупый властитель, у которого умно лишь его вино, немножко прав. Он знает действительно немного больше, чем жители этого разрушенного города. Жизнь! О Махмуд! Законы жизни более просты, чем те, в которые веришь ты и похожий на тебя неразстворимый Джелладин.

Махмуд засмеялся — таким нелепым показалось ему сравнение с Джелладином. От смеха ему захотелось есть, он попросил у кади кусок лепешки и немного отхлебнул из бутылки.

Они продолжали объезд города. Кади, вглядываясь в развалины зданий и разбитые фигуры богов, сказал, что город, несомненно, принадлежал древним эллинам, когда они поклонялись Зевсу и Аполлону.

— Джелладин утверждает,— проговорил Махмуд,— что эллины наказаны аллахом за беззаконие, так как хотели людскими руками вылепить бога, которого никто не может изобразить. И не ходят ли и сейчас по развалинам призраки этих ужасных богов?

И он положил руку на меч.

Кади ничего не ответил, заинтересованный холмиком крупного серого песка, сквозь который просвечивало что-то ослепительно-белое и манящее. Он спрыгнул с мула, разгреб песок руками и обнажил мраморную фигуру младенца с крылышками и колчаном и луком в руке.

— Идол!—воскликнул в страхе Махмуд.— Отбрось его!

Разглядывая кроткое, улыбающееся лицо ребенка, кади Ахмет сказал:

— Быть может, Джелладин и прав. Смотри, какое человеческое выражение у этого мальчика. Они достигли удивительно многого в деле создания богов, эти эллины! Не помешай им варвары, они, пожалуй бы, создали и истинного бога. Вглядишься. Мальчик почти смеется от удовольствия, что ему еще раз удалось посмотреть на мир. Разве тебе не хочется смеяться вместе с ним?

Кади рассмеялся, ребенок улыбался, а Махмуд смотрел на них с ужасом.

— Не находишь ли ты, Махмуд, что наш халиф немного похож на этого божка? Правда, халиф, занятый серьезными делами, редко улыбается и староват, но есть у них что-то общее...

Тогда Махмуд в двойном негодовании, что кади похвалил божка неверных, а затем сравнил его с халифом, стегнул коня, подскочил к кади, выхватил божка и кинул его на близстоящую колонну. Божок разбился в мелкие куски.

У кади на глазах показались слезы, он всплеснул руками, а затем улыбнулся и сказал:

— Что разбито, то разбито. Разрушен целый гигантский город, и что в сравнении с этим какой-то жалкий божок?

И они повернули к замку.

Когда они возвратились в замок, Желладин готовился к утреннему намазу и омовению. Во всей его фигуре видна была строгость и страх, точно вокруг он видел такое, что исправить и повести по дороге Закона совершенно невозможно.

И они встали на молитву. Махмуд молился с достоинством воина. Кади — с повелительным лицом судьи, заканчивающего скучный процесс. Желладин молился так усердно и долго, что, казалось, он молится о том, дабы вся земля провалилась, и никак этого вымолить не может.

К концу молитвы начали просыпаться византийцы. Послушные и дисциплинированные воины, они, согласно повелению императора, глядели на все, что делают арабы, одобрительно. Кроме того, ненавидя своих еретиков, вроде несториан и нечестивых поклонников Ария, они чужую, воинственную религию меча и зеленого знамени уважали. Особенно им нравился начальник конвоя — плечистый, в латах, посреди которых поблескивал тщательно начищенный серебряный полумесяц. Лицо Махмуда казалось им каменным и глубоко равнодушным ко всему, кроме приказаний своего невидимого командира.

## XXVIII

Незадолго до прихода в монастырь Евсевию, где убрусу предстояло пробыть довольно продолжительное время, на горном перевале процессию захватила буря.

Вокруг них лежали лиловатые скалы, которые от дождя стали агатовыми. Ветер бешено носился вокруг скал, таща откуда-то снизу толстые и широкие листья, которые прилипали к лицу и закрывали глаза. И это было страшно.

Над балдахинном, взметнутые кверху, блестели естественно ярко при свете молний золотые кисти, и видны были черные фигуры монахов, которые по-прежнему продолжали исполнять свои службы. Голоса монахов не было слышно, и их большие черные рты беззвучно раскрывались, принимая в себя, как в промасленные воронки, целые потоки дождя. Каменистая почва не впитывала влаги, и чистые прозрачные ручьи журчали возле ног коней и мулов, точно торопясь уйти из этих мрачных нелюдимых мест.

И сразу же, как только вышло солнце, скалы высохли, опять стали тускло-лиловатыми, а небо над ними походило на самую лучшую сгущенную глазурь, которой покрываются дорогие вазы.

Кади Ахмет, стряхивая с плаща капли, сказал:

— Неоспоримое преимущество бури в том, что после нее испытываешь довольство и хочется есть.

И он обратился с просьбой о пище к византийскому чиновнику, сопровождавшему их. Кади жевал кусок мяса, густо посыпанный крупной солью, а Махмуд сказал, с грустью глядя на чистое небо:

— Мне бы хотелось идти именно в этой буре на Византию, а не в шуме этой нелепой и безбожной процессии.

— Так, сын мой, так,— одобрительно промямлил Джелладин, который никак не мог согреться после бури.

Кади Ахмет сказал со смехом:

— Ого! Он уже тебя называет сыном.

— Берегись,— сказал сердито Джелладин,— как бы я не назвал тебя отступником!

— Путешествие наше дошло едва ли до середины, а мы уже ссоримся,— сказал с грустью кади Ахмет.— Неужели к концу его, здесь, на чужбине, мы обнажим друг против друга ножи? Прости меня, Джелладин.

В конце концов Джелладин был приятный старик! Когда он не говорил о Законе, а случалось это с ним редко, он высказывал дельные мысли. Так, например, он хорошо рассказывал о науке вождения караванов

в пустыне и неплохо высмеивал преподавателей Корана в медресе эль-Мустенсерие. Кроме того, он понимал медицинское дело и оказывал врачебную помощь в случае нужды своим спутникам.

Он понял кади и мягко сказал:

— Во имя Багдада я прощаю тебя. Держи свой дальнейший путь с миром.

Из-за бури, вызвавшей обвалы и преградившей камнями дорогу, процессия задержалась на перевале. Неподалеку, в неприступных горах, жили пустынные и аскеты. Дабы не мешать их созерцательной жизни, епископ Самосата приказал не извещать пустынных о движении убруса.

С перевала видна была желтая гора и черные пятна пещер, где жили пустынные. Когда взгляделись, то увидели, что дорога к ним выстлана ровным плитняком. И стали говорить, что ангелы спустились ночью, перед приходом убруса, и выстлали эту дорогу.

Должно быть, ангелы сообщили также пустынным об убрусе, потому что, как только установилась ясная погода и стража начала расчищать перевал от камней, на плоской дороге от горы показались шатающиеся тени. Шли волосатые, завернутые в травы люди, опираясь на длинные посохи. Они поддерживали друг друга, шатаясь от непривычного хождения, хотя дорога была глаже пола дворца визиря. На отполированных плитах, как в неподвижной воде, отражались старцы, и вся процессия поклонилась им в ноги. Побужденные такой святостью, арабы слезли с коней и тоже поклонились пустынным.

Махмуд воскликнул:

— О Джелладин! О кади! Я ничего не понимаю.

Джелладин молчал, не находя соответствующего текста Закона, а кади пробормотал:

— Быть может, волею этих людей создается добро, удерживающее огонь, которому предстоит испепелить все грехи Византии.— И он добавил: — Что такое добро? Дружба честных людей, верящих друг другу. Дружба создает чудо жизни. И чем она чище, чем ее больше, тем лучше и возвышенней жизнь. Я предвижу время, когда дружба и правда уничтожат границы и примирят враждующие народы...

Пустынные поклонились убрусу, сотворив песнопения. С лиц их струилось ослепительное сияние, и они

почти юношеским шагом повернули обратно, и казалось, что их гора приближается к ним.

Так как пустыnnики были нищи и голы, то они поднесли в дар убрусу несколько ветвей какого-то дивно благоухающего растения, которое цвело лишь на этой неприступной горе. Всю дорогу до Константинополя ветви испускали благоухание, пересиливающее благоухание ладана, и кади Ахмет был очень доволен, когда однажды кусочек ветви упал в пыль и никто не заметил падения, кроме кади. Кади Ахмет подобрал кусочек с пятью плотно прилегающими к стволу светло-коричневыми листочками. Он сунул кусочек в свою тыквенную бутылку и сказал:

— Моему настою не хватало именно этого запаха.— И добавил: — Я все более и более убеждаюсь, что люди очень похожи на тех жуков, которых почитают в Египте и которые необыкновенно искусно умеют скатывать в шар пищу, необходимую для их потомства. Если правда, как утверждали древние,— а их знания были очень прочны,— что земля наша похожа на шар и аллах выкатал ее из ничего, то есть из навоза, то почему же из навоза жизни не может и человек выкатать себе хорошее будущее? В конце концов что такое эта удивительная гора с пустыnnиками, которую вы видели? Навоз, не больше. И, однако, смотрите, каких результатов добились пустыnnики, упорно стремящиеся к своей цели! Слюной своего восторга они растворили камни и выстлали гладкую дорогу, какой мы не видали и во дворце визиря. При чем они лишь косвенно догадываются до истины. А чего ж достигнут люди, когда они будут жить не толчками, как эти тощие византийцы или как даже мы, хотя багдадцы способны делать более резкие толчки, а плавно и осмысленно? — И, глотнув из своей бутылки, он заключил: — У них будет великолепная жизнь и чудесное вино! Но, впрочем, я не пожалуюсь и на это, которое пью. Замечательная трава. Она разглаживает душу!

Джелладин сказал:

— Кади! Ты опять потворствуешь преступникам и нечестивцам.

А Махмуд проговорил:

— Если б подобное подвижничество помогло Багдаду в войне с византийцами, я бы заселил одним собою и своими песнями не только эту гору, но и окрестные!

Кади сказал:

— Ты и так на горе, хотя и не видишь ее. Но если б ты на самом деле переехал сюда, мне б было жаль тебя оставлять здесь. Твои песни вызывают во мне многие и весьма разнообразные мысли, полезные не только тебе, но и мне. Весьма гадательно, чтоб я встретил другого такого внимательного и в то же время так пренебрегающего мною слушателя.

Ночью в горах было зябко, и странно было вспомнить, что еще недавно они с таким удовольствием пили холодную воду. Зажигали костры, и монахи швыряли в пламя целые деревья. Неловко подпрыгивая, монахи старались согреться не только огнем костра, но и телодвижениями. Арабы сидели неподвижно, закутавшись в свои верблюжьи плащи, и прыжки монахов казались им молениями.

— В горах и холоде, — сказал кади, — жизнь мне с трудом представляется имеющей смысл, и я понимаю христиан, восхваляющих вино. Быть может, у них много гор и им нечем согреваться? Кроме того, вино придает содержание любому бессмысленному камню.

Дрожа от холода, Джелладин говорил:

— Содержание жизни — лишь в Законе. Я не одобряю, кади, что ты ставишь вино выше Закона.

Махмуд редко вступал на скользкий путь спора. Подождав, когда спорящие, исчерпав свои аргументы, умолкали, он оборачивал лицо к востоку и из учтивости, не желая мешать песнопениям возле балдахина, заводил свою песню. Он пел о Багдаде, о его набережных, о теплых камнях, сковывающих Тигр, об его войнах, об его искусных и неустрашимых ремесленниках и торговцах, об его несравненной красоте и оружии! В синем, мерцающем блеске светился ему Багдад, а глаза его возлюбленной были синей индиго, и слезы ее увеличивали блеск их!.. Перед самым его отъездом она сказала, что ждет ребенка. Кто он будет, этот маленький иль-Каман? Оружейник? Поэт? Торговец? Воин? Или законовед вроде забавного Джелладина? Или судья вроде милого и веселого кади Ахмета? Приходила в голову песня «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе», но он стеснялся ее исполнить и умолкал.

Кади, выражая общее чувство, говорил:

— Порядочно! — И добавлял: — Наискось от присутствия, где я сужу людей, есть кофейня. Твоя песня

напоминает мне ее. Там готовят превосходное яблочное пирожное с каплей вина и ломтиками апельсина. По приезде в Багдад я немедленно угощу тебя, о поэт!

Затем они ложились спать.

## XXIX

Убрус медленно приближался к столице.

Они шли долинами, где жара была умеренной, так как недалеко было море. Люди убрали жатву. Повислые парчовые кисти балдахина покрывались вялой бархатистой пылью, поднимаемой грубыми подошвами подбегающих отовсюду поселян. Жнецы втыкали свои серпы в снопы. Пастухи бросали стада. Богатые несли в подарок убрусу лучшие свои украшения и одежды, а бедняки — смиренную кисть винограда или меру пшеницы. Опять всех сопровождавших икону обносили холодной водой, от которой сладко дергало в деснах и испарина выступала на плечах. Подавали воду и арабам, и кади Ахмет говорил:

— Порядочно. А помните — горы?

И все улыбались.

Благоуханная свежесть садов дышала на них. Возле дороги начали поблескивать многочисленные источники, струи которых катились по желобу, заканчивающемуся головой какого-нибудь зверя, иссеченного из камня. Дорога кишела навьюченными мулами, ослами и телегами. Это торговцы и крестьяне спешили снабдить столицу фруктами и мясными припасами. Блеяли овцы, ржали кони, гоготала птица, сквозь решетку корзины поблескивала рыба. Иногда через толпу, щелкая бичом, продирался всадник в серо-зеленом плаще и высоком блестящем шишаке с гербом. Это посланец какого-нибудь командующего армией или начальника крепости спешил доставить письмо императору.

Наконец в лицо им пахнула тяжелая и сильная прохлада. Один раз, другой. Сады на холмах расступились. Напрямик, развевая их одежды, дул решительный и свежий ветер. Перед ними был Босфор.

Кади Ахмет почтительно дотронулся правой рукой до головы и до сердца и сказал:

— Прекрасен ты, о Босфор! Из-за твоей воды пролито уже столько крови, сколь ты несешь сейчас струй.

Я — слаб, и некоторые упрекают меня в чрезмерном человеколюбии. И я ничего не обещаю тебе, как только всю свою кровь, лишь бы ты ежедневно позволил мне любоваться на тебя.

— Ты — поэт, кади! — воскликнул Махмуд.

— Я — человек, — скромно ответил кади.

И Махмуд, вспомнив восклицание Даждьи «Я — женщина», увидел глаза ее в синих волнах Босфора. Не эти ли глаза привели его сюда? И он сказал:

— Слава человеку.

— Да будет благословенно имя его, — благоговейно ответил кади.

Среди зелени и плодов мерцали белые виллы богачей. Пахло незнакомыми цветами. Процессию встречали золоченые колесницы, коней еле сдерживали искусные и сильные наездники. Кони перестукивали копытами о ровную дорогу. Корабли, влекаемые бечевой, веслами или парусом, приставали к берегам, и корабельщики кидались на землю, чтоб поклониться убрусу.

Парчовый балдахин ушел от арабов далеко. Несметные толпы народа отделяли их от него. А арабы вглядывались в черное облако дыма ладана, которое теперь стлалось над местом, где шел убрус. Передавали, что корабль императора приближается.

На раскрашенном затейливо судне, похожем формой на дельфина, арабов перевезли через Босфор. Когда они переходили по мосткам на судно, кади Ахмет посмотрел вниз.

— Увы, — сказал он. — Уже не вино, а часть моря будет отделять нас теперь от Багдада.

Затем они увидели зубцы стен и квадратные и круглые башни, стерегущие Константинополь. И сердца их сжались. Стены казались им темницей. Они спросили у чиновника, сопровождавшего их по-прежнему, когда они увидят императора и когда передадут ему дружбу и привет халифа. Чиновник снисходительно ответил, что император, несомненно, их примет, но когда? Кто знает!

Арабов вели по улицам. Улицы были пустынные. Все население столицы ушло встречать убрус. Чиновник показывал им на дворцы — два высоких квадрата по бокам, а в середине, по фасаду, множество тонких, украшенных резьбой колонн. В церквах звенели неистово колокола. Иногда проходил мул, нагруженный свеча-

ми, или спешил монах, почему-то опоздавший на встречу. И словно от звона колоколов колыхалось на рейде множество кораблей. Арабам хотелось спать, и они зевали.

Их поселили в широком и пустом доме, в предместье святой Маммы.

Они уже засыпали, когда кади Ахмет поднял свою рыжую бороду и сказал:

— Встанем пораньше и пойдем исполнять приказание визиря.

— Какое? — спросил поспешно Джелладин.

— Ты забыл? Визирь приказал высмотреть все, что полезно перенять Багдаду! Здесь, я вижу, обширное и поучительное поле для наблюдений.

Джелладин сказал:

— Неужели визирь считает возможным чему-нибудь научиться у византийцев? Я бы хотел лишь узнать одно: вели ли они особые переговоры с эмиром Эдессы?

Так, невзначай, кади Ахмет узнал о тайном поручении визиря.

### XXX

Когда Махмуд проснулся, Джелладин стоял на молитве, а кади Ахмет уже куда-то скрылся.

Арабов хорошо кормили, поили сладкими напитками, кони их находились в отличных стойлах, у ворот сидел дежурный чиновник — и все. Джелладин спросил у чиновника, скоро ли их поведут к императору. Чиновник посмотрел на них с некоторым удивлением и сказал:

— К императору попасть трудно. Он сейчас молится.

— По поводу чего он молится? — спросил Джелладин.

— По поводу того, по поводу чего следует молиться, — ответил чиновник, и разговор окончился.

Джелладин успокоился: что иное мог ответить ему сын беззакония?

День был жаркий и длинный, и чувствовалось, что таких дней будет много. Махмуд гулял по саду возле дома, глядел на фонтан. Ему не хотелось ни есть, ни пить, и даже не хотелось составлять стихи. Он видел,

что тоска охватывает его, и он не знал, как с нею справиться.

К вечеру вернулся кади Ахмет. Он был багров и весь покрыт пылью города, от огненно-рыжей бороды до синих, вышитых цветной шерстью сапог, перевозносил византийскую кухню, точно он целый день ел. На нем был новый розовый с голубым шелковый пояс, и тыквенная бутылка его была полна так, что пробка не входила туда. Он описывал цветных женщин: каштановых, черных, как аспидный камень, желтых, как только что раскрывшаяся водяная кувшинка, белых, как борода Джелладина...

Джелладин, видимо соскучившийся по кади, ласково плюнул в сторону.

— Пойдем вместе, и ты убедишься, ученый муж!

— Не желаю и выходить, — сказал Джелладин. — Все вокруг, как вообще у нечестивых, похоже одно на другое, и я не вижу разницы между первым моим шагом по византийской земле и вот этими, по их столице. Мне думается, что мы топчемся на одном и том же месте, хотя я уже износил подметки сапог. Мне жаль подметок: я не взял запасных, а византийцы — плохие кожевники, и подметки у них стоят дорого.

Он снял сапог и глядел на него с грустью. Визирь отпустил ему много денег, но он был скуп и жаден и не желал тратить эти деньги в Византии. Кроме того, он грустил и оттого, что византийцы наслаждаются и совсем не думают о текстах Корана. Кади говорил, как мастерски здешние повара жарят в масле тонкие ломтики мяса, предварительно вымоченного в настое разных целебных трав... Джелладин прервал лакомку:

— Пустяки!

И он начал вдруг вспоминать молодость, глядя на прислугу, которая повела поить коней. В его молодости не было ни жалости, ни забав, и казалось, что все его радости заключались лишь в том, чтобы хорошо вызубрить уроки и лучше всех сдать экзамены. И больше всего он радовался, что вместо тонкой книги ему выдавали толстую, а после толстой — необъятно огромную. Ему было шестнадцать лет, когда ученейший муж Зади иль-Азари, составитель сорока учебников, хотел поймать его на ошибке в толковании 36-й суры. Но Джелладин не сдавался, настаивал, и ученейший муж должен был сказать наконец, что Джелладин прав.

И думалось, что Джелладину никогда не светило солнце, не улыбались женщины, он никогда не садился на коня, и невольно хотелось спросить: ну, почему у тебя шестеро детей и почему они живут с тобой, а не убежали хотя бы в пустыню? Рассказ его был неистово длинен и скучен, но когда он окончил его, кади Ахмет, общаривавший себя, точно его кусали блохи, сказал оживленно:

— Подожди, у меня, кажется... впрочем, ты прав — пустяки!.. Вернемся к твоим рассказам. Ты говорил печальное, Джелладин, ибо любая казуистика, даже казуистика любви, печальна. И все же я слушал тебя с удовольствием! Пусть твои науки сомнительны, ценность твоих занятий — невелика, но ты пытался мыслить, а это очень хорошо! Печальнее, если грядущие поколения думали бы о нас, что мы только резали друг друга, рыча от наслаждения и злобы, подобно диким зверям, когда их кормят сырым мясом. Мы все же думали! Мы тоже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше. Разумеется, мир этот еще темен для нас, и светильник наш, при помощи которого мы двигаемся вперед во тьме, еле-еле теплится. Но тем не менее и мы думали о благе потомков! И когда, быть может, через тысячу лет, до наших потомков дойдут стихи Махмуда, — а они, я уверен, дойдут, — мне бы хотелось: пусть потомки поймут — мы не потому жаждали уничтожения Константинополя, предания его огню и позору, что он богат, славен и мы завидуем ему, а потому, что здесь много зла, пиратов, работорговцев и мучителей истины, мошенников! У меня, например, как я сейчас обнаружил, выкрали кошелек.

Махмуд захохотал.

— Я знаю, над чем ты хохочешь, Махмуд. Тебе кажутся нелепыми мои сопоставления? То хвалил византийскую кухню, вино, женщин, а вдруг обнаружил кражу кошелька и принялся обличать! Я вижу зло, но я редко говорю о нем, так как верю, что зло испаряется от правды, как вода от лица огня. Сейчас же мне хочется высказать пожелание, чтоб потомки наши видели — мы хоть немножко, но лучше византийцев. Мы — арабы. Византийцы называют себя наследниками древних эллинов, но кто сохранил Аристотеля, Платона? Мы. Кто сохранил эллинскую простоту жизни, наив-

ность, прямодушие? Мы. Арабы. Я люблю людей, хотя моя профессия по странной игре судьбы создает мертвецов и заключенных. Но вот сегодня, за один день шатаний по Константинополю, я видел здесь жестокосердия, деспотизма и ханжества больше, чем за прожитые в Багдаде пятьдесят лет. И зло Багдада кажется мне трещоткой сторожа по сравнению с оглушающим прибоем константинопольского зла, и я искренне разделяю твое мнение, Махмуд, что Византию следует уничтожить. И с завтрашнего дня я пойду в город с твердым намерением — не пить ничего, кроме воды, не глядеть на женщин и отворачиваться от лакомств, питаясь моей сухой лепешкой. Последний раз...

Он сделал из своей тыквенной бутылки большой глоток.

— ...я пью этот настой. Отныне баклажка будет полна только влагой родника. Я подробно разгляжу и опишу гнездо византийского зла: их вооружение, их способы торговли, их систему укреплений — и, быть может, доберусь до тайны «греческого огня», которым они жгут суда своих противников. Будет записана оснастка кораблей, количество боевых припасов, все солдаты! Я запишу каждую их стрелу и ощупаю вот этими пальцами, которые — глупые! — стремятся щупать только женщин и держать вино, — ощупаю каждую тетиву и дерево их луков!

— Иду с тобой! — воскликнул Махмуд.

— Да, да, идем вместе. Ты больше меня понимаешь в вооружении. О мошенники! Вам будет горько вспомнить о моем приезде сюда!..

И он отхлебнул из бутылки.

— Аллах да осветит ваш путь, — сказал торжественно Джелладин. — Конь растряс меня, и я чувствую слабость. Но через день или два я оправлюсь и пойду с вами. Аллах видит праведных и помогает им. Мы свершим великое.

— Да, да, аллах! — сказал кади. — Аллах, несомненно, велик... но так же несомненно и то, что через тысячу лет потомок наш улыбнется, читая учение пророка, находя его наивным. Однако мне думается, что в этом наивном учении потомок найдет крупинки истины и добра, из которых, через тысячу лет, могла быть вылита огромная золотая гремящая чаша жизни, полная вином творчества...

И он добавил, печально глядя в пустое дно бутылки:

— ...в то время, как я пил обыкновенное и довольно дешевое вино!

— Что? — сказал грозно Джелладин. — Потомки улыбнутся? Учению пророка? Учение пророка — вечно. И лучше нам не плодить детей, чем думать, что дети детей наших будут улыбаться над тем, над чем мы плачем от восторга!

— Я хочу сказать только, о неподвижная звезда Закона, что, несомненно, придут другие пророки, которые еще более ясно и отчетливо укажут пути добра, истины и честности, пути освобождения людей от зла...

— Вздор! Если не вечно учение пророка, то, значит, не вечен и аллах? Ты это хотел сказать, кади?

Кади испуганно пролепетал:

— Я и не думал говорить такое...

— Пьяный глупец. Иди спать. Я прощаю тебе твою болтовню потому лишь, что у тебя пробудились высокие стремления.

— Возблагодарим аллаха, — сказал кади, поспешно укладываясь на ложе сна, — да будут наши молитвы к нему многочисленны, как зерна проса, и красивы, как крутой раскат куска атласной материи.

— Да будет так, — проговорил Джелладин, благочестиво проводя правой рукой по своей длинной седой бороде.

### XXXI

Махмуд поверил, что кади Ахмет и на самом деле намерен изучить до дна весь Константинополь. Махмуд встал с восходом солнца. Кади спал долго. Затем он совершил сложное и не свойственное ему омовение и молился так, будто ему впредь и не придется совсем молиться. Затем он думал и выбирал чистый пергамент для записей и, сказав, что лучше не брать пергамента, чтоб не наводить византийцев на лишние мысли, поднялся. Но пошел он не на улицу, а к фонтану. Он наполнил водой свою бутылку, прополоскал ее, понюхал.

— До омерзения пахнет вином, — сказал он и принялся вновь ее полоскать.

Наконец бутылка показалась ему чистой, и он прицепил ее к поясу.

— Удивительно,— проговорил он,— бутылка стала очень тяжела.

И он отлил из нее.

Затем он разглядывал своего мула, а мул его. Он думал: ехать ли ему верхом или направиться пешком? Верхом — почтеннее для посланца халифа, пешком — незаметнее. С одной стороны, надо соблюдать достоинство, с другой — незаметность действий. Затем он начал рассуждать: пойдет с ними чиновник, сидящий у ворот, или нет, и нужно ли говорить чиновнику, куда они уходят? Затем он начал жаловаться на жару, потому что солнце уже стояло высоко и старому его сердцу будет трудно переносить пекло, когда все неверные сидят в тенистых кофейнях.

Махмуд молчал.

Кади Ахмет сказал:

— Мне нравится твое открытое лицо и твоя чистосердечность, Махмуд. Ты говоришь смело, свободно. А мне, если нужно купить сыру на одну монету, приходится покупать на три.

Наконец они вышли за ворота. Кади Ахмет сказал, глядя на чиновника:

— Если он примет нас за дураков и пьяниц, это хорошо. Но мы не будем пить, и он примет нас за соглядатаев, а законы для соглядатаев в Византии очень свирепы. Лучше всего, пожалуй, взять его с собой. Ведь не столь важно то, что ты видишь, сколь важно — насколько осмысленно ты видишь! Возьмем его? Тогда нас никто не заподозрит в соглядатайстве.

— Он спит.

— Спит? Счастливец. Спать в такую жару очень приятно. Я его разбужу и хоть этим немного отомщу мошенникам, укравшим у меня кошелек. И я его замучаю, водя за собой!

Пот капал с его рыжей бороды. Махмуд, жалея его, все же твердил:

— Нужно идти. Пойдем.

Наконец кади сказал:

— Пойдем! Но как? Пешком — невыносимая жара...

— Тогда поезжай на муле.

— Назовут, повторяю, соглядатаем.

— Пойдем пешком, медленно.

— А честь Багдада? Что мы — слуги, ходить пешком?

Махмуд схватил его за рукав и повел.

Кади вскричал:

— Ты берешь на себя всю вину, ведя меня!

— Да, беру.

— Но я гублю тебя! Такого поэта!

— Вся вина на мне, учитель.

— Учитель? Если учитель, и старше тебя, я должен тебя образумливать!

Так дошли они до рейда. Увидав вблизи множество морских судов, приплывших сюда из Вавилона, Шинара, Египта, Ханаана, купцов из Индии, Персии, Венгрии, страны печенегов и хазар, воинов Ломбардии и Испании; увидав бочки с медом и вином, кипы льна, полотна шелковых тканей и нежнейших сирийских материй, длинные слитки пахучего и желтого воска; увидав менял, монеты всех стран Европы и Азии, склады золотой и серебряной парчи и восточных пряностей, — кади Ахмет всплеснул руками, как ребенок, и радостно вскричал:

— Аллах! Ты освежил мое сердце красотой мира. Я тебе очень признателен, Махмуд, что ты привел меня сюда. Бегущая жизнь ускользает, и как приятно отведать ее бег.

Он, по привычке, достал бутылку, глотнул. Лицо его изобразило отвращение.

— Какая гадость! Кто мне сюда налил воды? Испытывая такой восторг, разве можно пить воду? Зайдем на минуту в эту кофейню.

— Мы увидали корабли, а теперь должны встать с ними бок о бок. Солнце на полдне, и нам много дела. Кофейни посещают после труда. Нужно посмотреть, как и где расставлены матросы и командиры. Из какого дерева построены корабли.

— Зачем? — спросил кади.

— Чтобы запомнить, записать и передать все визирю.

— Разве мы корабельщики, чтобы знать и понять корабли? Разве мы первые арабы, приехавшие в Константинополь? В молодости визирь и сам бывал здесь, однако мы не читали его записей. Для того чтобы понять корабли и их силу, нужно пойти в мастерские порта...

— Хорошо, мы пойдем в мастерские.

— Сегодня?

— Сейчас.

Они осмотрели правительственные верфи. Кади Ахмет, пытая и страдая жаждой, шел за Махмудом между обрезками досок, остовами кораблей, по опилкам. Пахло смолой, всюду валялись куски пеньки, раскрытые бочки со смолой, и никто не обращал на них никакого внимания, так что казалось, возьми они все, что здесь лежит, некому будет и слова сказать. Между тем в работе виден был большой порядок, и по всему чувствовалось, что работают владыки морей.

— Ты уразумел что-нибудь? — спросил кади.

Махмуд ответил откровенно:

— Очень мало. Я вижу лишь силу.

— Вернее сказать, ум. Ум зла. Но мы увидали этот ум и вне мастерских. Нам же нужно понять лад их работы, а здесь это трудно. Не пойти ли нам в другие мастерские?

— Куда?

— Например, в монетный двор. Монета — весьма важная составная часть государства, и визирь будет признателен нам, если мы откроем ему способ изготовлять множество дешевых монет.

И они направились в монетный двор. Осмотрев его, кади сказал:

— Теперь мы можем сказать, как легко изготовлять монеты. Но мы не сможем сказать, откуда брать золото для монет. О монетном дворе лучше умолчать. Пойдем в гинекей, изготовляющие весьма высокие сорта пурпурных и шелковых тканей. Халиф так любит пурпур, а визирь — шелк!

— Пойдем.

Кади посмотрел на солнце:

— Ого, близок закат, а мы еще не ели.

— Успеем, успеем, — торопил его Махмуд.

— Ты успеешь, потому что ты молод, а я уже могу опоздать. Смотри, какая уютная и прохладная харчевня, как пахнет вкусно мясом и как приветливо лицо продавца! Я не встречал в Византии таких милых лиц! С ним будет любопытно побеседовать.

— Позже, позже.

Из гинекей они вышли грустные и усталые.

Махмуд сказал:

— Мои знания ничтожны, и я не могу охватить знаний византийцев. Зачем я сюда приехал?

— Мы меряем пространство и время, чтобы учиться,— сказал кади.— Мы научимся.

А в глазах Махмуда мелькали поставленные один на другой бочонки, скрепленные обручами из ивы и наполненные дубильным орешком; ящики с камедью, растительным клеем для проклейки тканей; холмы каменной соли; потрескивали станки, сновали мастера, поправляя челноки; звучал голос надсмотрщика мастерской, почему-то хваставшего, что дом покрыт штукатуркой из смеси извести, песка и цемента, который доставляется сюда из Пелопоннеса Таврического. Где находится Пелопоннес Таврический? Махмуд не знал даже этого.

Сквозь улицы и крепостные ворота виден был Босфор, два корабля, скрепленные цепями, грузчики, перетаскивавшие товары на пристань, и много ласточек, скользивших над недвижной серо-зеленой водой. Здесь же, над головой, назойливо жужжа, кружился крупный шершень. Откуда он? И что мы знаем в этом огромном мире?

Между площадью Августин и Тавром, на улице Месса, они увидели множество мастерских, где изготовлялись на продажу драгоценные и редкие товары: вышитые золотом, малиновые, или цвета морской воды, или цвета черного янтаря, или желтые ткани; женские уборы из дорогих камней; изделия из бронзы и серебра; византийские эмали и мозаичные иконы; тонкие сосуды из стекла. Продавалась слоновая кость дивной резьбы; прозрачные и блестящие платья из Фив и Пелопоннеса.

Они стояли долго, рассматривая все это, и один торговец, глядя на них, спросил другого:

— Зачем они смотрят?

А другой ответил:

— Они смотрят и ужасаются золоту. Золотом, которым мы обладаем, мы поведем против наших врагов силы всей Европы и Азии. И мы разобьем наших врагов, как глиняный горшок. И они будут подобны глиняному горшку, который уже не починить, потому что он из глины.

Махмуд, услыша эти слова, сказал печально кади Ахмету:

— Пойдем в кофейню.

И ни он, ни кади Ахмет, ни один торговец и ни другой еще не знали, что князь Игорь переправился через Дунай и что если раньше отступали отдельные части византийского войска, то теперь оно стремительно бежало все.

### XXXII

Махмуд, отхлебывая кофе, молча смотрел на узор ковра, себе под ноги. Кади наполнил свою тыквенную бутылку вином, нашел его приятным и теперь наслаждался, заткнув за пояс полы своего кафтана, беседой с женой владельца кофейни. Владелец кофейни, бывшему переплетчику книг, он говорил, что в Багдаде книги гляncуют не яичным желтком, а на смеси бычьей крови с перцем, жене — что у нее такие глаза, которые способны лишить сна любого из смертных, и что теперь в бессонные ночи он будет приходить в их кофейню. Женщина хихикала, кади касался ее плечом. Муж смотрел на это спокойно и деловито.

Поболтав, кади молодцеватой походкой, браво выставив грудь, вернулся к Махмуду. Махмуд сказал:

— Византия знает больше, чем мы...

— В наслаждениях? Да.

— В науке войны и торговли! — сказал Махмуд. — А нам надобно знать больше. С чего начинать? Как поглотить науку Византии?

— Ты ошибаешься, Махмуд, — сказал кади. — Нас послали смотреть, а не поглощать науку Византии. У них языческая наука! Если бы народы учились друг у друга, им бы некогда было драться. Разве мы с тобой можем узнать самое главное?

— Что здесь самое главное?

Кади прошептал ему на ухо:

— «Греческий огонь». Тайна его — для нас с тобой непереварима.

Он икнул и сказал:

— Мясо оказалось тоже непереваримым. Оно пережарено! Хозяин! — крикнул он. — Дай мне крепчайшего вина. Мясо ты пережарил, и я обязан запить его.

Хозяин принес высокую глиняную кружку с вином, кади отхлебнул и улыбнулся:

— Порядочно. — И он сказал Махмуду: — Если б

визирь дал нам очень много денег, руководителя поумее Джелладина и тысячу писцов, мы б и тогда чувствовали себя бедняками и нуждающимися. Вчера я ходил по мастерским, где скорописцам диктуют книги. Какие здесь прекрасные каллиграфы, Махмуд! Я пересмотрел много книг. Император Константин, собрав вокруг себя много ученых и поэтов, составил громадные собрания книг по военной тактике, сельскому хозяйству, медицине, придворному церемониалу. Есть пятьдесят три книги, рассказывающих историю Земли от начала до наших дней! Я выбрал одно довольно дорогое сочинение, принадлежащее перу самого императора. Оно называется «О фемах» и разбирает вопросы географического характера, говорит о составе империи, о ее краях, людях...

— Визирю такая книга понравится. Ты купил ее?

— Если бы я ее купил, визирь, развернув книгу, бил бы ею меня по голове до тех пор, пока не истрепал бы и книгу, и мою голову. Ты не найдешь там сведений о Византии новейшего времени! Книгу написал сам император, а однако, о хитрец, он сообщает в ней сведения, относящиеся еще ко времени императора Юстиниана. Нового в ней только название да указание деления провинций, что мы знаем и без книги. Когда я выходил из квартала переписчиков, у меня выкрали кошелек.

— Что же делать? — спросил в отчаянии Махмуд.

— А делать то, что делает Джелладин: не обращать на византийцев никакого внимания. Народы как подогреваемая жидкость, — они закипают тогда, когда будет достаточно тепла, и здесь-то обжигают все, что нужно обжечь. У тебя есть способность к стихам. Пиши. Это тоже подогревает народы. Арабы уважают стихи — после оружия.

— Никто не знает моих стихов!

— Узнают.

— Когда?

— Когда нужно.

— А пить вино, ласкать женщин, которых не любишь, балагурить где попало, — тоже подогревает народ?

— Радость — это втулка, которой держится колесо.

— Прости, кади, но мне твои мысли кажутся безнравственными.

— Отлично. Ты иначе и сказать не можешь. И быть может, придет время, когда ты проклянешь меня, а если будет твоя власть, то и повесишь или посадишь в клетку возле ворот визиря, которому ты будешь первым другом. Все зависит от того, скоро ли придет новая война. И, однако, я прав. И ты — тоже прав. И если в Багдаде будут долго существовать такие люди, как ты и я, Багдад победит византийцев. И всегда, при всех горестях, я с удовольствием буду вспоминать твою дружбу.

Он допил кружку и сказал:

— Зачем огорчаться незнанием? Учись, и знание придет. Византия для нас с тобой сейчас как то странное лицо, которое мы сопровождали сюда до Константинополя и которое не могли увидеть, так как парчовый балдахин был слишком плотно закрыт для нас. Ни буря, ни жара, ни ветры не распахнули его, а между тем я знаю его.

— Откуда?

— Мне вспомнился рассказ какого-то перса об этом пророке Иссе. Не знаю, насколько достоверен рассказ, но мне приятно было его слышать. Шел пророк Исса среди цветущих полей. На пути его лежал разлагающийся труп пса. Ученики содрогнулись. Но пророк Исса сказал им: «Зачем содрогаетесь и отшатываетесь? Вглядитесь в зубы пса. Он скалил их, защищая своего друга, и теперь они остались прекрасными, как жемчуга, даже на этом гниющем трупе».

Махмуд сказал:

— Меня грызет тоска.

— Да, здесь мы с тобой сейчас как зерна, выпавшие из мешка. Быть может, нас склюют птицы, а быть может, мы и прорастем. Кто знает? — И он, улыбаясь, сказал: — Все-таки жалко, что ты так резко и быстро отшатываешься от любви, точно это падаль. Я бы мог познакомить тебя с одной прорицательницей, в области любви, разумеется. Но ты бежишь женщин, а это в твоём возрасте просто опасно. А почему бежишь?

— Я люблю, — внезапно для самого себя выговорил Махмуд.

Кади Ахмет даже покачнулся:

— Неужели я так много выпил?

— Я люблю, — повторил Махмуд.

— Почему же ты так долго не признавался? Или ты

любишь женщину чрезвычайно высокого положения? Дочь визиря, быть может? У него три дочери, и они красавицы. Которая из них? И где ты ее видел?

— Она не дочь визиря.

— Аллах! Тогда она дочь халифа?

— Она не дочь халифа.

— Но она умна?

— Да. Ее наущением составлена моя речь перед визирем.

— Ого! Кто же она? Я не слышал в Багдаде о таких умных женщинах. Быть может, иноземка?

— Да.

— Жена какого-нибудь проезжего князя? Торговца из Индии? Наемного витязя? Строителя дворцов? Морского пирата?

— Она рабыня.

— Чья?

— Моя бывшая рабыня, а теперь жена. Я жду от нее ребенка.

— Та, которую купила госпожа Бэкдыль?

— Да.

— Та, которая упала на рынке головой вниз? Та, владелец которой был судим мною?

— Да.

Кади крикнул хозяину кофейни:

— Еще кружку вина!

И, не дожидаясь кружки, он хлебнул из тыквенной своей бутылки, а затем сказал, весело блестя глазами:

— Махмуд! Ты женился на ней благодаря моей сообразительности и тому, что я понимаю толк в женщинах, даже когда они лежат у меня в присутствии, словно грязная ветошь. И верь моей проницательности, Махмуд. Ты будешь с нею счастлив, и доживешь до глубокой старости, и будешь обладать богатством и почетом и, вдобавок, веселостью, которой владею я. Кружку тебе, Махмуд.

— Я не пью.

— За ее здоровье. Опusti губы в вино. Его губы сладки, как губы возлюбленной.

Махмуд прикоснулся губами к вину.

Кади Ахмет сказал:

— Я до сих пор не знаю, откуда она. Кажется, из Египта?

— Она из страны Русь.

— Вот как! Стало быть, она проезжала через Константинополь? Не училась ли она здесь?

— Нет, она училась у себя, в стране Русь.

— Вот видишь! И заставила визиря выслушать тебя, и приготовила тебе речь. Значит, не только в одном Константинополе царит ум и наука? Есть где-то и еще? Есть наука и в Багдаде, Махмуд. Надо лишь ее увидеть. И ты увидишь. Жена поможет тебе. Так ты говоришь, она из страны Русь? А ведь в Константинополе есть торговцы со всей Европы. А значит, есть торговцы и из страны Русь? Найдем их! Узнаем о здоровье ее родных... о ее стране. Ого! Смеешься? Видишь, и в Константинополе можно найти радость! Я рад за тебя Махмуд, я очень рад за тебя. Любовь редка, береги ее. Выпьем? Пей, пей, теперь и аллах нам разрешает!..

### XXXIII

Джелладин задумчиво чертил прутиком на песке ровные линии. Резкая светло-лиловая тень навеса оканчивалась как раз на его тонких желтых руках и, казалось, трепеща Закона, не осмеливалась двигаться дальше. Против него, прямо на горячем, словно плавящемся от солнца песке, сидел византийский чиновник в высоком войлочном черном колпаке, под которым лицо его казалось зеленым, похожим на неспелую дыню.

Византиец и Джелладин молчали, и видно было, что молчание доставляет им удовольствие, и византиец с таким умилением глядел на ровные линии, проводимые Джелладином, словно чувствовал сквозь них какую-то дивную мелодию, над которой можно рыдать.

— Мир вам,— сказал Джелладин, не поднимая головы.

— Мир и тебе,— ответил кади, понимая, что между Джелладином и византийским чиновником произошло что-то важное.

Чиновник поднялся и, важно пожелав посланцам халифа спокойной ночи, ушел.

Джелладин, сровняв прутиком линии на песке, сказал:

— Корыстолюбивы. Все продажно. Много золота — много наемников. Привези ты больше золота, наймешь их вместе с их наемниками.

— Да, да! — подхватил кади. — Город большой, но мелочной. Ты уговаривался с чиновником о приеме нас императором?

— Нет, о другом, — неопределенно ответил Джелладин. — Он дорожится.

— Что — деньги? — молодцевато воскликнул кади. — Они хрупки, как трава осенью.

— Деньги принадлежат Закону.

— Да, да! Но я не люблю борьбу деньгами. Легко поскользнуться, как на мокрой апельсиновой корке. — И кади продолжал: — Есть три вида борьбы. Или Исава, боровшийся с богом, или Прометей — с Зевсом. Второй вид — борьба с наводнением или с саранчой, когда полезно призывать доброго духа Шерлаха. К этому же виду борьбы относится борьба на поле брани. И отчасти борьба деньгами. И, наконец, третий вид — борьба для забавы, из которой я больше всего предпочитаю борьбу на поясах. Видел ли ты эту борьбу, Джелладин?

— Видел. Мне было пятнадцать лет, и мои товарищи по школе боролись во дворе медресе. Я в тот день превосходно ответил учителю и позволил себе посмотреть на борьбу. Я был доволен собой.

— И борьбой, наверное?

— Не помню.

Кади вздохнул, с сожалением и страхом глядя на Джелладина, и продолжал:

— Первый вид борьбы, вроде борьбы Исава или Прометея, прельщает меня, но я слаб, боюсь, что не выдержу, и все откладываю борьбу. Второй вид борьбы доставляет мне меньше удовольствия. Привыкши размышлять над свершающимся, я опасаюсь, что, пока я выбираю лучшие способы борьбы, наводнение смет мой дом, саранча сожрет мои поля, вражеский воин проломит мне голову, а что касается денег, то разорюсь я обязательно. Поэтому я наслаждаюсь невинной борьбой и весь дрожу от страсти, когда два борца таскают друг друга по земле. Пояса скрипят, от борцов идет пар и пот, и земля вокруг них влажная!.. Махмуд, я слышал, ты умеешь бороться на поясах?

— Работа у наковальни закалила меня. Но бороться мне приходилось редко: я все время работал или составлял стихи.

— Побеждал ли кто-нибудь тебя?

— Никто.

— Видишь, Джелладин! — воскликнул кади. — Его никто не побеждал в Багдаде. Неужели ты допускаешь мысль, что его победят в Константинополе?

— А если мы победим византийцев? — сказал Джелладин. — Они обидятся. Я узнал, что византийские войска недавно разбиты на Дунае русским князем Игорем. Византийцы просят у русских мира.

— Вот как!

— Византийцев сейчас лучше не раздражать.

— Я согласен с тобой, Джелладин. Тогда Махмуд будет бороться не с византийским борцом, а с кем-нибудь из гостей.

— Например?

— В предместье Маммы, неподалеку от нас, живут русские купцы. Русские ходят свободно. Мы сейчас шли мимо их подворья, они веселились, пели песни, и Махмуд слышал что-то знакомое... Джелладин, подумай! Византийцы узнают, что мы побороли русского богатыря. Доносят императору. Император пожелал нас увидеть... Ты говоришь императору все, что тебе приказал визирь...

— Мысль недурна.

— Вот видишь!

Кади Ахмет привык на суде читать мысли по лицам. Мысли Джелладина совсем не сложны. И кади решил пооткровенничать:

— А у нас есть частная заинтересованность в этой борьбе. У Махмуда подруга — русская, из дружины князя Игоря. Она хочет узнать, что делается в стране Русь.

— Это мог бы узнать и я, — пробормотал Джелладин.

«Через кого?» — хотел было спросить кади, но удержался. Понятно и без вопроса. Джелладин пообещал византийскому чиновнику золото, которое вложено в пояс Джелладина визирем. Чиновник выдал ему голову эмира Эдессы, указал на человека в Эдессе, ведущего тайные переговоры с византийцами...

Кади Ахмет поспешно сказал:

— Так и должно быть. Русские купцы придут сюда, и ты порасспросишь их, о толкователь Закона! Подругу Махмуда зовут Даждья, она дочь князя Буйсвета... какие трудные имена!

Джелладин сказал:

— Мне не нужно имен. Зачем я буду вмешиваться в частные дела? Поручил ли вам это визирь?

— Нет.

— И спрашивал ли ты у него разрешения на упоминание имен?

— Зачем я буду лезть к визирю со всяческой мелочью?

— Ты же сам назвал этот город мелочным. Здесь всякая мелочь приобретает вид Закона.

— Но это просто любовь! Она хочет знать — что и как на родине?

Джелладин сказал:

— Любовь? Я не представляю себе, что такое любовь. И вам не советую. Визирь ничего не говорил мне о любви.

— Но он ничего не говорил и о борьбе на поясах!

— Борьбу на поясах я разрешаю. Но любовь... любовь, по-моему, глупость и вред.

— Сам пророк Магомет любил! — воскликнул Махмуд.

— Молчи, дурак, — сказал Джелладин. — Что ты знаешь о пророке? Поучись столько, сколько я, и тогда рассуждай!

Махмуд раздражал Джелладина. Он раздражал его своим громким голосом, важными движениями и тем, что никогда не советовался с ним, как и где расположить на отдых конвой и какой соблюдать церемониал при встрече с византийцами. Поэт? Трезвонит и трещит. Песни о Багдаде иногда трогательны. Но все, что говорится о родине на чужбине, — трогательно. Кроме того, Джелладин не мог простить Махмуду его внезапного появления и речи перед лицом визиря. И теперь — победы Махмуд в состязании, дойдет его победа к императору, а значит — дойдет и до халифа. Возможны награды от халифа... Но награды возможны и Джелладину, разрешившему борьбу с русским богатырем?

И Джелладин еще строже добавил:

— Смотри, не вздумай свалиться в борьбе.

— Не свалюсь, — ответил, смеясь во весь рот, Махмуд. — Скорее ты свалишься от злости.

И, не слушая брани Джелладина, пошел мыть, со скуки, своего коня. Конь, подаренный ему визирем, был

вороной, молодой, трепетно-неугомонный, и по совету кади Махмуд дал ему имя Пегас, хотя и не знал толком, что значит это слово.

#### XXXIV

Накануне, перед приходом русских, Махмуд спал плохо. То мерещился ему Багдад, его домик, крыша и синие глаза Дажды. Ей скоро рожать. Как-то пройдут роды? Махмуд пытался представить личико своего ребенка — и не мог. Ему все виделся почему-то ребенок лет пяти, круглый, черноволосый, но с синими глазами — в мать... То вдруг с удивительной отчетливостью представлялись ему картины путешествия с убрусом, и особенно — горы. Горы под скользящей среди туч луной — синим-сини. Дует ветер, и пламя огромных восковых свечей отклоняется, и видны расходящиеся пятна света, падающие то на камень, то на голову монаха, то на длинный посох, с которым идут священники. Золотые кисти балдахина очень чисты и кажутся слитками золота, ветер их двигает осторожно, точно пробуя их тяжесть...

Под вечер пришли русские купцы. В саду, возле фонтана, нашли площадку и стали ожидать кади Ахмета, который ушел еще с утра наполнить свою баклажку и не возвращался.

Русские были рослые, красивые люди, а богатырь Славко был на голову выше всех, и казалось, глядя на него, что и нет выше его людей в Константинополе, хотя по столице ходит очень много сильных и рослых людей. Махмуд был значительно ниже, но плечист и крепок на ногу, что в борьбе немаловажно. Махмуд глядел на русского богатыря, слегка побаиваясь, а того больше желая помериться с ним силой.

Хотелось и поговорить с русскими. Но византийский чиновник сказался не знающим славянского языка, хотя в Византии обитало очень много славян; они заселяли и Фракию, и Македонию, и Фессалию, и Эпир, и жили в Аттике и Пелопоннесе, даже возле самых ворот Афин, в Элевзине, были славянские поселения. Джелладин, ссылаясь на занятость, обещал выйти только к самой борьбе. Конвойные, опасавшиеся влияния злых духов, которые невидимо стоят за плечами язычников, держались в стороне. Махмуд остался возле русских один.

Русские принесли с собой дубовый бочонок с медом и угощались. Борцу меда не давали, чтобы тот не ослабел перед состязанием. Опасения эти подбодрили Махмуда. Понемногу он осмелел, подошел к русским поближе, стуча себя в грудь ладонью, сказал одному седоусому и, как ему думалось, самому почтенному и понятливому:

— Даждья!

Он знал, кроме того, и еще несколько слов, слышанных от Даждья, но все они относились к любви, и он боялся показаться старику легкомысленным. Он повторил:

— Даждья. Князь Буйсвет!

Старик сначала смотрел на него строго, но затем заулыбался и, показывая на восток, спросил:

— Даждья — у Багдади?

— Да, да. Багдад — Даждья!..

Старик начал было выпрашивать его, но тут прибежал кади Ахмет, исцарапанный, помятый. Новая одежда его была вся в заплатках. Он оттащил Махмуда в сторону и спросил:

— Ты что у них спрашивал?

— Говорил о Даждые...

— Так я и знал! Зачем торопиться, зачем? Что, ты не мог подождать меня?.. А в рассуждениях Джелладина есть доля правды. Это очень печально, но его надо опасаться, Махмуд.

— Я ей обещал!

— Мало ли что мы обещаем женщине! — И он сказал, оглядывая себя: — Я знал, что одежды снимаются. Но я не подозревал, что они делятся на столько частей! Я начал уже было думать сегодня, что между мной и голым человеком трудно найти различие...

— Тебя били, кади? Кто?

— Ах, Махмуд, женщины так неосмотрительны и так легкомысленно назначают свидания! Бить? Меня хотели бить, но я подставлял византийцам другую часть тела, противоположную той, которую они хотели бить! И, таким образом, они были опозорены и обмануты. О, я их отучил драться!.. Женщина, правда, была недурна, вино — превосходно, и я выпил его столько, что не смог заплатить! Кто они? Этот вопрос был бы отвлекающим в сторону, если б я сейчас не догадался, что меня били справедливо.

Он поднял многозначительно палец вверх и тихо сказал:

— Она живет возле храма святого Ильи, и когда приезжие не отвлекают ее от основной работы, она шьет. Она — швея!

— И что же?

— А то, что благодаря ей я сделал величайшее открытие, за которое визирь будет мне несказанно признателен. Он был прав, этот визирь, советуя мне наблюдать! Все сделано, Махмуд, мы можем возвращаться спокойно. Она зашивала мне изорванные в драке штаны и полу кафтана... Я взглянул... О Махмуд! Я захлебываюсь от счастья! Я открыл...

— Тайну «греческого огня»?

— Больше! Гораздо больше! Пусть поднимет тебя в твоём состязании мое открытие, оно очень велико. Я не открою пока тебе этой тайны, но помни, Махмуд, что Багдад отныне непобедим!

Появился Джелладин.

— Начинайте борьбу,— сказал он.

Борцы схватились.

Теснили друг друга к краям площадки, обсаженной самшитом, позади которого высились кипарисы. Выкидывали на середину. Волочили, быстро и легко дыша, через всю площадку. Взрыли землю, обнажив корни деревьев, и сразу же, ногами изучив расположение корней, стали на них опираться, а затем и вырывать. Русский приподнял, оторвав от земли, араба. Араб пальцами ног ухватился цепко за корень. Русский рванул, и корни потащили за собой кусты самшита. Русский отбросил ногой кусты в сторону, но ему для этого надо было скосить глаза, а в это время араб уже оторвал его от земли, дернул в воздух... Толпа охнула:

— Перун!

— Аллах!

Русский изловчился, и опять он на ногах. Опять тискают, таскают, крутят, вертят. Упали оба на кипарис, и высокое дерево зашаталось, покренилось.

Толпа, тяжело содрогаясь, яростно дышит! Даже византийский чиновник, потеряв самообладание, сорвав с головы черный колпак, мнет его в руках и кричит:

— Русь, Русь, хорошо! — И через мгновение: — Араб, араб, хорошо!

В самый разгар исступленной схватки, когда зрители, дрожа от волнения, жадно ловили и расценивали каждое движение борцов, когда опустел не только дом, но и весь квартал, а деревья сада и окрестные крыши были усеяны любопытными, и мальчишки визжали так, что их слышал весь Константинополь, сквозь толпу пробрался розовый живчик юноша. Живчик что-то быстро прошептал на ухо седоусому почтенному русскому.

Русский старик громко крикнул.

И тогда русский богатырь вдруг снял свои руки с пояса араба.

Махмуд глядел на него недоуменно. Разве нарушено какое-нибудь правило? Или кончился срок? Ведь борьба назначена без срока!

А русский, пошатываясь от злости, но послушный, шел за своим стариком.

— Куда он? — спросил Махмуд, шагая за русскими.

Византийский чиновник преградил ему путь и сказал:

— Сенатор и друг императора господин Аполлос, уважаемый и почитаемый, пригласил к себе немедленно русских купцов.

Чиновник направился к своей скамеечке возле ворот, а кади Ахмет сказал:

— Говорят, князь Игорь потребовал немедленной выдачи своих задержанных византийцами купцов, грозя в ином случае прервать переговоры. Жаль! Борьба была славная.

Джелладин повернулся к Махмуду и злобным, свистящим шепотом прошипел:

— Бороться б тебе смелей и лучше, русский лежал бы на траве, а нас бы уже пригласили к императору. О, сын шакала и гиены!

— Я?..

Махмуд схватился за меч. Джелладин побежал в дом, проклиная самоуправца, а кади Ахмет сказал:

— Никогда не нужно обнажать оружие против Закона, даже когда Закон злится.— И вздохнул:— Но мне все-таки печально, что ты не зарубил его. Он становится отвратительным. Еще твое счастье, что он не знает и не узнает, о чем ты говорил с русскими купцами.

— Они вернутся?

— Кто?

— Русские. Я хочу бороться.

— Где хочешь ты, там не хотят византийцы. Я думаю, что русские не вернутся.

— Но поняли ль меня русские?

— А зачем? Печальней, что ты не узнал, как живут родственники Даждьи в стране Русь. По-видимому, мы скоро вернемся в Багдад, и хорошо бы облегчить твоей жене роды, привезя ей весточку с родины. Не знаю, каково тебе, а я уже тоскую по своей старухе. Да, мы скоро вернемся, Махмуд.

Но вернулись они не скоро.

Три месяца ждали они встречи с императором. На четвертый им сказали, что император отсутствует, а их примет друг императора, сенатор господин Аполлос. Господин Аполлос говорил с ними ласково, однако подарки его были жалки. В заключение приема он пожелал посланцам халифа счастливого пути и сообщил, что вслед за ними к халифу едет особое посольство, которое везет письмо императора, дары и пожелания вечной дружбы между Византией и Багдадом.

И они направились в обратный путь.

В тот день, когда они покидали Константинополь, император Константин в своем загородном серо-зеленом, цвета морской волны дворце, составив текст письма к багдадскому халифу, передавал особые пожелания, которые посол Византии, сенатор Аполлос, должен был высказать халифу после аудиенции. Император был гневен. Впереди византийских пленников, которых нужно было потребовать у багдадцев, приходилось называть имя киевской княжны Даждьи, попавшей в Багдад благодаря оплошности domestika схол Иоанна Каркуаса. Так требует князь Игорь! Откуда он знает, что Даждьи в Багдаде? И почему domestik схол Иоанн не знает, что Даждьи была у него? Domestik схол по-прежнему уверен, что среди нескольких русских женщин, которых он обменял багдадцам на коней, не было никакой княжны. Ему не верили. Он был уже в немилости. Считалось, что в тайных сношениях с эмиром Эдессы он вел себя глупо; что он дорого заплатил за эдесскую святыню, которая так и не принесла победы.

— И откуда русские могли узнать, что Даждьи

в Багдаде? — повторил свой сердитый вопрос император.

Никто не мог ответить ему.

Разве только Махмуд.

Но не к Махмуду был обращен гневный вопрос императора. Император гневался на русских, гневался на Багдад и опять на русских, с которыми ему пришлось подписать вечный мир — «дондеже солнце сияет, и весь мир стоит,— в нынешние веки и в будущие». Он страшился этих врагов, одному из которых он должен был платить теперь дань, которую платил некогда князю Олегу. И он не знал, как их облукать, и как задарить, и как утешить!

### XXXV

Махмуд далеко разглядел Даждю. Она опять стояла на крыше его дома! И он громко рассмеялся. Он скакал один, конвой был распущен, и он жалел, что не мог поделиться своей радостью ни с конвоем, ни с кади, который утверждал, что уже близко полнолуние и ему пора домой. Она скользнула рукой по лицу, словно все еще не веря, что видит и его самого, и его вороного коня... Какое милое движение и как он хорошо помнит его! И он опять рассмеялся.

Было утро.

И утро было на его душе.

Стройная и массивная,— уже мать, с тонкими и длинными волосами цвета спелой соломы, будто наполненными солнцем, со свежим и нежным лицом, которое освещалось плавным светом синих глаз под ровными и словно лощеными бровями, Даждя легко пробежала через весь дом босая и, подбежав к нему,— он еще не успел спрыгнуть с коня,— схватила его шею руками. Воображение всегда представляло ему ее красавицей, но оно слабо показывало ее, как слабо показывает свет свечи окружающие предметы. Это было — солнце!

И он смутился, ошеломленный этой красотой, распространяющей вокруг себя такую благосклонность, такую ласку! Мать Бэкдыль и его брат выбежали и смотрели то на него, то на нее, безмолвно повторяя: «А, она расцвела! Ты доволен?»

— Я доволен! — сказал он. — Где же мой ребенок?

— Дочка, — ответила госпожа Бэкдыль. — Но хорошая дочка. Будут внучата — воины. Будет много внучат!

Госпожа Бэкдыль по-прежнему была полна тайными мыслями. Да, когда-нибудь две рабыни будут стоять позади, ожидая приказа матери Бэкдыль и старшей жены Дажды. Правда, Махмуд и Даждя, по ее словам, собираются уехать погостить в какую-то далекую, холодную страну Русь. Ну что ж! Их будет сопровождать, будем надеяться, не скудный эскорт, а пристойное для важного лица украшение из трех закутанных в покрывала жен, которые, поблескивая глазами, будут любоваться, как господин их едет впереди каравана!..

— Будет много внучат, — повторила мать Бэкдыль, идя впереди сына.

Он глядел в колыбельку. Они были одни. Мать и брат ушли готовить завтрак. Ребенок спал, сжав розовые губы. Махмуд наклонился и поцеловал дочку прямо в губы. Даждя прошептала:

— Тише, разбудишь! У нее такой чуткий сон.

И она обняла его опять, прошептав:

— Ты хотел сына?

— Я доволен и дочерью.

— Но все же ты хотел сына.

— Надеюсь, будет и сын, — сказал он, тихо смеясь.

— Не сын, а ты прийдешь щит к Золотым Воротам. Ты видел Ворота?

— У византийцев много ворот, — сказал он. — Они их любят строить. Золотые Ворота не крупнее других.

— Но на них был щит Олега.

— Да, был щит.

Она чувствовала в голосе его усталость.

— Что случилось?

Он рассказал ей о Желладине, о своей ссоре с ним и о ссорах, которые повторялись часто во время дороги. Старик окончательно возненавидел его.

— Пустяки, — сказала она. — Ты ведь не собираешься быть придворным или законоведом? Ты — поэт. Ты — воин. А он?

И она начала выпрашивать о Константинополе:

— Видел ли ты князя Игоря?

— Он не был в Константинополе.

— А его послы?

— Я их видал издали.— И он рассказал о своей незаконченной борьбе с русским богатырем, рассказал и о седоусом старике.

— Знаю, знаю, Славко. Он очень сильный. Пожалуй, тебе б...— Она взглянула в его глаза, прочла там недовольство и быстро сказала:— Нет, ты победил бы его! Но скажи мне, почему они не прибили щит к Воротам?

— Я не знаю.

Она воскликнула:

— Византийцы опять обманули русских! Щит, а не дань! Щит!.. О Перун! Опять ты обманут хитрым византийским богом. А ты еще...— обратилась она к нему, сверкая глазами,—...ты еще вез к ним святыню! Ты должен был ночью подкрасться к ней и изрубить ее. Пророк запрещает вам покровительствовать идолам, а ты покровительствовал.

И, впав в отчаяние, она наговорила много дерзких слов самой себе. Она была виновата в том, что эдесская святыня благополучно прибыла в Константинополь! А она так долго ждала мести. Ее мысли казались ей пророческими. Она видела поверженную Византию, окруженную с одной стороны войсками халифа, с другой — Русью. И в мечтах ее Византия виделась как упавшее дерево. Она лежит, уставив в небо растопыренные ветви своих башен, рвов, укреплений, которыми теперь ни поддержать дерево империи в равновесии, ни охранить.

— И ничего этого нет!

Византия стоит по-прежнему, растопырив мощные ветви своих укреплений, замков, рвов и башен, стоит, тихо посмеиваясь, как человек, делающий свое дело. Не поехать Даждье в свою страну с возлюбленным! Нужно забыть белые, песчаные берега Днепра, теплые ивы, тесно прижавшиеся друг к другу. Хороши здесь деревья в садах Багдада, но они стоят каждое отдельно, и нет здесь густых сплошных лесов, как у нас!..

Мечь, мечь, мечь! Упорно и настойчиво держала она мечту о мести, воспитывала, лелеяла в себе. Мечь просачивалась сквозь нее всю.

А теперь? Византийские послы едут с льстивыми грамотами. И обманут! И будет мир. И византийцы перебьют поодиночке русских и арабов.

— Едут послы. Халиф будет принимать их. И ты будешь говорить им приветственное слово?

Он расхохотался:

— Ты слишком много и высоко обо мне думаешь. Кто позовет меня во дворец к халифу? И почему халиф скажет: говори, Махмуд! Ха-ха! Джелладин наговорит теперь про меня так много злого, что не видать мне ни халифа, ни визиря. Жена моя! Пожив в Константинополе, я понял, что такое двор. Наши мечты с тобой, оказывается, не так-то легко исполнить...

— Какие мечты?

— О щите.

— Вот как!

— И как я жалел, что не могу наслаждаться мгновениями, подобно кади Ахмету.

— А он наслаждался и с женщинами?

Махмуд покраснел:

— Я совсем не об этом!

— Да, да! Вас только отпусти,— сказала она, смеясь и целуя его в шею.— Вот поедешь во дворец, прославишься, забудешь, развращенный Константинополем, меня. И тогда мне будет плохо, совсем плохо.— И глухим голосом она сказала:— Тогда я умру.— И тотчас же быстро сказала, стараясь рассмеяться:— Прости, прости! Я поглупела, но только от радости, только от радости!

### XXXVI

Халиф ожидал визиря.

Грузный, крупный старик со свисающими на короткий воротник рубашки из верблюжьей шерсти складками толстой шеи, поджав под себя ноги и часто вытирая платком выпяченные серые губы, сидел в беседке сада на земле. Перед ним стоял низкий столик, грубый глиняный кувшин с водою и деревянное блюдо с финиками. Халиф, подобно Омару, великому наследнику пророка, любил простоту в обыденной жизни и сильные выражения.

— Куда пропало это блеклое животное?— бормотал он.

Сквозь кусты полураспустившихся роз видна была черная дорожка сада, высокая стена, выкрашенная синим, и кусок яркого серо-зеленого неба. Опять при-

ближалась весна, и опять за стеной кто-то проезжавший мимо напевал: «Я приду к Тебе».

«Дети! Пусть поют», — думал халиф. Но все же песня раздражала и мешала думам. А дум было много, и хотелось поделиться ими с визирем. Злили козни вассалов, мешавших единению халифата, и злил эмир Эдессы, вот уже полгода твердивший, несмотря на все пытки темницы, что он не вел тайных переговоров с византийцами. Неизвестно, обнаружили ли мудрецы и мастера вооружения секрет «греческого огня». Вот уже два года заперлись они в замке под Багдадом, на берегу Тигра, что-то жгут, плавят, пробуют, посылают гонцов во все края страны, ищут жидкую серу... И непонятно, с какими мыслями и зачем едут в Багдад византийские послы. Хотелось думать хорошее: вот возьмут да и пропустят в Европу суда халифата с индийскими товарами, а из Европы к Багдаду разрешат ездить с итальянскими и другими товарами, с медью, железом, оловом, свинцом...

— «Я приду к Тебе...» — пел удаляющийся голос.

— Да иди же скорей, глупец! — сказал громко халиф.

Приближающийся визирь, подумав, что слова относятся к нему, прибавил шаг и засеменил, кланяясь и касаясь руками земли.

— О владыка! Меч ислама! Гроза...

— Перестань, — прервал его халиф. — Далеко ли византийцы?

— Еще ночь, и они будут в Багдаде, — сказал визирь деловито. — Прикажешь задержать?

— Зачем?

— Повелитель, быть может, хочет осмотреть все пышные и неслыханные украшения дворца, сада и улиц столицы? Повелителю, быть может, угодно высказать свои желания? Мы привезли пятьсот десять диких зверей, войска; вдоль улиц будет выстроено сорок три тысячи воинов, не считая евнухов и невольников. На Тигре будут стоять морские суда...

— Ну и пусть торчат!

Халиф посмотрел на визиря тусклым взглядом давно выцветших глаз и, медленно вытирая рот платком, спросил:

— Скажи лучше, узнал ты, зачем едут сюда византийские послы?

— Согласно приказу повелителя, в Константинополь были посланы люди, способные к малому узнаванию. Повелитель не хотел раздражать византийцев пытливостью...

— Но все же они, посланные, ведь не совсем уж дураки? Как ты думаешь, пропустят нас византийцы в Европу? Игорь побил Византию, заставил платить дань, как при Олеге. Византийцы ослабели. Они должны искать дружбы с нами. А что за дружба, если они преградили нам путь в Европу? Пусть откроют путь, или — война!

— Война,— наклонив голову, грустно сказал визирь.

— Но разве они едут с войной? Или они предполагают словами, точно волшебники, заморозить меня? Мы тоже умеем говорить и думать.

— О повелитель, и еще с какой силой!

По лицу визиря было видно, что он не знал, с чем едут византийцы.

Халиф сказал недовольно:

— А «греческий огонь»? Если война, мы должны сжечь много вражеских судов. Пока, я вижу, вы жжете их на словах и плавите мои деньги.

— Повелитель...

— Быстрее!

— Мудрецы открыли секрет огня, повелитель!

— Покажи.

— У них беда: мало основного состава. Дознано, что византийцы привозят основной состав «греческого огня» с гор Кавказа, где Зевсом был прикован Прометей. Там и поныне живут дикие племена, поклоняющиеся огню. Поэтому мудрецы повсюду в нашей стране ищут основной состав и утверждают...

— Нашли?— грозно прохрипел халиф.

Визирь ответил поспешно:

— Нашли, нашли, повелитель! Не минует и месяца, как три бочки «греческого огня» будут доставлены в Багдад.

Халиф испытующе посмотрел на визиря:

— «Я приду к Тебе»?

— Нет, нет, это не пустая песня, о повелитель, а истина. Клянусь моей недостойной головой...

— Запомню.— И, помолчав, халиф спросил:— Кстати, о голове. Эмир Эдессы...

— Сознался!

- О! Почему?
- Желладин привез доказательства. Мы схватили передатчиков эмира, и они выдали его.
- Отрезать всем головы.
- Сегодня же...
- Не сегодня, а завтра, когда византийские послы будут возвращаться из моего дворца. Пусть они посмотрят, как падает голова их слуги. Им это полезно.
- Еще бы, о повелитель!
- Желладин? Кто бы мог подумать! Научился у византийцев? Обо что трешься, тем и пахнешь, а, ха-ха?! Я награжу Желладина. И тех двух... как их?
- Кади Ахмет и оружейник Махмуд иль-Каман, повелитель.
- Да. Позови их всех на прием византийских послов. Собери также всех выдающихся ораторов, законовovedов и поэтов, которые в присутствии послов в своих речах и стихотворениях превознесли бы славу и силу ислама, мое царствование и величие моего дворца. Слова — так слова!
- И он задумался.
- Была ранняя весна, и сквозь трепетные тучки падал мерцающий блеск на влажные, готовые распуститься почки розовых кустов. В саду было тихо, и казалось, что даже нетерпеливая весна и та задумалась вместе с халифом.
- «С чем же едут византийские послы?» — думал халиф, и о том же думал визирь.

### XXXVII

Послы несли через весь Багдад послание византийского императора халифу.

Из особого уважения к халифу послы шли пешком. Впереди послов шел Аполлос, сенатор и друг императора. Это был желтолицый, худой мужчина лет сорока в длинной серебристо-палевой одежде без складок. Глаза его, огромные, агатовые, казалось, испускали скользкий и жалящий блеск, и, когда он пренебрежительно оглядывал толпы народа, запрудившие улицы, всем видна была его ненависть, и все начинали дрожать от ярости. У него была привычка, тоже всех сердившая: сказав три-четыре слова, Апол-

лос умолкал так важно, точно ожидал, что ему будут восклицать — слава!

Перед дворцом задолго выстроились войска, и шумный народ говорил, что войска выстроено сто пятьдесят тысяч.

Послы вступили в ряды войск. И войска, все сто пятьдесят тысяч копий поднялись на воздух и опустились на землю с такой силой, что гром был подобен землетрясению. Так говорил народ.

И послы увидали тысячу тонких и светлых минаретов Багдада. И со всех минаретов пять тысяч муэдзинов запели хвалу пророку и наместнику его халифу, и народ говорил, что пение их было подобно второму землетрясению.

Но лица послов были неподвижны, и ни один волос на их голове не шелохнулся.

И они увидали зеленый дворец. На площади, перед дворцом, семь тысяч евнухов в шелковых разноцветных одеждах и изукрашенных поясах — четыре тысячи белых и три тысячи черных евнухов — безмолвно склонились, и поклон их, как говорил народ, был такой ровный, точно поклонились семь тысяч братьев.

Послы вошли в сад дворца. На лужайках они увидели стада диких животных. Львы и олени, прирученные искусными охотниками, направились к послам. Сто львов издали рычание, а двести оленей вознесли вверх свои широкие рога и протрубили.

И это, как говорил народ, было подобно третьему землетрясению.

Но лица послов были по-прежнему неподвижны.

Их вели мимо позолоченных клеток. Множество птиц с позолоченными перьями и клювами пели.

И тогда старший посол Аполлос, сенатор и друг императора, сказал:

— Вот это очень красиво,— и добавил: — Великолепный дворец у халифа.

И он улыбнулся. И тогда улыбнулись все послы.

Визирь сказал:

— Господин посол! Вы видите не дворец халифа, а только мою жалкую хижину. Дворец халифа за этим садом, вон там, где за деревьями колышутся ковры.

И они пошли дальше.

Темно-пурпурный дворец халифа сверху донизу был закрыт коврами. Ковры были и голубые, и розо-

вые, и синие, и белые; ковры всех цветов и всех провинций халифата. Народ говорил, что там висело двадцать две тысячи великолепных ковров, а три тысячи занавесей из парчи и индийского шелка, стоящие тридцать тысяч динаров, украшали все внутренние стены и двери здания.

Халиф ал-Муттаки-Биллахи сидел на троне слоновой кости. На нем был надет простой плащ бедуина, тот, который, говорят, носил великий Омар. С правой и левой стороны трона висели и сверкали на солнце по девять длинных тяжелых нитей драгоценных камней. Позади и впереди халифа стояли евнухи, а вожди племен и родственники поодаль нитей с драгоценными камнями. А еще дальше стояли, содрогаясь от восторга и славы, законоведы, кади и поэты.

И там же стояли Желладин, кади Ахмет и Махмуд.

Византийский сенатор и друг императора Аполлос поцеловал землю и сказал, что он принес могучему халифу послание императора.

— Читай,— проговорил халиф.

Сенатор Аполлос снял шелковую желтую материю с серебряного ящика с золотой крышкой, на которой было сделано из разноцветного стекла изображение императора Константина. Сенатор раскрыл ящик и достал послание. Послание было начертано на пергаменте небесно-голубого цвета золотом, греческими буквами, и к нему прикреплена золотая печать в четыре мискаля весом, на одной стороне которой был барельеф Христа, а на другой — императора.

Посол огласил первую строку по-гречески, тотчас же переводя ее на арабский язык:

— Константин Седьмой, верующий в мессию, император, властвующий над греками.

Он помолчал, поводя огромными глазами и точно ожидая восхвалений.

— Халифу ал-Муттаки-Биллахи, могучему повелителю арабов в Багдаде.— И опять помолчал.— Да продлит господь бог жизнь могучего халифа!

Огромные глаза его остановились на жирном лице халифа, и он продолжал:

— Слава богу!.. Всесовершенному, великому!.. Милосердному к своим рабам... Тому, кто собирает народы... Кто разъединяет... и примиряет их... споря-

щих во вражде... до тех пор... пока они... не соединятся воедино...

Сенатор Аполлос читал и читал голубой пергамент. Послание плескалось в руках посла, насыщая сердце халифа такими словами, которые мог найти лишь человек, необычайно долго лазивший по лестнице мыслей. Слова ласкали, нежили, лечили, лили масло и елей на душу, макали уста слушателей в мед и наслаждения. Они уверяли халифа в дружбе, расположении, вечном мире.

«И все?» — думал халиф, как и послы храня недвижимое лицо.

Затем сенатор Аполлос взял другой драгоценный ящик и достал оттуда желтый пергамент, по которому было написано по-арабски серебряными буквами перечисление даров, которые посылает император Константин своему брату халифу. Тут был и золотой поднос для кушаний, и дорогие одежды, и золотая посуда, и мускус, и амбра. Под конец посол подал халифу три небольших золотых стакана. Халиф скосил глаза, принимая их. На дне стаканов он увидал стада крошечных хрустальных зверей: львов, оленей, жирафов и рысей, расположенных в том же порядке, в каком звери эти встретили послов в саду визиря.

— Редкого умения у вас ювелиры, — сказал халиф, а про себя подумал: «А еще более редкие соглядатаи! И неужели тем, что вы знаете расположение зверей в саду моего визиря, вы думаете сказать мне, что знаете все происходящее в моей стране? Глупцы».

Но лицо его по-прежнему было неподвижно, и посол не мог угадать, понял халиф намек византийцев или не понял. И, приняв дары, халиф сказал:

— Велик аллах и пророк его! Я напился дружбы брата моего Константина и наполнен любовью к нему, как виноградная лоза солнцем. Я не могу надеяться, что найду слова, которые бы передали наружу лежащее внутри моего сердца. И я призвал лучшего своего законоведа Джелладина Жете-и-Тогос, чтобы он, ловитель мыслей, подмел своими и моими словами пол у ног моего друга, императора! Слова наши немногочисленны счетом, но совершенны и справедливы, и я трепещу от радости, что почтенный Джелладин выскажет их!

Рокот одобрения пронесся среди родственников,

вождей племен, законодателей, кади и поэтов. И все обернулись к Желладину.

Желладин, шатаясь от волнения, в широкой и длинной одежде, пробрался через толпу и приблизился к трону. И все качали головой, одобряя его вид. Как он талантлив! Как он умен! И как быстро он идет в гору! Говорят, благодаря ему сегодня обезглавят эмира Эдессы?

— Халиф, да будет прославлено имя его!..— начал Желладин, и голос его поднялся так высоко, что казалось, поздоровался в небе с самим пророком.

Мороз прошел по коже присутствующих. Какое великолепное начало, как умеет начинать!.. Каково-то продолжит?

Но продолжить Желладину не пришлось. Архангел запечатал уста его. Желладин покачнулся и упал.

Он лежал в глубоком обмороке у ног халифа, а халиф с неподвижным лицом проговорил:

— Так велика любовь наша к брату нашему Константину, что сердце одного, даже лучшего законоведа Багдада, не в состоянии высказать ее. Желладин — великий законоучитель. Он река законоучителей...

Халиф обвел взором своих тусклых глаз всю толпу придворных. Взор его остановился на кади Ахмете, рыжая борода которого горела возле Махмуда. Халиф сказал:

— Брату моему императору Константину отвечала река. Но и река остановлена плотиной восторга. Она остановилась, увидав море. Ты море мудрости, кади Ахмет, продолжай речь!

Кади Ахмет вышел:

— Халиф, да будет прославлено имя его! — начал он.

И он остановился.

— Да будет прославлено имя его! — повторил он, уцепившись обеими руками за свою бороду.— Халиф!..

И у него, от величия и великолепия обстановки, от неожиданности и от радости, что свалился Желладин, прервалась нить мысли, и знаменитый оратор остановился, тщетно стараясь вспомнить то, что надлежало сказать в подобном случае.

И тогда выступил вперед Махмуд иль-Каман.

Визирь наклонился к халифу и тихо сказал:

— Это тот искусный ремесленник и поэт, о повели-

тель, который воспламеняюще говорил у меня о Византии и эмире Эдессы, назвав его предателем.

Халиф так же тихо пробормотал:

— Двое онемевших от восторга — недурно. Но если онемееет третий — получится, что у меня все подданные идиоты, обалдевшие при виде двора.

Халиф предпочитал сильные выражения.

### XXXVIII

И халиф сказал, обращаясь к Махмуду:

— Эй ты, соблазнительный урод! Сунь нам, сын тины, свойственные тебе соображения!

И он откинулся на спинку трона, довольный своим словом. Он находил, что с подданными иногда полезно обращаться так же, как с конем, закусившим удила.

Махмуд, весь дрожа, чувствуя себя расточительным, но в то же время разумным и ровным, твердо подошел к трону халифа и встал на то место, где только что стоял Желладин. Сладчайшим, звонким голосом, глядя прямо в мутные глаза халифа и в его выпяченные серые губы, Махмуд говорил о славе Багдада, о красоте его, о его спокойствии, о согласии, о смелых его воинах, о резвых его конях и о той славе, которая упадет на тех, кто дружит с Багдадом. Он говорил слова скромные и скупые, но ставил их в такие сочетания, могучие и высокие, что они казались скалами.

«Недурно, совсем недурно, — бормотал про себя халиф. — Но не мешало б и припугнуть византийцев. Слишком многое они себе позволяют! Золотой стакан, а внутри звери? Мои звери? Пусть бы он сказал, что оружие наше на врага — готово!.. Неужели не скажет, сын тины?»

Махмуд не сказал.

Он воспел Багдад, но ему и в голову не пришло, что пора припугнуть византийцев. Ему казалось, что он научился придворному обращению в Константинополе, и он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала. Сердце приказывало ему надсмеяться над византийцами. Жена ему советовала то же самое. Она говорила, что, если халиф и аллах дадут ему слово, это слово должно быть смелым! Душа его ненавидела византийцев, но он глядел в глаза халифу, слушал его слова, полные дружбы и любви к

Византии, и ему казалось, что если он умолчит о Византии, прославляя лишь один Багдад, то и это будет смело!

Но как бы то ни было, он сказал блестящую речь, заключив ее великолепным стихотворением, в котором еще более возвышенно повторил свои мысли о Багдаде.

Халиф по окончании речи сказал, обращаясь к визирю:

— Он говорит темновато, но он не усыпляет, этот перл овчарни! Наградить его, уместно случаю.

Махмуду поднесли одежды, плоскую золотую чашу, до краев полную монетами.

И халиф сказал:

— Кстати, вспоминаю, тождественное происшествие случилось со мной во времена моей молодости, при покойном халифе ал-Мутанаби.

И он передал собравшимся короткий рассказ о происшествии в пустыне, когда он шел в поход против одного взбунтовавшегося турецкого племени. И византийские послы, и арабские сановники слушали его, вытянув вперед головы, изображая на лице охотное и живейшее внимание. Когда они заговорили громко, прославляя халифа как выдающегося поэта и рассказчика, халиф улыбнулся и пригласил их на пир.

— Будем кутить, как молодожены, — сказал он, любя крепкие выражения.

Махмуд, получив подарки, спросил визиря:

— Могу ли я, о визирь, просить — отправить эти подарки матери, чтоб она насладились, так как для меня достаточно лицезреть халифа?

И визирь одобрил его, и пять евнухов отнесли подарки к госпоже Бэкдыль, крича в толпу:

— Дорогу, дорогу! Подарки от халифа — да будет прославлено имя его! — знаменитому оратору и поэту Махмуду иль-Каман. Дорогу, дорогу!

Слова эти издали услышала мать Бэкдыль. Она приняла подарки еще в начале улицы, на которой стоял ее дом, и, взяв три небольших горсти монет, потому что руки ее высохли и сжались на работе, пошла на базар. Был еще день, пир только начался, а госпожа Бэкдыль уже купила двух невольниц и пять коз, ибо она давно ждала это добро, и в простоте сердца думала, что и все ждут этого же добра.

Госпожа Бэкдыль купила девушку именем Чооны. Она была родом из Афганистана, где высокие горы и где нужно обладать большой выносливостью, чтобы ходить по этим горам. Торговец уступил ее по сходной цене, так как мать Бэкдыль сказала ему о славе сына, да и весь базар уже знал об этой славе и о подарках халифа. Кроме того, старуха торговалась яростно и выпустила столько слов, сколько торговец не слышал за всю свою жизнь. Рабыня была широкобедренна, точно раковина, разговорчива и сыпала слова, словно рис из мешка. Она умела ткать, и по ее бедрам мать Бэкдыль заключила, что часы с нею будут приятны и просты, ибо она плодоносна.

Мать Бэкдыль купила также рабыню именем Гахара. Она была родом из Греции, с архипелага. Ее привезли с трудом, она была еще совсем не укрощена и не понимала Багдада и его прелестей. Сильная, рослая, она при наслаждениях, видно, наливается кровью, как петуший гребень, и ты испытываешь радость, словно трубящий рог! И эту рабыню мать Бэкдыль приобрела дешево и радовалась своей покупке.

Мать привела рабынь в дом и сказала Даждь:

— Вот тебе няня для ребенка, и вот тебе другая для помощи. Они будут подчиняться тебе.

Даждья, побледнев, спросила:

— Но будут ли они подчиняться мне во всем, что я потребую?

— Да. Так указано пророком,— сказала мать Бэкдыль.— Ты будешь старшая.

— Старшая среди жен?

— Да, старшая среди жен.

Даждья сказала:

— А если я прикажу им покинуть мой дом?

— Ты поступишь, милая, глупо и против Закона.

— А если этого пожелает мой муж?

— Твой муж не может пожелать этого. Он — правоверный,— сказала гордо мать Бэкдыль.— Как ему идти против велений пророка, который приказал всем оружием умножать род правоверных, а эти женщины — наиболее доступное и приятное оружие!

Тогда Даждья сказала:

— Мать! Была ли я тебе послушна?

— Ты всегда была мне послушна, милая, иначе зачем же мне покупать тебе это облегчение?

— Мать! Ты думаешь, эти девки для меня облегчение?

— Разумеется. Они будут облегчать твою работу. В конце концов опасаясь, что мой сын чересчур страстен и он утомляет тебя.

— Мать! Помоги мне! Отпусти этих женщин.

— Нет, я не могу их отпустить.

— Тогда их отпустит Махмуд!

Даждья ушла в темную мастерскую, села возле горна и стала глядеть на ворота глазами более сухими, чем пыль на этих поникших мехах. Она чувствовала себя пустой, пыльной, одинокой и старой. Ребенок просил груди, она накормила его, но сердце ее не смягчилось. Ей хотелось домой, но она чувствовала, что дом ее, и Днепр ее, и Киев ее так далеки!..

Однако они были близки.

Халиф пригласил к своему столу сенатора Аполлоса, предложил ему чашу душистого вина и сказал:

— Я думаю вот весь пир и никак не могу придумать, что бы такое поднести в подарок другу моему, императору Константину? Что он любит?

Сенатор ответил:

— Император доволен всем... у него... все есть...

Халиф с наивным лицом ребенка сказал:

— Да, да! Я и забыл. Ему во всем помогает эдесская святыня! Я слышал, она очень помогла ему в борьбе с русским князем Игорем?

— Посланная тобой, о халиф... эдесская святыня... свершила множество чудес...— медленно ответил сенатор.— Что больше всего... любит император?.. Он любит справедливость.

— Мы все любим справедливость,— сказал халиф.— Но какого цвета он любит справедливость?

— Например... он любит освобождать... пленных...

— Я вернул всех византийских пленных. Осталось несколько полудохлых стариков, я прикажу их собрать.

— О халиф! Византийцы слышали, что в Багдаде находится пленная русская княжна Даждья, дочь Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки.

— О, чудо!— воскликнул насмешливо халиф.— Эдесская святыня заметно изменила византийские нравы. Насколько мне известно, византийцы презирают женщину, считая ее скопищем зла, сосудом язв.

Это мы, арабы, относимся к женщине с уважением, если она не рабыня, разумеется. Что случилось?

Уязвленный Аполлос сидел неподвижно. Еле шевеля губами, ответил:

— Императору было видение.

— Я и говорю: эдесская святыня!

И, считая, что он достаточно отплатил за ядовитый намек в виде трех золотых чаш с хрустальными фигурками зверей внутри, халиф наполнил послу чашу и, вытерев платком губы, замолчал. Он ждал, что скажет посол. Посол тоже молчал. Тогда халиф сказал:

— Княжна Даждья будет сегодня же у тебя.

И он уставил в лицо посла тусклый взгляд своих глаз. Он ждал, что посол передаст сейчас самое главное — разрешение Багдаду торговать с Европой. Какие условия? Все равно. Можно найти еще десяток святынь, подобных эдесской, но лишь бы торговать. Войны редко бывают выгодны для государства. Но еще более невыгодно подчиняться насилию.

И халиф решился высказать свою мысль.

— Подарки друга моего, императора Константина, — сказал он, — весьма прекрасны. Но, к сожалению, не хватает одного.

Посол молчал.

— Нам бы хотелось, — продолжал с раздражением халиф, — чтобы Средиземное море, лужа в великих владениях друга моего, было очищено от пиратов, мешающих нашим кораблям ходить в Европу. Мы просим друга нашего императора поднести нам этот подарок.

— Я передам императору... желание халифа, о могучий правитель!

«И все?» — спросил глазами халиф.

Лицо посла было, как всегда, неподвижно, лишь огромные его глаза подернулись влагой волнения: он ощущал грозу, но не мог остановить ее. «И все», — ответили глаза посла.

Халиф встал.

Все поднялись.

— Продолжайте, продолжайте пир, — ласково сказал халиф. — Я хотя и молодожен, но все же стар, а вы молоды.

Все время пира Махмуд ждал, когда подойдет надлежащая пора и он прочтет то, что ему чрезвычайно

хотелось теперь прочесть: о предстоящей битве с византийцами. Поэтому, чтоб не мешать дыханию, он едва касался пищи. Сидящий рядом кади Ахмет, бормоча, что это, быть может, единственный случай, когда можно поесть вволю придворных блюд, не понесся за это наказания, ибо придворный хлеб горек, набросился на еду. Пища действовала усыпляюще на обремененные длинной церемонией желудки. Кто-то дремал, а кто-то в полудремоте напевал.

Халиф шел через пирующих с непроницаемым лицом. Взор его на мгновение остановился на Махмуде и, словно процедив его, прошел дальше. Он забыл о поэте. Но вот халиф услышал полудремотное бормотание песни. Кто-то пел: «Я приду к Тебе!» Халиф, чуть скривив серые выпяченные губы, тихо, чтобы не беспокоить остальных, сказал с омерзением визирю:

— Отправить его на базарную площадь и дать пятьдесят палок. И пусть он под палками поет: «Я приду к Тебе!» Наказать также и того, кто составил эту песню. Мне нужны другие песни.

### XXXIX

— Дорогу несравненному поэту Махмуду иль-Каман! — кричали его поклонники, и все на улице расступались. И Махмуд проезжал по улице на своем вороном коне в ало-синем индийском одеянии с расшитым золотом широким поясом. Он представлял себе, что будет, когда его любовь увидит это одеяние и эту свиту и услышит эти крики. Он спрыгивал мысленно с коня, целовал ее, — и все же он не торопился ехать, дабы не показать, что он ослеплен славой, а разумен и спокоен, ибо счастье людей зависит от аллаха.

Сопровождаемый толпой поклонников и уличных ротозеев, он въехал в услужливо распахнутые новыми друзьями ворота и придержал коня, дабы еще раз слышать возгласы:

— Слава несравненному поэту! Урагану слова — слава!

И он сказал, почтительно поклонившись матери:

— Сыта ли ты, о мать? Получила ли ты подарки?

— Я получила подарки, — ответила мать, — и я сыта. Но хорошо ли накормили тебя во дворце, иначе

я прикажу изготовить для тебя обед. Тебя накормят рабыни,— произнесла она с гордостью.

— Какие рабыни?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я купила двух рабынь. Пойди посмотри их.

И она указала на двух рабынь, которые вышли на шум, также на топот копыт коня своего нового повелителя. Спускался уже вечер, и мать взяла масляную лампу, чтобы лучше осветить их лица. Одна рабыня была яркого, не золотистого, а светло-алого цвета зари, так она рдела перед новым господином. Он узнал сразу родину этой женщины.

— Да, она с архипелага,— подтвердила мать.

И чтобы доставить удовольствие заботливой матери, он благосклонно поглядел на другую женщину. От волнения она была желто-оранжева, как лимон.

— Я таких не видывал,— сказал он с удивлением.

Мать объяснила:

— Она из Афганистана, есть такая гористая и варварская страна. Ну что же, ты одобряешь мою покупку?

— Она хороша,— ответил он.

И он услышал неистовый срывающийся голос из мастерской:

— Ты говоришь — хороша, Махмуд?

— Горлица!..

— Горлица смерти, Махмуд!

Удивительные люди эти женщины! Что он мог сказать матери? Не мог же он сказать любимой и уважаемой матери, что ее покупка и не нужна и плоха! Во-первых, покупка хороша, а во-вторых, рабыни будут помогать матери. Мать должна отдохнуть, он часто отвлекал Даждю от хозяйственных дел, читая ей стихи, и старухе приходилось чистить дом и ухаживать за козами. А теперь появился еще конь, да и мало ли что еще появится... А ребенок? Как можно забыть о ребенке?!

Он вбежал в мастерскую и хотел обнять подругу. Она отклонилась от него резким и быстрым движением:

— Она купила двух женщин! Женщин?!

Возбужденный славой, он не вдумался в ее слова о женщинах и сказал:

— Тщеславие старухи простительно.

— Для тебя?!

Он шлепнул ладонью по ее плавному плечу и, смеясь, сказал:

— Для меня вечно блаженство с одной.— И он прочел ей стихи, которые сочинил дорогой:

Мой нежный друг! Неужели ты забыла недавнюю любовь?  
Неужели ты можешь спокойно и беззаботно спать?  
Не я ли восклицаю тебе: проснись!  
Проснись, моя прелестная роза, мой благоуханный цвет.  
Проснись. Заря встает! Я пришел к Тебе!

— Убей их! — сказала она, приблизив к нему то самое наполненное страстью лицо и отуманенные глаза, которых ждал он.— Убей!

— Убить? Зачем?

— Зарежь их! — воскликнула она.— Они тебе куплены на любовь. Но ты их любить не должен.

И со снисходительностью мужчины, который не совсем понимает женщину, и почти наслаждаясь ее ревностью, он проговорил:

— За рабынь заплачены деньги. Надо их, раз ты желаешь того, продать.

Она сказала:

— Но они тебе куплены на любовь, а если куплены на любовь, честь не позволяет уже теперь продавать их! Так в моей стране не происходит. Их нужно уничтожить!

— Законы Багдада — иные.

И он оглянулся на Багдад, освещенный последними ярко-красными, самого густого цвета розы, лучами солнца. Мать Бэкдыль держала коня, который тяжело дышал, словно понимая смятенное состояние духа своего хозяина. Рабыня из Афганистана взяла у матери повод уздечки.

Он подошел вплотную к Даждье. Губы ее прыгали, обнажая два ряда мокрых и белых зубов. Он поцеловал ее, но поцелуй не был целительным. Она, оторвав от него губы и откинув стан, положила ему руки на плечи и сказала:

— Разве Закон твоей страны не принадлежит мне? А мой — тебе? Ты меня любишь? И ты умертвишь их?

— Я не понимаю, зачем мне умерщвлять их?

— Я — княжна. И неужели ты будешь спорить из-за каких-то рабынь ради любви княжны? Я — княжна

страны Русь! А одна из этих — византийка, а другая — просто падаль.

— Это будет избиением беззащитных!

— Жертву моей стране, по ее Закону, ты считаешь избиением?

— У вас искаженное понятие о Законе! И мне понятно, что ваша княгиня Ольга переменила Закон. Уж лучше византийский, чем такое искажение...

— У меня искаженное понятие о Законе? — проговорила она с ужасом. — Моя любовь — искаженное понятие?

Руки ее скользнули, чуть коснувшись его лица, и она, быстро пройдя дворик, скрылась в доме. Послышалось качание колыбельки, заплакал было ребенок, а затем утих. Должно быть, она кормила его.

Он стоял, прислонившись к притолоке, ошеломленно раскрыв широкий рот. И вдруг он почувствовал во рту едкий и соленый вкус. Он провел ладонью по лицу. Это были слезы. Что произошло? Он, такой сговорчивый с ней, и она, такая сговорчивая с ним? Не оттого ли, что она кормит ребенка?.. Но он?..

— Мать, — сказал он тихо. — Что с нею? Что за странная пылкость. Она требует — зарежь двух невольниц!

— Я слышала, — ответила мать, — могут быть и глупые законы, но это самый глупый. Не надо ее поощрять.

— Она поссорилась с этими двумя?

— Бросив на них только один взгляд? — И мать добавила: — Мало ли что скажет влюбленная! Такие проворные и сытые рабыни, — и вдруг зарезать? Я их так долго выбирала, — и зарезать? Закон?! Много стоит страна с такими глупыми законами! Она сама выдумала этот злобный Закон! Нет, сын, нельзя поощрять ее к таким разорительным поступкам.

Он вошел в дом.

Хотел было подойти к дверям, за которыми подруга качала, по-видимому, ребенка, но не смог.

Поднявшись на крышу, он сделал вдоль нее несколько шагов, пересек ее раза три, а затем, склонившись через парапет, еще теплый от солнца, которое уже скрылось, крикнул вниз матери:

— Мать! Поди убеди ее, что моя любовь неизменна. У меня не находится приличных такому случаю

слов! Я ее люблю! — повторил он громко, во весь свой гремющий голос. — А ей мало!..

Снизу, от дверей, донесся голос Дажды:

— Любовь должна быть деятельной. Докажи! Убей их. Я хочу поцеловать нож, покрытый их кровью! Вот он, последний из ножей, над которым мы работали вместе. На нем орнамент из роз и три лепестка на лезвии. Видишь? Возьми этот нож и убей!

— Никогда.

— Никогда?

— Иди сюда, Даждя, — позвал он тихо.

Ему ответил стон.

— Мать! Почему она молчит?

На крышу вбежала мать. Привыкшая подниматься по лестнице, она на этот раз запыхалась.

— Я нашла ее лежащей ничком! — крикнула мать. — Я так плотно ее кормила! Я так радовалась этой покупке!

## XL

Попировали славно! Кади Ахмет, отягощенный вином, хорошим поведением своего ученика и плохим — Джелладина, сажался на мула, чтобы ехать домой и рассказать там подробно о пире. К нему подошел евнух и сказал, что визирь повелел кади немедленно явиться к нему.

— Не находит ли визирь, что несколько поздновато нам видеться? — спросил кади.

Евнух ответил, что визирь не находит этого, и кади повиновался.

Путь от дворца халифа до дворца визиря — короткий. Однако кади, услаждая и свой путь, и путь евнуха, успел поделиться с ним своими воспоминаниями о константинопольских банях и массаже. А какое сладкое миндальное тесто и как оно приятно после бани!.. А женщины, тело которых белей и слаще миндального теста!.. Багдад, конечно, лучше, но когда у вас жена и полнолуние... Кстати, сегодня будет, кажется, полная луна?..

Визирь сказал кади:

— Мы с тобой не успели потолковать о Константинополе. Я был очень занят, прости, а теперь вот освободился вечер, и я призвал тебя. Ты не устал?



7. Вс. Иванов

Кади, улыбаясь, ответил, что разве он может устать на пиру, но вот не устал ли ты, о визирь?

Визирь сказал, что не устал, к тому же беседа будет коротка. Он приказал подать кофе, а затем спросил:

— Что же ты нашел полезного для нас в Константинополе?

Кади, захлебываясь от восторга, сказал:

— О визирь! Я открыл великую тайну.

— Вот как?

— Я узнал поразительную вещь, и совершенно случайно!

— Тем более поразительно. Горю нетерпением узнать ее.

— И ты узнаешь, о визирь! Слушай. Мне понадобилось починить одежду. Смотрю — шьют с чудовищной быстротой. Почему? А потому, что у нас — кожаные наперстки, а византийцы делают их железными. Железными, о визирь! Железными! Вот что нужно сообщить всем, и мы будем все одеты, обуты, и не будет тогда нищих, босых, оборванных. И ради интересов государства...

— А не лучше ли тебе поискусней судить интересы базара и не думать о государстве? — зловеще спросил визирь.

Кади побледнел и замолчал.

— Мне думается, — сказал визирь, — вы немногому научились, сопровождая эдесскую святыню. — И, помолчав, он спросил: — Кто составил песню «Я приду к Тебе»? Песню о ноже, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие — тремя полураспустившимися лепестками?

— Такие ножи делал оружейник Махмуд.

— А такие песни кто делал? Я знаю о ножах, а я спрашиваю тебя о песнях. Молчишь?

— Но, всемилостивейший, он не пишет таких песен!

— Какие же песни он пишет?

— Я предлагал тебе, всемилостивейший, выслушать его.

— Он сегодня мог их прочесть и не прочел. Почему? Быть может, ему не хотелось тревожить византийцев? Быть может, это византийцы покупали у него кривые ножи и платили чистым золотом, вес за вес?

«О Джелладин! — подумал кади. — Узнаю твой язык».

Визирь продолжал:

— Не скажешь ли ты мне, откуда стало известно византийцам, что русская княжна Даждья находится в Багдаде? Халиф, да будет прославлено имя его, очень интересуется этим. Мы ведь могли перепродать княжну в Вавилон или Индию, а византийцы упорно утверждают, что она в Багдаде! И почему они ее требуют? Не требуют ли ее, в свою очередь, у византийцев — русские? Ты не находишь?

— Возможно, о всемилостивейший, — пролепетал кади, вытирая мокрый лоб.

— Я тоже нахожу, что возможно. Но откуда русские могли узнать, что княжна именно в Багдаде?

— Ума не приложу, всемилостивейший!

— А не находишь ли ты, кади, что начальник вашего конвоя Махмуд побеседовал на эту тему с русскими купцами?

— Он виделся с ними один раз, всемилостивейший. Он боролся с их богатырем, и он не понимает их языка!

— Ты уверен в этом, кади?

— Я знаю это, о всемилостивейший!

И кади подумал: «Звезда Закона, Джелладин, узнаю твои шаги! Ты был здесь».

Вошел плечистый, с громадным черным зевом, человек. Кади вначале подумал, что иссут кофе. Плечистый нес мешок. Поклонившись визирю и не обращая внимания на кади, плечистый, скривив свой черный зев, опустил мешок на ковер у ног визиря. В мешке что-то перекатывалось, точно камень по сухому песку.

— Раскрой, — сказал визирь.

Плечистый человек раскрыл мешок. Визирь наклонился и, с интересом пошарив рукой в мешке, достал оттуда голову эмира Эдессы. С головы сыпалась окрашенная розовым соль. Визирь вглядывался, видимо надеясь увидеть страх в лице эмира. Но губы эмира были сжаты и глаза не отпускали век.

Визирь спросил:

— Не находишь ли ты, кади, что отрубленная голова всегда кажется короткой? А у этого эмира была длинная голова и еще более длинный язык.

И кади подумал еще: «О Джелладин, о проклятый язык Закона! Будь же и ты проклят».

И кади сказал:

— Я всегда в восхищении от твоего остроумия, о визирь!

Визирь продолжал, указывая на плечистого, с ртом длинным и грязным, как канава:

— Я дал ему свой любимый нож с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии. Нож этот он употребляет вместо моей печати, исполняя мои приказания, которые есть приказания халифа.— Он взял пергамент и, глядя в него, сказал: — Итак, разыскивается в Багдаде русская княжна Даждья, дочь князя Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки. Ты знаешь, кому и когда продаются рабыни, ты ведь базарный судья. Ты помнишь также, что мы неоднократно издавали приказы — обращаться с рабами милостиво. Но наши приказы не исполняются. Возможно, что не исполнен приказ и в отношении рабыни Даждьи. Быть может, ее нет в живых, кто знает? Или, вернее сказать, знает один Махмуд, ха-ха-ха! В таком случае,— я говорю о неисполнении нашего приказа,— человек, не исполнивший его, будет строго наказан. Его голову мы вынуждены будем положить в этот мешок с солью и выдать мешок и голову византийцам. Что поделаешь. Таковы законы дружбы. Халиф обещал выдать княжну. Труп ее выроешь и также передашь византийцам.

И визирь толкнул ногой мешок с солью, из которого была только что вынута голова эмира Эдессы.

— Голову эмира положи в новый мешок,— сказал визирь,— а с этим мешком поедешь вслед за кади Ахметом, куда он укажет. Так повелел халиф...

Кади низко поклонился и сказал торопливо:

— Да будет прославлено имя его! — Затем он добавил: — Мне не нужен мешок, о визирь. А того менее нужен человек с ножом. Даждья жива и через час, не позже, будет у тебя.

— Все-таки человека с ножом возьми. Вдруг окажется, что женщина привыкла, не захочет уйти или ее не будут отдавать?

— Она будет здесь, о визирь! Человек у которого она находится, хотя и любит ее, но халифа любит больше.

— Кади, ты плохо выбираешь слова. Любовь к рабыне ты осмеливаешься сравнивать с любовью к халифу!

— О, прости меня, визирь! Ум мой ослабел от забот.

— Вот поэтому я и думаю, что человек с ножом будет полезен тебе. Идите. Комнатный воздух ранней весной несколько расслабляет меня, я пойду отдохнуть, кади.

## ХЛІ

Влезая на своего гнедого мула, кади Ахмет пробормотал то, что висело у него на языке во время всего разговора с визирем, но что, разумеется, он не осмелился бы сказать визирю никогда, разве лишь увидав голову его в соленом мешке:

— У нас так торопливо снимают головы, точно нет других твердых предметов для мощения багдадских улиц.

И кади испуганно оглянулся. Плечистый человек сопровождал его на коне в почтительном отдалении.

Кади размышлял и не торопил своего мула. Да и что он скажет другу своему Махмуду? Одно лишь — что плохо помогла эдесская святыня и византийцам и арабам, и если произошло чудо, то плохое! Возлюбленную придется отдать. Жаль. Она превосходно сложена и высокого рода. Ну что ж. Поэты быстро забывают своих возлюбленных, это ведь не стихи. Кстати, о стихах. Это происшествие даст ему повод написать хорошее стихотворение, а быть может, и поэму.

— В конце концов Багдад имеет свои преимущества,— бормотал кади, утешая себя.— Для меня, во всяком случае. Я судья и сужу дураков, и это умирительно, даже и тогда, когда меня четвертуют за то, что я их судил плохо. Затем, я вернулся из опасного пути в Константинополь, где пил хорошее вино, и, кажется, отделался довольно легко. В Багдаде я и величествен, и немножко смешон. В Константинополе я был только величественным. И, наконец,— я забыл? — здесь моя жена, которая мешает мне быть и окончательно величественным, и окончательно смешным. Что мне еще нужно?

И он вздохнул. Ему хотелось, чтоб Махмуд был счастлив. Но только один аллах, если это вообще возможно, знает, сытый человеческими путями, куда и к какому счастью их направить. А что он может сделать, он, слабый кади?

Путь его лежал через базар. Базар шумел. Кади проехал уже половину базара и увидел вдали кофейню, в которой хотел угостить Махмуда яблочным пирожным. Ему стало тяжело, и он повернул мула.

— Самый короткий путь,—сказал он,— не всегда самый удачный.

И он поехал окольной дорогой, которая проходила мимо тайного кабачка. Он оставил плечистого сторожить своего мула и долго пил вино, наслаждаясь, что палач сидит без вина и что его черная пасть суха.

Затем он сказал содержателю притона:

— Я пивал и лучшее вино, а это ты разбавляешь водой, и, собственно, тебя б надо судить, но я устал от правосудия Багдада.

Но все же он вылил остатки вина в свою тыквенную баклажку.

И кади опять направился к базару.

Светила полная луна, и лавки были, за исключением отдельных кофейен, закрыты. Шныряли зубастые собаки. Он вспомнил свой рассказ о пророке Иссе и о красоте дохлой собаки, когда-то рассказанный им Махмуду, и кади снова загрустил. Вино не помогало. Вот он, друг Махмуда, собака, которой бы охранять его покой, едет, чтобы оторвать друга от теплого стана возлюбленной, от ее ослепительной груди, похожей на две луны в облаках тела, которой тот касается сейчас всем лицом, как мул кади касается земли всеми копытами. О ты, судья! Что ты везешь? Кого ты судишь? Ты гибелью, как плитами, хочешь выстлать полы жизни твоего друга.

Такие размышления были чересчур отяготительны. Душа его болела. Он счел благовременным стегнуть своего мула. Мул, однако, не спешил и не прибавил шагу. И кади Ахмет позавидовал своему мулу.

— Страдания животных многочисленны,—сказал кади Ахмет,— но неоспоримое преимущество их в том, что животные не знают грязного коварства Закона и среди них не бывает Желладинов.

Наконец он подъехал к домику Махмуда и постучал в ворота своего друга тыквенной бутылкой, отполированной до блеска долгим употреблением.

Обнимая мертвую Даждю, Махмуд стоял перед ней на коленях. Лицо ее было повернуто к луне, действительно льющей свой свет и медленно подвигающейся

по грузному весеннему небу. Он целовал горло жены, желая остановить поцелуями кровь, которая текла теперь так же медленно, как луна, и лицо его, и молодая курчавая борода его были темны от крови.

— Мать,— сказал он,— стучится друг. Отвори. Так он всегда стучал в Константинополе, когда мы привезли туда эдесскую святыню.

Мать Бэкдыль, желая утешить его, кричала первые попавшиеся слова. Она кричала, что любовь тем и хороша, что быстро проходит. И она кричала, что остался ребенок, и кто теперь будет кормить его. И она кричала, что вот стоят возле две сильные и вполне доступные девушки и не помогают горю. И она подскочила к рабыням:

— Что же вы молчите? Когда не нужно, вы многословны? Что вы растянули рты?

И так как те действительно растянули рты в улыбке, ибо они слышали, что старшая жена требовала их смерти, и они испугались, то мать Бэкдыль с громкой и подходящей к случаю бранью ударила их по широким твердым щекам.

И тогда соседи, прислушивающиеся к воплям, сказали, что у матери Махмуда иль-Каман, госпожи Бэкдыль, крутой характер.

Махмуд же повторил:

— Мать, открой. Мне нужен друг, и он стучится. Въехал на своем гнедом муле кади Ахмет.

Он сказал:

— Где твоя горлица?

— Вот моя горлица,— ответил Махмуд, и он возопил: — Она впустила себе в дыхательное горло мой кривой нож!

И он опять упал перед ней на колени и схватил ее мизинец своим указательным пальцем, так, как делал когда-то, в начале их любви. Мизинец был холоден и тверд, как гвоздь, и словно холодный гвоздь вошел в его сердце.

Кади спросил, так как не знал, что спросить иное:

— Это — Даждья, дочь Буйсвста?

— Это была Даждья,— ответил, не поднимая головы, Махмуд.

И опять, не зная, что сказать, сказал кади:

— Это умерло твое счастье, Махмуд.

— Да, ты прав, друг,— ответил Махмуд.

И так как он видел тень за спиною кади и думал, что это Джелладин, Махмуд поднял голову. Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синевато поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд увидел кривой нож, и он, знающий свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь волен дарить ножи кому хочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом.

И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Спешу.

## XLII

Так жил и умер поэт.

Он жил и умер в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, да будет прославлено имя его!

Он умер, но он и жил.

Когда началась великая война с византийцами, его воинственные песни воскресли и, словно сверкающий меч, встали над Багдадом и ринулись в самую гущу боя! И говорят, что мертвая голова поэта, которая, вместе с трупом Даждхи, увезена была нечестивыми византийцами в Константинополь, встала над бегущими в страхе врагами, и голову эту держал в руках призрак синеглазой, светловолосой Даждхи. И смеялась, торжествуя, голова, и смеялся прижимавший ее к своей груди призрак!

Таков конец романа о поэте Махмуде, об его друзьях и врагах и об эдесской святыне. Не будем судить ни его, ни друзей, ни подруги, ни визиря, ни халифа. С тех времен прошла тысяча лет, и имена их давно забыты. Забыты и песни Махмуда иль-Каман, и только иногда молодой араб, укрываясь от жгучего ветра пустыни за холмом, в своем рваном коричневом шатре, споет песню о возлюбленной, которую он еще не знает, и в песне этой упомянет о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками. Араб поет, но кем и когда написана песня, он не знает. Да и нужно ли ему знать?

*11 сентября 1946 года  
Рижское взморье*

**Фантастические  
или «таинственные»  
повести и рассказы**



## МЕДНАЯ ЛАМПА

Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие молодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре,— и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уж молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взъерошить, ознаменовать эти полные величия дни, этот жадный шаг в жизнь! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек покажусь я им со

своими девятью рублями семьюдесятью пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь небывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отмеряют так много, что уже и седина ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой паре и почему-то с серебряной чайной ложечкой в руке, стоит, вперив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены,— читаю я на его лице,— но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон,— меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им впору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейше заперты на засовы, замки, щеколды и охраняются множеством собак. А улицы гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится; губы вялы, будто из пастилы. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговаться?

— Пожалуйте, господин, пожалуйста! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шашки, на пороги лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного стекла и с роговой трубочкой, из которой запашистой струей цедится на ваши ноги едкая жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как полено, расщепили меня на части. «Бесстрастие, бесстрастие!» — шептал я, и, обратив, так сказать, это желание в наличные, я сделал самое бесстрастное лицо, какое только мог вообразить. Оно одновременно стало и рделым, — и тут меня приняли за зеваку. Руки торговцев, было остановившиеся, снова двинули шашки по клеткам. Приказчики вернулись к дверям, к конику и опять уставились в верхний угол лавки, где играли солнечные зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем, мне легче думать о покупке. Я — свободен и могу выбрать для своей любви все, что хочу!

— Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных плит. Город не избалован камнем — песок, да глина, да разве кирпич. Жара — летом, морозы и ветра — зимой зубасто и насмешливо мельчат все крупное, даже сахар и тот предпочитают здесь покупать не колотый, кусками, а песком. Поэтому каменные плиты тротуара для меня милы, как гребни Гималаев или Кордильер. Камни долго держат тепло, ступать по ним приятно — они нежат меня, благодаря им солнечный жар проникает насквозь.

Однако что же мне купить? Какой предмет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину, от окна к окну, беспрепятственно сближаясь с теми товарами, ко-

торым почему-либо суждено быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху, в упор, снизу, отхожу и немедленно забываю о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправа для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем мне они, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрызгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценою в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываюсь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флажками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекшей головой к стене, босяк. Возле ног его — медно-красный сосуд, похожий на крестьянский двухносый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Украины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подборо-

док, лошадино-мускулистая шея — покрыты слюной, а нос, лоб и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и яростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то, — повторяю я, — упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься, — привстав, говорит босяк. — Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А это коптилка, нос набок от вони своротит.

— Своротит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк. — Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закоптится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладьину лампу слышал?

— Не Аладьина лампа, а лампа Аладдина, счастливец такой был. Нашел лампу, открыл, а из нее Дух: что прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладдине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота, — смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привязался с этой покупкой! Зачем лампе у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающим пренебрежением в голосе спрашивает босяк. — Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слюну, вплотную подходит ко мне и холодно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее насовсем-то. Про-

даю на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой выгоды. Отпущу ее на часок, на полчасика — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денежки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк. — Я вызвал и пожелал.

— Что же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладьина всегда при мне находилась. За какую бы цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хмурюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдене в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю — китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папахой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волосатый, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю.

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру, как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей

семьдесят пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя на лицо босняка, которое делалось все более и более непроницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случилось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска, — сказал босняк, густо отхаркиваясь. — На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не зарабатываешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит; в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может, — сказал грустно босняк. — Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные шашни начнем вступать, от нас живой нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скурился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа, — утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием. — Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно.

Босняк показал на углубление возле ручки:

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство... — это я его так научил... —

Какие, ваше высокопревосходительство, распоряженья, какая выпивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, простота, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк. — Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман», — думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались на девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы. Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я на четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Аладдина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким сказочно-огромным, плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кепку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Аладдина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потерять ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь за углом спрятался босяк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное местечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, мерной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышались шаги. Догонял босяк:

— Эка дрябла память! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернул к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, полоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ глины.

«Ну что ж, попробуем,— сказал я сам себе, глядя на лампу.— Прокатимся в будущее и в прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам босяка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженном водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебным блескит солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я босяка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалила его, как орехи на огне,

и оттого я посердобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было б и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему саквояжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнить и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посередине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира. Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с наивозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю произвести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде ска-терти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неразменного рубля. Мои симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытаюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь? Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе сущность внешних предметов, независимо от моих, возможно даже самых фантастических, представлений». Должен признаться, что я тогда еще не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире. Лампа способна доставить и поставить ме-

ня на это место, но в ее обязанности не входит указывать мне на это место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любые сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер или в эту самую волшебную лампу Аладдина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых,— что такое счастье? В восемнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не слышали б о лампе Аладдина, находящейся в руках босняка, и не стерли б ее до размеров пятака, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви,— добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде,— и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну, конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором

России, я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а они, кажется, не очень настаивали на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император! Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на троне. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не измелючу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь подвигам ради счастья людей. Он исходил землю, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно: почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выйди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы драконов, и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы про-

славился и все начали бы говорить о нем... Да, старик был слабее меня, зато он обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чурку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подальше и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пешком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды охотничьих желаний, честолюбия и удачнейшего возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конокрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно отбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канаусный цвет краями и начало лениво биться в песок. Оно оторва-

лось от проходившего мимо плота; начался, по-видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их повезут на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»?

Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем.

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и певучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!

И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типографщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем! И мне сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь. Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да,— как это и случилось с кое-какими архиереями,— скорбь взмахнет крылышками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как мешок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые дисканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церкви!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности.

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот, тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома»

и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще на ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капает вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную матерню себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Торопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижается, лжет, клеветает или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социология, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все сте-

пени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной, плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на последний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут такая, поди-вот». Кусочки глины с цветочным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я. — Ты, брат, не плутуй!

Босьяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и всё!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскочил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пламенной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей Михновым, семипалатинским мещанином, который был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли! Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение, и она так

уверена в силе этого вдохновения, что не побоялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалкого пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре покинула Павлодар, перебравшись зачем-то в Семипалатинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михновым, мне эта встреча казалась не очень-то умно рассказанной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка, выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магазине медную лампу. На первый взгляд она мне показалась очень похожей на ту, которую давал мне Вася Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа совсем другая. По-видимому, я просто тосковал по молодости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли, что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спустя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуцкой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипалатинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил или взял силою какой-то пьянчужка, некто Вася Михнов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой. Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребенок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье свое», — добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

3 октября 1944 г.—

16 ноября 1956 г.

---

## ПОЕДИНОК

### *Подмосковная легенда*

Странная эта картина висит в большом двусветном зале дома Гореловых. Я видел ее, когда огненно-желтый и сердитый закат заполнял своим странно струистым светом комнаты дома. Ликующий, торжественный свет этот создавал в сердце чувство обилия, плодovitости, даже излишности. Вот почему то, что рассказали мне об этой картине, не удивило меня.

Дом Гореловых стоит на холме, высоком и глинистом, спускающемся к пруду. Пруд вялый, коротенький, какого-то сивушного цвета и запаха. По одну сторону холма лежит деревня, по другую расположено ровное, без васильков и ромашек, поле, устало преющее под высоким и жарким солнцем. За домом виден парк. Он очень хорош.

Некогда в доме, у хозяйки его, — вдовы, красавицы и умницы, пять-шесть недель гостил величайший русский поэт, и здесь он написал несколько своих стихотворений, шаловливых, коротеньких, острых, словно писанных осокой... Вот эти стихи-то его и превратили старый дом в музей, остановили, словно заморозили, мебель, бросили на стены акварели и старинные портреты, развесили диаграммы, положили на столы, под толстые и непреложно исторические стекла, письма бабушек и дедушек... поэт недаром был проказник!

В узкой комнате, перед парадным залом, висит портрет офицера в гусарском мундире. Вы видите человека с чистым и ярким лицом, жилистого, с крепкой шеей, с большими глазами, не жгучими и не колючими, а теми глазами цвета египетской яшмы — светло-зеленой в красных брызгах, которые всегда указы-

вают на упорный и настойчивый характер. Да и все — посадка головы, плечи, спелые губы, — все говорило: этот не из зерноядных. Поглядев на портрет, вы непременно пожелаете узнать: кто это такой? Вам назовут имя Ивана Евграфовича Горелова, и вам покажется, что ответ этот требует разъяснений.

Вы пройдете в зал и невольно остановитесь перед странной картиной. Вы подумаете, что есть какая-то пленительная и грустная связь между картиной и портретом Ивана Евграфовича. Вы угадали.

Идемте в парк, сядем на дерновую скамью на берегу пруда. Вылезут вечерние облака, усталые, видимо уже помыкавшиеся по свету. Пруд будет гореть и сиять, как будто впервые полюбил, а на хворостине пастуха, гонящего колхозное стадо, вы увидите такое сияние, словно он несет часть солнца, да и стадо будто намылено светом. И тогда провожающий вас, любуясь убранством пруда, вдруг скажет:

— Не вы первый удивляетесь странному сюжету картины, тем более что художник, ее написавший, отличался всегда ясностью замысла. А тут что такое? Какой-то песок, камни, мелкий кустарник. На камне, должно быть, сидел воин, потому что возле брошены ножны меча, щит, плащ синий с серебряной каймой. На песке, по направлению к вам, отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин уперся, перед тем как выпрыгнуть... из картины.

Провожавший посмотрит на вас. Вы молчите. Вы немо ждете, — вечер такой, что для вас нет ничего удивительного в том, что воин ушел из картины... вы хотите только знать — почему? Провожавший поймет ваш стойкий интерес к рассказу. Он будет продолжать:

— И не вы первый находите нечто общее между картиной и портретом Ивана Евграфовича, хотя, казалось бы, что там общего: гусарский офицер и какой-то воин, существовавший полторы тысячи лет до этого гусарского офицера. Общее есть! Это общее... Но прежде — Иван Евграфович любил и был любим. Любила его Иринушка, впоследствии Ирина Матвеевна<sup>1</sup>. К сожалению, портрета Ирины Матвеевны не сохранилось. Говорят, есть акварель в Историческом музее. Бывал я в Москве, акварели не обнаружил. Была она краса-

---

<sup>1</sup> Ошибка автора. Следует читать — Григорьевна. (Прим. ред.)

вица — вечно алчущий Иван Евграфович преклонялся перед нею.

Прапрапрадед мой Иван Евграфович, скажут вам, жил суетно, беспутно. Враки! Таким суетно всесокрушающим изобразили его и на портрете. А изображал его человек, который его не любил, как не любили его и многие прохвосты и взяточники. Иван Евграфович был страстный правдоискатель, и, отчаянно ища правды, он доходил до неистовств, лютых и необыкновенных, вроде того, о котором я буду рассказывать.

Как офицер, он понимал, что правда требует оружия: это не красавица, что сражается мушками, наклепленными по лицу. Вот почему был он дуэлянт, — но не «бретер», — и если уж бился, так бился столь внушительно, что лицо противника «вылакировывалось», то есть покрывалось от испуга потом, через пять минут после начала поединка... И, как все увлекающиеся люди, он часто путал средства с целью. Карточную игру он считал тоже поединком.

Встретил подлеца, — графа Глобского, — думает: «Момент хороший, надо сразиться и отомстить графу на зеленом поле, потому что для него разорение горше смерти, наплевать ему, если я его убью!» Дело в том, что и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови. Суворов за умную храбрость похлопал Ивана Евграфовича по плечу, на Глобского и не взглянул — тот был хоть и храбр, но глупой, бестолковой храбростью. А нужно сказать, что у Глобского имелись в Петербурге, при дворе, друзья, которым он писал. Припомнил Глобский, что говорил Иван Евграфович непочтительные слова о любимце императора Кутайсове... и вместо награды получил Иван Евграфович внезапную отставку и приказание отправиться в свое имение.

Вот при таком-то состоянии и встретился, повторяю, Иван Евграфович, по дороге домой, в одном губернском городе, с графом Глобским, встретился, и мелькнула в нем коварная мысль: «Сражусь». Сразился. И — проиграл! Да и вдобавок так проиграл, что ни зерна не осталось. А проиграть не от беспутства, а от обиды гораздо тяжелее. Смертоносная злость овладела Иваном Евграфовичем. Притом же он не мог теперь исполнить повеление императора Павла: отправиться в свое поместье, поскольку он это поместье проиграл.

Как быть? К друзьям приехать — испугаешь, опальный... одна надежда на невесту, на любовь, на Иринушку.

Иринушка звалась его невестой давно. Но, видимо, из-за несовершенства почты Иван Евграфович более полугода не получал от невесты писем. Он объяснял это еще и малым количеством событий ее жизни, а во-вторых, искренностью ее чувств, что мешает, как известно, возможности их выразить. Подколодности ее родителя он и не подозревал, наоборот, родитель ее осуждал неметчину Павла и восхищался вдохновенностью Суворова, так и говоря:

— Он у нас малиновый звон славы россов!

Что такому человеку опальность, в которую ввержен Иван Евграфович? Беспечно посмеиваясь, велел Иван Евграфович слуге своему Трошке укладывать чемоданы и поворачивать в сторону, где жили родители Иринушки.

А беспечно посмеивался-то он напрасно! Григорий Григорьевич сын Постников, отец Иринушки, к сожалению, проявил бесстыдную подколодность. Началась эта подколодность издавна. Был в нашем городе богатейший купец Кепинов, как оказалось позже, умалишенный, слабопамятный. Так вот, запутавшись в делах и желая выкрутиться, Григорий Григорьевич попал в беду, — да еще помог той беде советчик, некий прохвост Султановский. Как бы то ни было, Григорий Григорьевич от имени купца Кепинова составил подложный акт, употребил его для своей выгоды, а Султановский и его приятели Тандырин и Калипаров ложно засвидетельствовали при свершении этого акта правоспособность купца Кепинова, который в это время лежал мертвецки пьяный и блял по-бараньи. Неправоспособность Кепинова быстро открылась, равно и противозаконный акт, совершенный Григорием Григорьевичем на старости лет... Конец! Следствие. Приговор. Канун гибели. От горя и стыда оплешивел Григорий Григорьевич, ноги его стали дрожать, а в груди он чувствовал бесцельный гул.

Но вдруг в наружном виде его появилось большое изменение — и к лучшему. И в то же время образ Иринушки побледнел и осунулся. Знакомый офицер из армии Суворова сообщил Григорию Григорьевичу о «некоем бесконечно огромном несчастье с Иваном Евгра-

фовичем Гореловым», по всем намекам — опале. Григорий Григорьич, зная, что это только опала, домашним и дочери сказал, что — смерть, и подробно написал причины дуэли, на которой погиб-де Иван Евграфович, и даже похороны его! Гасил он жизнь Ивана Евграфовича потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакатной, а для того, в частности, выдать красавицу Иринушку за богатейшего и, главное, влиятельнейшего барина нашей губернии Максима Петровича Устинского.

Иринушка, узнав о смерти Ивана Евграфовича, горевала сильно. Но горе при красоте как весенний дождь, — все медведи и все травы из берлоги лезут, — и появился возле Иринушки в алмазной одежде, трепещущий от страсти, Максим Петрович Устинский, голова которого хоть и успела вылыситься, но сердце не теряло надежд.

Превосходно, казалось бы, все идет? Дело о бесправности купца Кепинова внезапно повернулось в другую сторону. Вышло, что сам купец Кепинов ходил и лично являл акты и «никаких злоумышленных изменений, — как признало столичное начальство, — в них не допущено». И дальше то же крупное и спокойное начальство говорило, что «действия лиц, принимавших участие в составлении актов, не заключает в себе признаков подлога, предусмотренных статьями...», и что надо «приговор и все производство по делу купца Кепинова отменить». Его и отменили.

Судебный приговор легче отменить, чем любовь. И офицеришка, женишок этот, Иван Евграфович, исчез, помер, так сказать, и родители довольны, и невеста безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь... А родители и новый жених просто не догадывались, что Иринушка — упряма и с размышлениями, она если замашет крылышками, так полетит.

Размышления ее начались с грации. Тогда, знаете, во всем должна была существовать грация: и если уж бились на рапирах, так будто балет танцевали. Естественно поэтому, что жениха своего бывшего, Ивана Евграфовича, она видела во сне скачущим, подобно козочке, по виноградникам Италии и даже по Альпам, да вдобавок делающим вот этак своим эспантоном! Приснись ей и новый жених, — в те времена женихи снились обязательно, — и приснись в таком неграциоз-

ном виде: он, знаете, идет из бани зимой, шуба внакидку, лицо багрово, и к уху банный лист прилип, а лакей позади, несет веник. Тьфу!..

И вдруг замечают, что Иринушка зачастила в церковь. А церковь была обычная. Попишка Игнатий был тихий пьяница, службу исполнял без особых дальних звезд и грации и больше все лежал у себя в огороде — зимой в баньке, а летом промежду грядок «у грудей природы», как он говорил своим заунывно-семинарским голосом. Славилась церковушка началом иконостаса... именно началом. Светозарные руки его делали!

Максим Петрович Устинский при незакатном богатстве своем имел преклонение перед красотой во всех видах, в том числе ценил живопись, которую считал преобразователем человеческой природы. Желая невесту свою приобщить к сему преобразованию, он пригласил в усадьбу к Постниковым знаменитого в те времена, да и поныне, художника. Художник славен был кистью, славен был и резцом, особенно по дереву. Максим Петрович и закажи ему сразу иконостас — резной, золоченый, ласкающий душу и взор, а одновременно с тем картину «Георгий Победоносец накануне поражения дракона».

Георгия Победоносца издавна чтили у Постниковых, как и вообще на Руси, ибо был он покровителем Москвы, существовал, — поражая дракона, — на государственном гербе, а при царе Федоре Ивановиче монету с изображением его для ношения на шапке или рукаве выдавали особо храбрым воинам, так что Григорий Григорьевич, отец Иринушки, будучи отставным воином, естественно, должен был порадоваться случаю, что будущий зять придумал такую красивую картину, тем более что умерший якобы Иван Евграфович неслышно маячил в сердце старого вояки, как тот самый дракон, который опустошал землю и пожирал девиц и пожелал пожрать девицу — дочь царя, чему воспрепятствовал Георгий, поразив дракона рокочущим мечом своим.

Искусство требует внимания, как кристалл семигранника требует воды, — и не будь этой воды, кристалл не даст преломления света, не даст игры, если не рассыплется вообще. Так случилось и с художником. В этой глуши, в этой жалкой церковушке, для которой он резал иконостас, в этом провинциальном зале

с задумчиво дрожащими полами он не видел вечных лампад внимания. Он затосковал! Он все меньше и меньше принимал воды и все больше вина и все больше сваливал вину на грустный «сюжет». А что грустного в сюжете картины?

Знатный воин Георгий во времена Диоклетиановы приезжает и останавливается неподалеку от города, который опустошает дракон, так что царь и граждане принуждены отдавать ему на съедение детей своих. На завтра надо отдать царскую дочь змию! Георгий обещал умертвить змия, а змий осьмиглавый, ловкий, сильный... И хотя воин был очень храбр, но, естественно, задумался. Сидит он на камне в пустыне, перед городом, и думает: «А если не выйдет? А если сила и вера мои слабы? Ведь раньше, когда я не был полным христианином, я дрался одним мечом и мог его в случае нужды перебросить в другую руку. Здесь же рука будет занята крестом!» — и тому подобное в этом роде, когда солдат размышляет перед сражением и ищет слабые места у себя и у противника... Размышления естественные. Что же здесь грустного?

Мне думается, что художник, до известной степени, образ дракона видел в Максиме Петровиче, — отчего и грустил. Я не хочу сказать, что художник полюбил Иринушку и желал быть до известной степени Георгием Победоносцем, нет, — художнику было за пятьдесят, а в таком возрасте не всякий гонится за романами. Так или по-другому, но Иринушка прочла симпатию в глазах художника и часто стала приходить к нему во время работы. Художник в то время больше думал о картине, — подмастерья его резали иконостас, — и в думах он многое рассказал Иринушке о Георгии, и в частности, о том, как после поражения змия царевна на своем поясе привела его в город и как весь город перешел в христианство.

Выслушав, Иринушка сказала:

— Христианство — понятно. Но зачем ей такую пакость приводить в город? И... ах, как жалко, Николай Владимирович, что перевелись у нас Георгии! — И ей показалось, что Георгий, еще слабым контуром обозначившийся на полотне, несколько схож с Иваном Евграфовичем.

Видят домашние, что Иринушка перестала пламенно интересоваться миром, — другую ищет грацию. До-

машинные огорчились, торопятся со свадьбой, а тут Иринушка вдруг да объяви, что уходит в монастырь, понеже «дракон мира сего гнетет ее»! Вот тебе и на! Родители рассердились, отец даже слегка погулял кулаком по ее лицу и бокам, но и это мало помогло. Иринушка уехала в монастырь и поступила на испытание. И вот в эти-то отчаянно грустные минуты, когда экипаж с Иринушкой въезжал в монастырские ворота и монастырские собаки подняли тусклый лай, и когда страстно ожидаемая тишина и благолепие осенили ее, и когда казначейша, рябая баба со шнуровой книгой в руке, почесывая бок, высунула голову в окно и спросила у кучера: «Чьих будете?» — вот тогда-то и прискакал в усадьбу к Постниковым, к отцу ее, к милой невесте опальный офицер Иван Евграфович Горелов.

Прискакал, можно сказать, невинный ни в дожде, ни в засухе, а оказался причастным ко многому. Входит он в зал, где незаконченный Георгий: в лице некая дымка и нос утлый; художник собирает кисти: с отъездом Иринушки совсем опротивели ему эти места, и, не дописав картины, он решил покинуть их, сказав неопределенно, что вернется... входит, кланяется, смотрит искоса вверх, на лестницу, и все ждет выхода Иринушки, хотя за два перегона, еще на постоялом дворе, сказали ему, что боярышня-то в монастырь ушла. Он, конечно, взбесился. Как так? Письма писал любовные, с бесчисленными помарушками и скоблешками, что доказывает, как известно, матерую страсть, подтверждал любовь и давал сроки, а тут — на тебе! — перед самым приездом и в обитель. Кто виноват? Никто, oprичь родителей!

А родители стоят вверху и боятся спуститься по лестнице. Подойдут к ступеньке, а нога-то и не поднимается. Старуха прямо крестится: «Помяни царя Давида и всю кротость его», а старик расправляет грудь. Как сказать парню, что записали его в синодик, и называли его усопшим и в дмитриеву субботу, и в фомин вторник, и в великий четверток? Ведь он может и спросить: «Значит, писем не получали? Как же такое, ведь почтмейстер мне говорил, что аккуратно вам письма пересылал?» И помилосердствовать некому будет, окажутся они великими и подлыми скрывателями любви и честности! Плохо, плохо. А как дойти было до такого зломудрствования, что живого человека,

хоть и опального, но все же офицера его строгого императорского величества Павла, вписали в поминанье, в синодик? Ах, как нехорошо!

Но был же старик в войске. Понюхал он трижды табачку, чихнул, велел кучеру Егору Крохалю, что не только двухпудовиком крестился, но и бросал его на пять сажень, стать возле парадного и ждать крика. Старик взял под руку старушку, и спустились они вниз. Но разговор неожиданно даже оказался кротким и почти милым! Иван Евграфович своей степенностью, знаниями, походами и знакомствами чрезвычайно понравился старикам, равно как и старики ему. Однако гордость не позволяла им сознаться в своем преступлении, да к тому же и медведь-жених с его тысячью душ не совсем еще отказался от невесты, а, так сказать, лежал подле жизненной межи, в овсах. Нельзя похвастаться, чтобы Иван Евграфович отличался проныцательностью. Сидит он, смотрит на стариков и думает, что старики уже не в приводе невода ходят, не ведут его, а сами сидят, подобно пойманным рыбкам, в самой мотне!

Тряхнул он головой и сказал:

— Верю, что убит я и похоронен, потому что чувствую себя ужасно! Но ведь должны мои страдания уменьшиться, раз ваши увеличились. Келья — не Максим Петрович, а все же — келья... — И, впадая в злость, Иван Евграфович спросил: — Кто же ее соблазнил в монастырь?

Родители говорят, что художника кисть роковая, — кстати сказать, художник уже сел в тарантас и уехал. Иван Евграфович видел рябое и малойгривое лицо художника, — не приревнуешь. Он желал видеть кисть его! Ему указали на картину. Картина как картина. Сидит воин, смотрит на тебя в упор, думает о чем-то своем...

— Нет, не в картине тут дело! Вот, говорят, иконостас в церкви расписной, резной, золоченый... может быть, иконостас?

— Всенепременно, всенепременно: иконостас причиной! — восклицают родители, которым бы только его сплавить, ибо, увидав его горящие очи, опять перепугались они и решили сбежать к неудавшемуся зятю Максиму Петровичу посоветоваться: как относить-

ся к опальному офицеру? Есть он лицо неприкосновенное и государственное или же разрешается его бить двухпудовым кулаком по шее и гнать вон?

И направился Иван Евграфович к попику Игнатию, чтобы с ним вместе пойти в церковь подивоваться на иконостас.

Идет он через парк, прямо по крапиве, и хоть он не дальновидец, все же понимает, что со стариками тут дело неладно, но из благородства и уважения к будущим родственникам своим старается подыскать им оправдание, снять с них некоторую тяжесть обвинения! И все-то он краешком где-то надеется, что зарученная девица будет при нем, и в мысль ему не придет, что родители тем временем, пока он шагает по парку, пишут письмо к... игуменье, чтобы Иринишку ни в коем случае не выпускали вплоть до самого скорейшего пострига... А был уже вечер, вроде теперешнего... очень теплый и хороший!..

Да, вечер был действительно замечательный. Он словно обижался на то, что вы так невнимательно смотрели на него доселе. Облака мощно расправили крылья, будто им было невмочь хранить в себе такую красоту — лиловую, розовую, палевую. Пруд лежал бледный и бессильный, как брошенный летчиком парашют. Берега его были как бы просмоленные. Пахло от них тягуче, тоскливо. Отпускали они эти запахи медленно, с неохотой. И вам подумалось, что, наверное, Ивану Евграфовичу было сильно тяжело и грустно невыносимо, когда он в последнем отчаянии поисков шел в церковь, зная, что тщетно это желание найти истинные причины ухода своей невесты.

Приходит он к попику Игнатию. Попишка, как всегда, спит возле своей баньки в лопухах, мухи спят возле его рта, попадая цедит молоко... Вот тут и разговоришься! Однако Иван Евграфович несколькими бешеными словами пробудил попика. Тот, подавая ему ключи от церкви, сказал, зевая и вежливо закрывая свой рот листом лопуха:

— А ты, сыне, не на иконостас смотри, ты, сыне, воззришь на ту картину, на тот его лик, который побоялись поставить в церковь, а водрузили в зале.

Сказал и заснул.

Иван Евграфович — по неумолчной грызне мыслей — не обратил внимания на слова попа и поспешил в церковь.

В церкви было уже темновато. Трошка нес фонарь. Дошли почти до амвона. Должно быть, причт недавно служил — из церкви еще не вышел запах ладана, хотя сквозь открытые окна, через решетки, сильно несло сеном, стога которого возвышались возле парка. Иван Евграфович велел Трошке осветить иконостас. Дверь была открыта, но ничего, кроме легкого шороха на могилах кладбища, не было слышно. А кладбище большое, хотя деревушка и не славилась величиной, но так уж повелось, что умирали и рождались усердно, сколько ни казнили их бояре, голод да мор...

Стоит Иван Евграфович и размышляет, и мысли цепкие и свирепые. Трошка открыл фонарь, переменял свечу, утих и последний шорох, значит, и послезакатный ветерок прекратился. Равномерный свет лился из фонаря на иконостас, еще не позолоченный, а нежно-синеватый, будто весенние тучки.

Трепетно-жгучая рука вела резец. Упоительно нежны линии; пламенны, как долгожданная ласка, растительные орнаменты: виноградные листья, лилии и нарциссы; бурны провалы, где будут стоять образа... коварно сердце художника, далеко способно оно увести! И пожалел Иван Евграфович, что плохо присмотрелся к картине. И тотчас же вспомнил он слова попишки Игнатия. Захотелось ему обратно в зал, да ночь, да небось старики уже легли спать... Э, что тут старики?!

Иван Евграфович повернулся. Трошка за ним. Они вышли на паперть. Тишина безмолвным роем колких и прозрачных мыслей окружила его. Сквозь деревянную ограду видны были кресты кладбища, а за ними возвышались стога, как гигантские могильные холмы. Но не смерть жила у этих холмов, а жизнь! Возле одного стога кто-то довольно, и громко, и сладко посмеивался, — наверное, девка над парнем, и сено шипело, задеваемое то ли плечом, то ли жердью, которой укрепляют сено от ветра. Жизнь нужна Ивану Евграфовичу, жизнь, которую можно взять только борьбой, хотя бы с самим Георгием Победоносцем!..

Трошка по-прежнему с фонарем, где теперь пронзительно и ярко горела свеча, стоял возле Ивана Евграфовича. Полукафтанье со сборками по бокам, даже и

оно, казалось, изображало в нем внимание: он-то знал, насколько его барин отчаянный.

— Трошка,— воскликнул Иван Евграфович,— сегодня будем биться!

— А чего ж не биться,— ответил Трошка,— биться — оно хорошо: спать не хочется потом.

— Свети к дому!

Подходят к дому.

— Барин спит?

— Где там спит,— отвечает дворня,— уже час, как уехали.

— Куда уехали?

— А разве нам, холопам, докладывают, куда они уехали; запрягли тройку самых рьяных и уехали.

— Так?

— Так, Иван Евграфович,— ответила дворня почтительно, уважая величавость его.

— Свети в залу! — закричал Иван Евграфович и ринулся в зал.

Подошел он к полотну. При узорном и шатком свете фонаря лицо воина показалось ему довершенным,— и даже сверх того. Какой великий талант у этого рябого и скучного на вид человека! Днем лицо бесстрастно и грубо, а вечером, когда как раз соблазняют девушек, оно благоуханно и сочно. И никакой кротости!

Со всей учтивостью, на которую он был способен, Иван Евграфович приблизился вплотную к картине и проговорил:

— Ваше сиятельство! — Он не мог обратиться с более высоким титулом, потому что артикул не позволял ему вызывать августейшую особу, но с сиятельствами он дрался не раз.— Ваше сиятельство, Георгий! Вы взяли у меня непорочное существо... Вы некоторым образом обольстили его, зная, что вы безнаказанны. Но, поставив вас здесь, а не в церкви, художник придал вам светскость. Поэтому я поступок ваш считаю непозволительным!

Призрак на полотне смотрел на Ивана Евграфовича вдохновенными и вещими глазами и молчал. Иван Евграфович не отличался сложностью и витиеватостью речи, но он верил в ее волчью выразительность.

— Ваше сиятельство,— продолжал он,— вы погибли при Диоклетиановом гонении, промучившись восемь дней. Зачем же вы заставляете мучиться других? Что

в этом вы находите прекрасного? Чем виновата дочь дома сего?

Несмотря на некоторые славянизмы, которыми Иван Евграфович думал тронуть призрак, полотно по-прежнему молчало. И тогда Иван Евграфович заговорил еще более резко:

— Вы, ваше сиятельство, признаны покровителем Москвы. Вы топтали татар, ляхов, литву, вы помогли нашему отечеству. Ради отечества я, ваше сиятельство, уже участвовал в трех сражениях и трижды ранен, последний раз при Нови. Ваше сиятельство! Сквозь огонь ран я вижу нового врага, который — не дай бог... — может приблизиться к защищаемой вами Москве. Я говорю о Наполеоне, ваше сиятельство, с которым я сражался! И меня, защитника Москвы, вы, ваше сиятельство, изволили кровно обидеть: увели в монастырь девушку, невесту. Если вы действительно Егорий Храбрый, то так храбрые люди не поступают! Я недоволен вами, ваше сиятельство, прошу меня простить. Я — грешен, я, может быть, за эти слова буду в аду, но я недоволен вами, ваше сиятельство!

Призрак безмолвствовал. Ивана Евграфовича это начало уже сильно раздражать. Он наклонил лобастую упрямую голову и зарычал. Дело в том, что он хотя и служил в кавалерии, но если приходилось говорить, то речь его пестрила теми терминами, которыми так славятся моряки, понося непокорное море и малопокорные обстоятельства. Пошатываясь от возбуждения, он кричал:

— Да, сударь! Я не позволю тебе так тускло смотреть на меня. Я тебя так оскорблю, что вся твоя кротость слетит, как полива с горшка!

Он достал перчатки и поспешно натянул их на руки; с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски.

— К барьеру, сударь, к барьеру! — сказал он, взмахивая перчаткой.

И вдруг Георгий весь покрылся краской, привстал с камня и сказал:

— Впервые такого дурака встречаю. Почему так бранитесь, сударь? От десятка ваших слов я был бы уже у барьера. Где ваши секунданты? И где шпаги?

— Трошка, беги за шпагами! — сказал обрадован-



ный Иван Евграфович.— И зови того лысого чиновника с шишкой под ухом, с которым мы в трактире познакомились. Да и того дворянина, у которого на левой руке мизинца не хватает. Он, по всему видно, человек музыкальный! Скажи, долго морить не буду, помутится вода с песком, поляжет противник вверх дном.

— Увидим, сударь, увидим! Зачем хвастать? — сказал Георгий, с удовольствием расправляя ноги и руки и разглядывая фонарь, который Трошка оставил, убегая за секундантами.— Вообще замечу вам, что вы многословны и любите преувеличивать. Скажите на милость,— я не в оправдание свое говорю,— зачем мне нужна ваша невеста? Монахиня из нее будет плохая,— все о женихе да о женихе, да и к тому же характера она сварливого.

— Кто? Иринушка — сварлива? — в крайнем негодовании воскликнул Иван Евграфович.— Сударь, за это вы мне ответите еще фунтом мяса!..

— Увидим, сударь, увидим.

Георгий Победоносец был невысокого роста, в синем нарядном плаще, стянутом тонким металлическим ремнем. Говорил он несколько простуженным голосом, и, видимо, его терзала чуть ли не невралгическая боль, а может быть, и на камне эму надоело сидеть. Он ходил мелкими шажками по ковру посредственной работы, пересекавшему зал. Ему, видимо, очень хотелось поговорить, но так как перед дуэлью противники должны молчать и даже не глядеть друг на друга, то он ходил молча по одной стороне ковра, а Иван Евграфович, тоже молча, по другой.

Трошка вернулся быстро. Он настолько привык к поединкам, что для него схождение Георгия с картины нисколько не казалось удивительным, и он даже не ссылаясь на это странное происшествие, когда будил мертвецки пьяного чиновника и дворянина с отрубленным мизинцем. Трошка сообщил, что он кричал ревом, но дворяне спят, и вообще все село спит, и секундентов достать неоткуда! Тогда Иван Евграфович волею-неволей обратился к своему противнику:

— Может быть, вы, ваше сиятельство, сочтете возможным пригласить одного из своих соратников? Я же обойдусь без секунданта.

— Вы, сударь, плохо разбираетесь в обстоятельствах, благодаря которым я имею честь не только бесе-

довать, но и драться с вами,— сказал Победоносец.— Разрешите несколько подробнее остановиться на них. Почему я здесь? Почему я откликнулся на ваши слова? Почему сошел с полотна? Это происходит редко и только тогда, когда великий художник ошибочно отказывается от образа, им почти созданного. Тогда жизнь — воплощением которой в данный момент явились вы — призывает и *воплощает* нас, художественный образ! Непонимание художника, отказывающегося от своего замысла, и внимание жизни, верящей в осуществление этого замысла,— таков закон, благодаря которому мы, дети полуйскуства, полужизни, являемся в мир, дабы помочь людям. Согласно с Аристотелем, философ Теофраст,— не знаю, как вы, а я его, между прочим, ставлю очень высоко,— кроме нравственных добродетелей, признает еще и умственные. Тем естественнее имеющееся в его «Этике» место, что он созерцательную, теоретическую деятельность ставит на более высокую ступень, чем практическую. Или возьмем Фому Аквината. Он видит следующие потенции души: «растительные» (*vegetativae*)...

Иван Евграфович не силен был в теоретических науках, но сердцем он чувствовал: здесь что-то неладное. Надо сражаться! Умствования призрака действовали на Ивана Евграфовича расслабляюще, да к тому же он явно увиливал: не желал сказать — каким путем, в случае поражения, он намерен возратить Ивану Евграфовичу невесту.

— Тогда придется делать дуэль без свидетелей, ваше сиятельство,— сказал Иван Евграфович.— Но даю слово, что никогда ни одного дуэльного правила не преступал. И не собираюсь делать то и сейчас.

— Без свидетелей я даже предпочитаю,— сказал Георгий, сбрасывая плащ,— шелк дымчат и голуб,— и плащ этот пал на камень картины, где и застыл мазком живописца!

Трошка зажег огарки, достал бинты и корпию,— он умел слегка лечить, а коней лечил уже совершенно,— и, прислонившись к стене, стал ждать результата. За своего хозяина он не беспокоился, хотя противник, сбросивший плащ и оставшийся в коротенькой серой рубашке, казался очень ловким и сильным. «Ишь вылизанный какой монах-то,— подумал Трошка, ковыряя

пальцем в ухе, — с таким придется барину помаяться. Ну да мы тебе кишки вынесем!»

Противники разошлись на позиции и встали в те грациозные позы, которые требовались временем. Затем Трошка дал знак, и они понеслись друг на друга. Георгий атаковал Ивана Евграфовича со свирепостью и силой, совсем неожиданной, так что одно время казалось, что шпага его уже изловила сердце Ивана Евграфовича. Но Иван Евграфович был силен не только в нападении, но и в обороне, исконном искусстве москвитов. Обороняясь с толком, не торопясь, он быстро разглядел фехтовальную слабость противника. Георгий, видимо, давно не упражнялся и поэтому стремился взять решительностью и набегом. Он долго сидел на камне, мускулы у него слегка залились жирком, и как только Иван Евграфович стал ловчиться, вызывая в нем побольше движений да притом в разные стороны, то Георгий уже и задыхаться начал, уже и лицо его покрылось потом. Тогда-то Иван Евграфович бросил оборону и перешел в нападение! Через полчаса или несколько более Георгий явно ослабел и оглянулся, ища взором картину.

«Ага! — подумал с некоторым злорадством Иван Евграфович. — Девочек отнимать — так вы умеете, а сражаться — так и на картину посматриваете? Удрать? Нет, в картину вам удрать не представится случай!» И Иван Евграфович стал спиной к картине, с тем чтобы отрезать противнику все пути к бегству. Георгий понял его маневр и, даже крикнув от ярости, напал на него. Иван Евграфович доблестно выдержал атаку, все время подставляя глаза Георгия под свет свечей, которые и светили-то теперь как-то особенно чисто. Он то отскакивал в сторону, как бы пропуская Георгия к картине, то делал такие движения, в результате которых противник кричал:

— Есть укол!

А Иван Евграфович отвечал обычной шуткой дуэлянтов:

— Есть укол, да у твоей бабушки!

После одного такого восклицания Георгия, в результате которого Иван Евграфович назвал его «крик-сой», то есть плаксой, как называют ребенка, который много кричит, Георгий, чувствуя, по-видимому, особенную ярость, подпрыгнув, ринулся на Ивана Евграфо-

вича. И тогда с необычайнейшим наслаждением Иван Евграфович направил шпагу навстречу, как раз против сердца противника, и напружинил руку! Щелкнул шелк. Георгий охнул. Но шпага пронзила пустое пространство! Тем не менее, вполне уверенный в своей победе, Иван Евграфович воскликнул:

— Никому, даже самому богу, я не позволю увозить мою невесту!

И тут он услышал необыкновенно широкий и пышный голос, который, несомненно, принадлежал Георгию, но как он отличался от прежнего его голоса: рыхлого и пухлого, как пирог! Пламенный, как лобзания, и гордый, как лоб мудреца, голос этот потряс сердце Ивана Евграфовича, бурей и громом гремел он!

— Иван Евграфов, смертный! Дерзка и безумна твоя доблесть. Но чудная добродетель сделала ее непобедимой. Иван Евграфов, ты прав. Звуки боя, боя за Москву, призывают меня! Слышишь?

Послушал Иван Евграфович: ничего теперь не слышит, да и то, что слышал прежде, кажется ему невероятным. Наклонил он голову, перекрестился: «Свят, свят...» На кого осмелился поднять шпагу? На Георгия Победоносца! Кого осмелился учить и кто признался, что учение правильное?! «Свят, свят!..» Посмотрел Иван Евграфович и видит, что в зале никого нет, что Трошка поправляет свечу в фонаре и, что самое главное, нет воина на полотне, будто и не было никогда...

Иван Евграфович вытер шпагу. Страстное смущение чувствовал он. Что за слово сказал, уходя, Победоносец? Ведь не о невесте были слова, а о Москве? Выходит, что Георгий Победоносец загулялся где-то в стороне, загляделся, а грешный Иван Евграфович направил его на путь верный. Так ли? Имеет ли на это право Иван Евграфович? Или три раны, полученные им, дали ему право? Или триста тридцать три тысячи слез, пролитых после того, как дикой волей императора выброшен он из полка и отправлен в опалу?.. Скромнен был Иван Евграфович и от скромности совсем смутился.

Тем не менее, вполне уверенный в своей правоте и в благополучии всего дальнейшего, Иван Евграфович с полным наслаждением вернулся в трактир, нашел на сеновале лысого чиновника и дворянина, того, который имел отрубленный мизинец, растолкал их и ска-

зал: «Дивный был поединок», — на что помещик с отрубленным мизинцем издал вздох, несколько похожий на вздох мохового болота, где, скопившись, столетние газы выйдут через окно и вздохнут так, что вековые деревья всколышутся, подобно былинкам! Чиновник же с шишкой под ухом взвизгнул, как железная кровать, когда на нее ложится малое дитя. И затем оба они заснули, не спрашивая объяснений, приятнейшим, хотя и вспугнутым сном. Заснул и Иван Евграфович. Во сне он видел цветущие вишни и больших, с воробья, монастырских мух.

Утром, совершенно уверенный в успехе, Иван Евграфович уехал в город, с тем чтобы на последние деньги купить подарки невесте. И точно: он не ошибся в своем предвидении. Дней через пять пришло письмо от родителей Ирины Матвеевны. Они сообщили, что Иринушка возвратилась из монастыря и что нельзя ли поспешить с браком, чтобы прекратить разные там разговоры? Иван Евграфович не обижался и поскакал к будущим своим родственникам. Свадьба состоялась. Пел губернский хор, свадьбу правил сам архиерей, посаженным отцом был Максим Петрович Устинский... Почему такие перемены? А перемены с того, что волею судьбы и шпагой гвардейцев убит был свирепый император Павел, и все колесо фортуны, как всегда беспечно смеющейся, повернулось обратно.

Гремел хор. Дворяне готовили поздравления, а Иван Евграфович глядел на лицо невесты и вспоминал слова Георгия: сварлива, сварлива! Да и точно, сварливой оказалась Иринушка, так что вскоре же после свадьбы сел Иван Евграфович в коляску и ускакал в Петербург, а оттуда в свой полк. Одного ему хотелось вместе со всеми — злодея побить. «И то будет!» — говорил он всем уверенно, впрочем не сильно доказывая свою уверенность, да и кто ждал от Ивана Евграфовича теоретических доказательств? Храбрый вояка, честнейший человек, — сын отечества, и хорошо.

Разумеется, когда открывалась бутылка, Ивану Евграфовичу хотелось поделиться теми удивительными событиями, которые случились в его жизни. А как расскажешь? Дети и те не поверят, что вызвал он на дуэль картину, сражался с фигурой из той картины и та фигура была побеждена и ушла с предсказаниями. Молчал Иван Евграфович. От того молчания при выпивках

признали его неудачным собутыльником, и был приглашаем он редко. И когда звенели стаканы и слышались песни, а Иван Евграфович оставался один, он скучал, требовал к себе Трошку и приказывал ему вспоминать, как они бились в зале, в имении, ныне называемом Гореловка, и с кем бились. Трошка, по лености ума, путал многие поединки, и потому рассказ его не блистал звездами. Иван Евграфович плевался и говорил:

— Пустой ты, Трошка! Такое нам отверзлось, а ты не чувствуешь на себе влияния.

Трошка молчал. Иван Евграфович приказывал стелить постель, закуривал трубку перед сном, а затем засыпал, и сны ему виделись ослепительные и нежные.

В 1812 году среди множества храброго российского народа Иван Евграфович пал в бою за Смоленск.

Кончилась война. Изгнали врага.

Опираясь на плечо старого слуги Трошки, грустная вдова воина, имея по одну сторону сына, по другую дочь — вылитую Иван Евграфович, — подошла к святому и скромному гробу его, что лежит на одном из смоленских кладбищ. Благодетельно зря сей залог любви к отечеству, предалась она воспоминаниям.

И тут-то услышала она повесть о поединке из уст Трошки. Тихо прослушала ее и затем сказала:

— Поборай по господе, и господь поборет по тебе. Горд был покойник, да простится ему грех этот, и напрасно ты, Трошка, вспомнил сей сон! Забудь его, и вы, дети, забудьте, как забыла его я.

Но дети не забыли, и тонко трепещущая их память понесла по годам легенду о том, как офицер в опале Иван Евграфов сын Горелов сражался с Георгием Победоносцем и победил Георгия, зане был прав, правдолюбив и чтит славу отечества. Всё.

## ПАСМУРНЫЙ ЛИСТ

Мне, сменному инженеру, поручили от имени цеха сказать несколько прочувствованных слов нашему опытному и хорошему рабочему Николаю Михалычу Разломову. Вчера он получил известие, что его средний сын пал смертью героя на поле брани с немецко-фашистскими захватчиками. Сыновей у него пятеро: двое — еще подростки, а трое — взрослые — на войне. Средний же из этих троих убит.

Николай Михалыч работает в ночной смене. День приближался к концу. Струился теплый предвечерний свет, и спокойное, тихое небо, как всегда, перед приближающимся закатом, было нежно-шафранового цвета. Мне мило это тихое, неподвижное небо над Москвой, небо весны 1944 года. Оно встало перед нами в результате поражения немцев, и наш завод — один из непосредственных творцов этой тишины. Мы производим авиационные моторы. Наш гул заглушил гул вражеских машин, и я не побоюсь преувеличения, когда назову гул нашего завода златокованным гулом!

Вот он вокруг меня, наш завод, наша любовь. Весь он сейчас утвердился в крайнем творческом напряжении, напряжении почти страстном. Он словно востроносый юноша, почувствовавший нежную привязанность. Он прислушивается, прерывисто дышит, бормочет что-то невнятное, быть может, ее имя. Глаза у него впалые от волнения, движения его гибко-горды. Он творит.

Позади, за воротами, мой цех. Прекрасны черные проходы между станками, искрящиеся от тончайших крупинок металла. Короткий перерыв. Подходит вторая смена. Уходит первая, лица уходящих смуглы от

металлической пыли и похожи на классические изваяния. Желтоватое, с атласным отливом, масло струится в станки; рабочие свободным и легким движением направляют масленки. Скоро станки двинутся вперед и отовсюду к выходу устремятся части мотора, еще теплые от быстрого бега станка и от человеческих рук, которые держали их, пусть это и продолжалось одно мгновение. Детали то сине-алые, то серебристо-оранжевого оттенка, то самого яркого и чистого красного, того, который называют багряным. Последний и необычайно могучий тип мотора «АГ-421», выпускаемый сейчас нами, создается из различных металлов. Эти разноцветные и разнообразные детали возбуждают любопытство, всем хочется посмотреть, как будут собирать мотор.

А его уже собирают, в соседнем цеху. Мотор медленно, еще с заминками, идет по конвейеру, и сборщики с радостными улыбками смотрят на него. Такая сила, такая могучая и верная сила! Как ей не возбудить усердия к работе и улыбок радости? Мотор в начале сборки цвета золотистой охры, затем металл переходит в лимонные оттенки, а позже густеет и делается совсем фиолетовым. От волнения губы у нас словно пообветрились, болят, и каждый из нас шепчет про себя: «Доброе дело, доброе дело! Докончим это доброе дело — и будет спокойна совесть».

С добрым сердцем смотрю я на весеннюю землю нашего заводского двора, темную мокрую землю. Несколько грачей, исхудавших за зиму, поскобленных голодом, осматривали мусорную яму возле стены цеха: банки из-под американских консервов, какие-то масляные тряпки, обрезки резины... Под весенним солнцем мусор этот и эти грачи были очень живописны. «Тяжело в такие минуты думать о смерти», — говорил я сам себе, глядя на подходившего к воротам Николая Михалыча.

Прост наш Николай Михалыч. Способствует, правда, тому и внешность его, внешность, столь невзрачная и обыкновенная, да и одет он в столь немудрые брюки из бурого сукна, что часто Николая Михалыча путали с другими. В трамвае или метро незнакомые спрашивали: «Вы не такой-то будете?» — да еще и обижались, если он отнекивался. Впрочем, что случайные встречи! Известный художник П., обладатель драго-

ценной и меткой руки, приехал когда-то давно, к нам в цех зарисовывать ударников. Мы тогда впервые в нашей стране осваивали производство авиационных моторов и были знамениты даже больше, чем сейчас. Долго всматривался П. в Николая Михалыча, ходил вокруг да около и, наконец, не найдя ничего характерного, сказал с досадой: «Э, батенька, да вы отуманщик какой-то!» Разумеется, при усилии воображения (да еще теперь, когда известна история с «пасмурным листом») вы обнаружите в словах знаменитого художника намек на нечто нами не уловленное, и это нечто теперь внесут в анналы нашего завода, но, думаю, будет ближе к истине сказать, что и художнику внешность Николая Михалыча показалась чересчур незначительной и простой.

Я подошел к Николаю Михалычу и крепко пожал ему руку. Он посмотрел на меня серыми, простыми и, казалось, невидящими мир глазами. Я заговорил. Я отметил его заслуги, достоинства его сына-героя, напомнив, что родина-мать не забывает и не забудет заслуг людей, павших в битве, как и тех, кто работает самоотверженно в тылу. Николай Михалыч посмотрел на меня своими серыми, простыми глазами и сказал в ответ на мои слова:

— Спасибо.— А затем добавил: — В трамвае-то тоже весна, да, вишь, душная. Голова разболелась, поощряя беспорядки. Ну да, прошелся от остановки да через двор и поосвежился. Вроде теперь прошло.

Это у него поговорочка такая: «Поощряя беспорядки». Он ее сует куда попало, так что иногда получается довольно забавно.

В нашем цеху станок Николая Михалыча самый старый, едва ли не погодок ему. Станок он всегда ремонтирует единолично, бормоча: «Кому охота, поощряя беспорядки, помогать первенцу отечественного станкостроения?» И верно, в станке много лишнего, недодуманного, и дознаться до всех его пороков не каждому дано. И все же станок, как правило, дает 185 процентов нормы. Мы иногда шутя говорим Николаю Михалычу: «Почему не 200? Дотянул бы!» А он уклончиво: «Что ни на есть лучшая норма». И в этом я тоже вижу его простоту и склонность к рутине. Ну что ж, хочет стоять на своих 185 процентах — пусть стоит. От каждого по его способностям.

Николай Михалыч бегло осмотрел станок, инструменты и достал самодельный портсигар, вырезанный перочинным ножом из липы. Скрутив папироску, он пошел было в курилку, но остановился против соседа, смазывавшего свой станок, и сказал:

— А ты, небось, Миша, подумал: вот Николай Михалыч должок принес? В понедельник обещал. А он опять за деньгами! Сильно ломила нога всю ночь, еле отогрел к утру. А пришел в цех — мерзну. Сказывал, в окна дует, оттого, а им, инженерам, что? Они в кабинете. Фанеру, говорят, поощряя беспорядки, через неделю! А я — простужайся? Вот и хочу, поощряя беспорядки, валенки подшить. Ей-богу, Миша, надену, смейся — не смейся. Так как ты, Миша, поощряя беспорядки, дашь мне на подшивку? Уж заодно и верну.

Покоробила меня эта «подшивка». Я, признаться, подумал: «Что это? Душевная пустота? Убили сына, а он крутит папироску да бубнит о фанере и подшивке валенок». Между тем он повернулся ко мне и сказал:

— Всю ночь ломит да ломит ногу. Я и припарки, я и компрессы, поощряя беспорядки, — ломит. Растет у меня на окошке яблонька такая, «пасмурный лист» прозывается. От боли в голову накатило: «А не пожевать ли того пасмурного листочка, може, поощряя беспорядки, пройдет?» Да жалко мне ее. Полтора десятка листков выпустила... — Помолчав, он добавил: — А тут на дворе ка-ак зашумят! Думаю: аль ветер, буря? Спустился со своего четвертого этажа на двор, поощряя беспорядки. Гляжу: какое ветер, это из трубы выкинуло! Завтра утром пойду в райсовет: надо нашего управдома пожуришь, чего трубы не чистит. Далеко ли так, поощряя беспорядки, и до пожара?

Листки яблони, ломота в ногах, шум ветра, выкинуло из трубы. «Что за мелочность, что за простота! — думал я, осуждая его слова. — Стоим мы над такой стремниной, на такой стреже, под таким сокрушительным натиском бури, что дух захватывает: а он — из трубы выкинуло, сажа загорелась». А дальше началась уже совершенная бестолочь. Вдруг он заговорил:

— Почему-то, Миша, поощряя беспорядки, когда идешь обедать в заводскую столовую, над головой в небе висит облако? Такое оно, поощряя беспорядки, ржаво-бурое и такое, брат, вроде розетки. Заметил?

Вот тебе и пойми! Облако. Ржаво-бурое, розетковидное. Да еще и каждый день на небосклоне, когда идешь в заводскую столовую! Огорченно я отошел от Николая Михалыча. Но утешить его хотелось, и, хотя хлопоты подобного рода не входили в мои обязанности, я побывал на складе, добыл фанеры и приказал заделать окна, в которые дуло.

Когда смена окончилась, Николай Михалыч пришел ко мне. Он сказал ласково:

— За фанеру-то, поощряя беспорядки, спасибо.— И помолчал, смущенно переминаясь с ноги на ногу.— Я тебя, поощряя беспорядки, вечером-то не обидел?

— Да что вы, Николай Михалыч, чем вы меня могли обидеть? Боюсь, что я вас обидел, не передал по-настоящему своих чувств.

— Передал,— вдруг мягко-мягко сказал он, и тогда мне сразу стало ясно, что это не такой уж простой человек, как я думал о нем. А он продолжал: — Я понимаю. Мелкий порох взрывчатее крупного. Так и человек, когда молчит, и слов не подберет. Ты меня, инженер, одним твоим вздохом купил...

Он посмотрел мне в глаза своим серым взглядом. Глаза его опухли и позалились от ночных дум и напряженного труда. Он проговорил:

— Сказал ты: «Николай Михалыч» — и вздохнул. А почудилось мне, что ты меж моим именем и вздохом сыночка моего, покойного, увидал. И я его увидал! Так мы все втроем и встретились...— И, опять помолчав, он добавил: — Говорил я тебе про листья одни, про яблоню «пасмурный лист». Жевать будто тот лист хотел... пустяки это... Что я, корова, травой утешусь? Посмотреть через тот лист хотел. Еще раз...

Я не понял его:

— Простите, Николай Михалыч, куда посмотреть?

— А куда смотрел тогда, недели две назад, как про отца-то моего приезжий с Украины сказал.

— Вы смотрели из сада?

— Зачем из сада? Из своего окна смотрел.

— Еще раз простите, Николай Михалыч. Вы смотрели из окна, через яблоню? Яблоня растет у вас перед окном?

— Зачем, поощряя беспорядок, под окном? У меня на окне растет.

Тем временем мы вышли из цеха. Пересекли двор и направились к трамвайной остановке. Мы проходили по небольшой аллейке из молодых лип. Липки уже распустили свои листья, влажные, словно подмокшие. Николай Михалыч наклонил одну ветку себе под шею и сказал:

— Вот так и взглянул. Как он, приезжий-то с Украины, ушел, сказавши про отца, я и взглянул. Ну, а вчера еще хотел повторить взгляд-то свой.

— Простите, что настаиваю, Николай Михалыч. Вы говорите, «взглянул», и говорите это многозначительно. Должно быть, вы увидали тогда, две недели назад, что-то необыкновенное?..

— Сражение при «пенсиве» увидал,— сказал Николай Михалыч.

Я так и замер посреди аллейки.

— Простите, простите, Николай Михалыч! Сражение при «пенсиве»? Что-то я не слышал о таком сражении. Да и пенсив, насколько помню, слово не то французское, не то английское, не то обеих стран вместе, и значит оно — задумчивый...

— Али пасмурный?

— Или пасмурный. И так толкуют. Но при чем же тут сражение и как оно может происходить при «пенсиве»?

Мы все замечали, что Николай Михалыч любит вспоминать своего отца: почти каждый день. Старику хоть за семьдесят, но силен и здоров. Он работает на одном из донбасских заводов, доставляет со станции кладь. Отец с сыном расстались давно, встречаются редко: у обоих большие семьи, большие заботы, не до экскурсий. Две недели тому назад Николай Михалыч прекратил рассказы об отце. И никому из нас не пришло в голову спросить: почему это? Правда, работа была горячая, не до рассказов об отцах да и об их рыбной ловле... Не по себе мне сейчас стало. Я сказал:

— Вы простите, Николай Михалыч, что я привязался к вам с этим «пенсивом». Я понимаю так, что приезжий с Украины привез тогда дурные вести. Отец и его семья?..

— Немцы. В Германию угнали. Не хотел я вас тревожить...

И еще хуже я почувствовал себя.

Ведь вот заботился о нас, не хотел нас тревожить!

А он, чтоб не показать, будто дурно думает о нас, добавил:

— Ты-то, может, и не знал, что моего отца немец увел. А другие, подозреваю, знали. Спасибо им: не бередили рану. Она сейчас малость позасохла, а тогда, недели две назад, сильно ныла, поощряя беспорядки.

И он начал мне рассказывать о «пенсиве» и о том, что увидел за ним недели две тому назад, когда ушел знакомый с Украины.

Мне представился вид двух его опрятных комнат. Жена, утирая слезы, ушла в продмаг. В этих двух комнатах живет одиннадцать ртов: надо их накормить, напоить. Ушел и приезжий с Украины. Остался Николай Михалыч один, если не считать двух безмолвных старушек, чистивших картофель в соседней комнате. Они чуть хлюпали водицей, думая, что хозяин заснул после ночной работы, а было раннее утро, вроде теперешнего, весна, теплынь.

Николаю Михалычу было горько. Он не спал. Было ему особенно горько еще и оттого, что жена ушла в продмаг, а не уйти ей нельзя: очередь. И было такое злое чувство, будто и жену угнал немец. Николай Михалыч даже заскрежетал зубами. «Нет, есть же на немца управа? Есть! Доищемся».

И вспомнился ему отец. Большеголовый, голова, как короб. И тоже — весна; пологая речка, брат разматывает удочки. Отец, похорошевший от выпитой водки, полбутылки, которую он всегда захватывает на рыбалку, говорит: «На рыбу, детки мои, привада называется — блевка, а на волка — окорм! Дают его с чилибухой». Заканчивает он протяжно, волоча слова с удалью, как волокут на заводе сверкающую проволоку из стана: «Будем под блевку рыбачить, детки мои, подумки мои». И чувствуется в его словах, что лов будет удачный, и сердце замирает.

А где-то теперь отец?

— Ух, станет фашисту хуже, когда петлю стянем поуже! Будет управа!

И тут-то Николай Михалыч обратил внимание на странный запах, распространившийся по комнате. Он отчасти напоминал запах солонины и столярного клея. На языке ощущался сладковатый и рыхлый привкус. «Хозяйка стряпает? — подумал было Николай Михалыч. — Да где там?! Кабы стряпала! Ведь ушла в прод-

маг». Запах между тем густел, создавая как бы вторые, одуряющие ум стены. «С улицы газом пахнуло?» — подумал тогда Николай Михалыч, глядя в окно.

Окно было широкое, окрашенное в белую краску. Зимние рамы вынули только вчера. Не успели соскоблить замазку, убрать грубую, побуревшую за зиму вату, обернутую в газету. Краска между зимними и постоянными рамами щеголевато-бела, тогда как снаружи и внутри комнаты она поблекла и запылилась. Стекла у внешних рам вымыты, исправно отражают солнечное, полное воды и талого снега пространство между домами по ту сторону улицы. Впрочем, между домов, на северной стороне, лежит еще вешний лед, рассыпчатый, игольчатый, лазорево-синий. Отсветы этого льда падают в окна комнат, находящихся на втором этаже, и оттого куски неотпавшей замазки синевато-сизы.

Форточки плотно закрыты. Запах с улицы не может проникнуть. Слышны густые гудки тяжело нагруженных автомашин, резкие звонки трамваев, подпрыгивающих на стыках рельсов, исполинский гул толпы.

На подоконнике, кроме двух ровных свертков с ватой, лежал столовый нож, которым жена Николая Михалыча соскабливала замазку, и стоял горшок с ростком яблони. Росток сегодня развернул почки и, опираясь на розовато-красные листовые черешки, выпустил за ночь семь яшмово-серых листьев с оранжевой каемкой. Вот они-то, должно быть, и пахли до того странно, что к ним всякое приболтаешь!

Николай Михалыч наклонился к горшку.

Но прежде всего нужно рассказать, откуда на окне у Николая Михалыча появился росток яблони. Я восстанавливаю события отчасти по рассказу Николая Михалыча, а отчасти по рассказу профессора Брасышева, которого я позже видел и расспрашивал.

В числе прочих общественных нагрузок Николай Михалыч исполняет обязанности члена заводской комиссии содействия нашему подсобному хозяйству. Комиссия хорошо работает уже несколько лет. Прошлой осенью комиссия направилась на обычную консультацию, которую нам дает Тимирязевская академия. В будущем 1944 году мы решили увеличить площадь нашего сада: он сильно пострадал от морозов 1939 года. Мы вместе с комиссией направили в Тимирязевку на-

шего главного садовода, поручив им достать морозостойкие сорта яблонь. Ученые Тимирязевки пошли нам навстречу. Нам выдали свыше пятисот корней перво-сортных саженцев. Комиссия осталась очень довольна и горячо благодарила профессора Брасышева, ученого-селекционера, помогавшего нам.

Профессор Брасышев, хохлатый, веснушчатый, одетый в длинную куртку из каштаново-коричневой бумаги, с большими карманами, дребезжащим голосом повторял: «Пустяки, пустяки! Мы все не гуляем, мы все работаем на оборону и должны помогать друг другу». Но, видимо, наша признательность растрогала его и, когда комиссия собралась было уходить, он, трепля свой антрацито-черный хохол, внезапно сказал:

— А вы слышали когда-нибудь про яблоню «пенсив»?

Комиссия вкупе с главным садоводом ответила, что она впервые слышит название этой яблони.

Ученый пояснил:

— Собственно, эта яблоня — беспрозранка. «Пенсив» — название случайное и ничего не определяет. Слово англо-французское. Значит задумчивый или пасмурный. Почему Григорий Матвеич назвал так эту яблоню, им открытую, не могу сказать. А тем более, почему он добавил к слову «пенсив» слово «лист». Почему пасмурный, когда, в сущности говоря, никто еще этого листа не видал? Григорий Матвеич Смирнов посвятил свою жизнь отысканию диких сортов яблонь. В настоящее время, как вам известно, насчитывается свыше десяти тысяч сортов яблонь, огромное большинство которых произошло в результате скрещивания диких видов между собою, а затем и с культурными сортами. Григорий Матвеич обнаружил множество диких сортов, особенно в Средней Азии. Перед своей гибелью, а умер он недавно, он нашел, по его словам, такой сорт дикой яблони, который искал всю жизнь и над которым задумывался. Не отсюда ли, от его задумчивости, идет и слово «пенсив»? Нашел он свой «пенсив» в непроходимых горах Джунгарского Алатау, и нашел в единственном числе. Я покажу вам фотографию этого единственного, феноменального экземпляра яблони. Сомневаюсь, впрочем, чтобы вы поверили, будто это яблоня.

Да и трудно было поверить! Фотография изобража-

ла край плато. На краю пропасти или обрыва, наклонившись, стояло огромное, в три обхвата, дерево, с толстыми безлиственными сучьями. В дупле, для масштаба, помещался всадник, держащий в поводу коня.

— Проку мало,— сказал Николай Михалыч, чрезвычайно заинтересованный рассказом.— Дерево засохшее. Не только плодов — листьев нету.

— Совершенно верно,— подхватил профессор.— Еще лето, а листва уже отсутствует. Дерево явно погибало...

— Да погибло ли? — спросил Николай Михалыч.

Здесь в разговор вступил ученый наш садовод — человек старательный, но лишенный фантазии. Он сказал твердо:

— Погибло. Не оставило данных, что существовала яблоня такой сказочной величины, а значит, и сказочного многолетия. Что же касается сучков или даже обрубка ствола, который может быть доставлен в Москву,— мало ли какие сучки можно подобрать!

Профессор смотрел на него пренебрежительно, как водовоз на рассохшуюся кадку с соскочившими уже обручами.

— Данных?! Сучки? Обрубки? — воскликнул он своим скрипучим голосом.— Зачем нам сучки и обрубки, когда у нас есть вот это?!

На ладони его лежал десяток семечек, по его словам, принадлежащих этому семейству розовых, подсемейству яблоневого. Из-за необыкновенной величины семена можно было отнести к какому-то неизвестному нам сорту орехов. Если самое крупное семечко яблони достигает в длину полсантиметра, то эти семечки были не менее двух сантиметров!

Николай Михалыч охнул и так задвигал руками над семечками, будто ему хотелось распеленать нетерпеливо кричащего ребенка.

— Пожалуй, этак выйдет, поощряя беспорядки, что и яблоки-то с тыкву?! Батюшки мои!..

Профессор прыжком придвинулся к нему. Скользя рукавом по черному своему хохлу, он говорил:

— Яблоня, дорогой мой,— основная плодовая порода умеренной нашей зоны. Порода эта улучшается ежегодно, так как у нее много достоинств. Но есть и недостатки. Высокоценный пищевой продукт, вкусный, питательный, битком набитый витаминами? Да! И в то

же время скоропортящийся! Правда, зимние сорта яблок сохраняются длительный срок и вкусовые достоинства их сперва даже повышаются. Но к концу хранения катастрофически падают. Заметьте: катастрофически! Яблоко к концу зимы, тогда, когда оно наиболее нужно, наиболее малоценно. Время своей железной скребницей грубо соскребает с него всю нежность и питательность...

— Останутся хоть поскребыши-то, поощряя беспорядки? Оставь, прошу! — сказал Николай Михалыч. Ему хотелось думать, что пусть малоценные и малопитательные, но останутся разные сорта яблок.

— А разве вы хотите питаться поскребышами? — воскликнул профессор, и черный хохол его скачком рванулся к Николаю Михалычу. Тот попятился, и нога его скользнула на чем-то мокром, быть может, он растоптал какой-нибудь драгоценный отросток.

Разговор ведь происходил в одной из теплиц академии. Профессор вплотную подошел к Николаю Михалычу и, дыша ему в лицо табаком и вегетарианской пищей, завопил:

— Никто вам не позволит питаться поскребышами! Нет! Мы прибираем мир, мы удаляем из него то, что мешает процветанию людей. И вот Григорий Матвееч, с настойчивостью ему присущей, нашел великое, бессмертное яблоко. И дал ему какое-то, извиняюсь, декадентское имя. Тогда как оно имеет право называться яблоком Гесперид!

В теплице пахло землей, водой, всюду возвышались длинные некрашенные столы с горшками и бочками, наполненными растениями. Ни одному из растений не позволяли врыться в землю, и все же растения развивались лучше, чем на свободе. Приятно было смотреть на это проявление могущества человека... Снаружи, на стекла теплицы, падали широкие, то золотые, то пурпуровые листья кленов, и тогда алые или желтые пятна бегали по лицам разговаривавших. Профессор поучал жадно, стараясь втиснуть в своих слушателей побольше знаний, утрамбовывал их, как одежду в чемодане.

— Знаете ли вы о яблоках Гесперид? Об одиннадцатом подвиге Геракла? Я напому. Но прежде — тем, кто забыл мифы, кое-что о великом муже Геракле. Я резвый поклонник этого мифа, этой песни непобеди-

мого мужества! Геракл — величайший герой древности. Он поставил задачей своей жизни биться для блага людей со всем нечистым и злым, если даже это будет сопряжено с могучими трудами и гибельными опасностями. Геракл — честнейшая натура! Он достоин самой счастливой участи. Но злая доля преследует его с самого рождения, и, только свершив величайшие усилия, пережив мучительнейшие страдания, награждается он за свои подвиги бессмертием и общением с блаженными богами.

Профессор с чувством продолжал:

— Одиннадцатый подвиг Геракла? Ему должно достать золотые яблоки из душистого сада Атланта, того самого, что держит на своих плечах небесный свод. Да! Не менее. Златоплодную яблоню в том саду вырастила некогда Земля. Ее-то она и подарила Гере в день бракосочетания той с Зевсом. Вам, безусловно, известна Гера, царица Олимпа? С огромными блестящими глазами, высокого роста? Белокурая, волоокая Гера, хранительница супружеских прав и законов брака? Да, не легко, надо думать, достать яблоки из сада Атланта! Я всегда сочувствовал Гераклу, а в этом деле — особенно. Сад охранял страшный и могучий дракон, а ухаживали за яблоками волшебницы-нимфы Геспериды. Геракл, преодолевая невероятные трудности, долго искал этот сад и наконец нашел его. По одним преданиям — на востоке, по другим — на крайнем севере, в стране Гипербореев, там, где теперь обитаем мы. Два мнения! А не примирить ли их нам? Нельзя ли допустить, что Геракл нашел сад Гесперид на севере, а возвращался из него дорогами востока?! И вот по дороге, а именно в горах Средней Азии, он обронил одно из своих драгоценных яблок, и из него-то и выросли сказочные деревья...

Профессор, желая врезать в память слушателей свои слова, опять пронес перед ними семена «пенсива».

— Вот оно! Бессмертное яблоко Гесперид! Оно многолетнее дуба. Плоды его созревают рано. Одно преимущество: хранятся бесконечно долго, бесконечно вкусны и питательны! Оно неприхотливо и не требует улучшения среды! Болезни и вредители, обычно снижающие урожай яблок, бессильны против него!

— Недостает только одного пункта... — язвительно сказал наш садовод.

— Какого же?

— Существования дерева. Реального существования. Оно засохло.

— Да-а? Засохло! — Профессор, очень довольный собою, добавил: — Вы, уважаемый, довольно хорошо затвердили насчет засыхания и плохо помните насчет того, что уцелела ветка, на которой Григорий Матвееч и обнаружил несколько яблок. Ветка! Яблоко! Распахнутый ставень в мир, в жизнь! На последнем году своей жизни редчайшее дерево, словно надеясь на приход человека, собрало остаток сил и выпустило ветку. Дереву грустно. Оно долго ждет помощи. Окрестности бесплодны. Скалы и скалы. Оно высосало все соки, бросало много лет яблоки, семена... и все напрасно. Оно чувствует себя одиноким, оно словно в келье затворника, ему душно. И листья его приобретают задумчивый, пасмурный вид... Григорий Матвееч издавна страдал последствиями тропической малярии; в последнем своем путешествии он переутомился и в Алма-Ату приехал из Джунгарского Алатау безнадежно больным: корчи рук и ног, чрезвычайно длительное сведение мышц. Он не имел сил дать нам исчерпывающие сведения о «пенсиве». Но мы в состоянии, однако, нарисовать приблизительно верную картину. Представьте сухое, бездорожное ущелье, ущелье — источник беспощадного света, как кремень есть источник огня. Григорий Матвееч, усталый, измученный малярией, все же идет вперед. И вдруг, как вестник отдыха и наслаждения, случайный ветерок бросает ему в лицо полузасохший лист яблони. И притом необыкновенных размеров, вроде самого большого листа клена... Григорий Матвееч берет лист в руку, рассматривает узоры... Возможно, он перед тем думал об Англии, куда ездил перед самой войной, ему пришли в голову влажные ее парки, задумчивые, пасмурные деревья; отсюда, по-моему, и возникло слово «пенсив», которое, по закону противоположности, крепко врезалось в память, как опытный слесарь врезает замок, врезалось и замкнулось. «Пенсив, пенсив», — твердит он рассеянно, вертя в руках загадочный лист, который надо отнести к семейству розовых, подсемейству яблоневого. Путешественники, за редким исключением, — народ суеверный. Раз уж пришло тебе на ум и врезалось в память слово, то и

носи его подобно обручальному кольцу. Раз уж «пенсив»...

Профессор вынул широкий носовой платок и шумно высморкался. Лицо у него было грустное, пасмурное. И хотя разговорчивость его была несколько утомительна, слушатели, понимая, что он грустит о безвременно погибшем исследователе, молчали.

Но ученый наш садовод сильно колебался в вопросе о существовании «пенсива». Поэтому, вынув еще более широкий, словно кливер — носовой парус корабля, платок, он погрузил туда нижнюю половину своего носа. Завивая платок свой вокруг носа, подобно венку, ученый садовод наш сказал:

— Споры о возникновении названия в конце концов, как споры о ценности голого веника. Нас интересует: какие найдены биологические особенности у «пенсива»? Скажем, в смысле долголетия? Был ли произведен горизонтальный срез древесины, если нельзя было вывести из дебрей ствол «пенсива» целиком?

Григорий Матвеич произвел срез.

— Сколько же лет дереву?

— Обычная яблоня плодоносит двадцать — двадцать пять лет...

— Я спрашиваю о вашем «пенсиве».

— Семьсот.

Кучка слушателей переглянулась и невольно сбилась еще более тесно. «Вот это рванул!» — подумал каждый со смущением, отворачиваясь от профессора.

Николай Михалыч с отсутствием какого-либо сомнения уверенно и в упор смотрел на профессора. «Нет, он нам кое-что еще ввернет», — подумал Николай Михалыч. И профессор, наведенный слушателями на необходимость подкрепить свои слова фактами, раскрыл ящик письменного стола, притаившегося в углу теплицы, вынул оттуда тарелку, накрытую светлой салфеткой с нефритово-зеленым ободком.

— Почему утверждаю я, что «пенсив» существует, несмотря на то, что с мертвого ствола дерева Григорий Матвеич произвел вертикальный срез? Потому что: а) мы имеем семена, б) семена эти добыты из нескольких яблок, которые...

Он резким жестом, точно туша пожар всяческого сомнения, сдернул салфетку.

— ... которые перед нами.

И он так посмотрел на слушателей, будто проявил невесть какую щедрость и великодушие.

Почти наполняя собой глубокую тарелку, лежало огромное яблоко, разрезанное на несколько долек. Семена из него были уже взяты, и глубокие овальные коричневые семенные ложа чрезвычайно волновали взгляд. Волновало и другое: необыкновенно густой, золотистый цвет кожуры, какого не видал никто ни на одном из плодов земли. В нем сочетались и новый цвет металла, и теплый густой цвет растения, и разные оттенки чего-то огнисто-легкого, что не передашь словами да и кистью, пожалуй, тоже. Приглядевшись, обратили все внимание и на цвет мякоти. В нем не было того синеватого налета, который вскоре после разреза приобретает мякоть яблока, а разрезано яблоко, по видимому, давно: столовый нож, оставленный на краю тарелки, успел заржаветь. Яблоко же словно только что разрезали.

— Ну что ж — исполать! — произнес кто-то сдавленным от изумления голосом, и профессор тотчас же подхватил:

— Именно исполать, за здравие, за многолетие «пенсива» — туш!

Он схватил нож, отрезал крошечный, тонкий ломтик яблока и, держа его на конце ножа, торжественно оглядел кучку слушателей. Все придвинулись к нему, даже скептик — ученый садовод наш — и тот сделал шаг, правда, не столь уж длинный. Профессор Брасышев выбирал недолго. Взор его остановился на Николае Михалыче. Он сказал, протягивая ему ломтик «пенсива»:

— Прошу отведать. Подарок от старого селекционера.

Николай Михалыч положил ломтик в рот.

Талая, снежная свежесть наполнила его рот, а затем пушистой сладостью разошлась по всему телу. Захотелось порезвиться, в снежки, что ли, поиграть, и в то же время было такое чувство, будто соприкоснулся с чем-то очень важным и большим.

Профессор указал всем на лицо Николая Михалыча: дескать, ясно? И добавил, подавая ему одно семечко:

— За услугу — подарок. Саду вашего завода. Какая, спросите, услуга? Моторы! Разливаться дальше

словами не для чего. Понятно? — И он добавил, обращаясь к нашему ученому-садоводу: — Надеюсь, вы взрастите «пенсив» и увидите «пасмурный лист», равно как и поделитесь со мной впечатлениями. Да и встретимся мы ровно в то время, когда взойдет росток. Я собираюсь в Джунгарский Алатау, пошататься, поискать: авось, и встречу еще экземпляр «пасмурного листа» — не все же дебри осмотрел Григорий Матвеич...

Николай Михалыч завернул семечко в бумажку и положил его во внутренний карман пиджака. Профессор проводил их почти до выходных ворот, еще раз повторил свои наставления относительно тех саженцев, которые нам дала академия, и пожелал комиссии доброго здоровья.

Ученый-садовод, выйдя из ворот, пробормотал: — У людей вруны — заслушаешься, а у нас вруны — соскучишься.

Обижен он был некоторыми нотками насмешки, скользнувшими в словах профессора. И он не спешил брать семечко «пенсива» у Николая Михалыча. Тот, в свою очередь, задетый недоброжелательными словами садовода, не очень-то торопился отдавать семечко. Правда, отдать его, рано или поздно, придется. Николай Михалыч домашним садоводством никогда не занимался, а если и находили на него мечтания относительно того, что хорошо б соснуть под яблоневою тенью в сухой летний день, то главным образом после плотной выпивки и закуски, тем более семечко редкое, уникальное, не дай бог, пропустишь какие-нибудь там сроки поливки или чего-нибудь другого...

Как раз в эти дни наш завод приступил к заданию: изготовить в короткий срок моторы «АГ-421», необыкновенно мощные и сложные. Прибыли чертежи. Инженеры изучали длинные листы кальки, отдел главного технолога завода кипел, фронтовые бригады, в том числе бригада Николая Михалыча, не отходили от своих станков, осваивая производство деталей. Дней двадцать безвыходно пробыл он на заводе, забыв и о «пенсиве», и об ученом-садоводе, и о профессоре Брасышеве. Бригада Николая Михалыча давала ежедневно свыше пяти норм. Он сам сделал приспособление, чтобы сверлить косые отверстия, и выработка его станка повысилась раз в девять. Наконец производ-

ство деталей было освоено. Вот наладят гладкое и ровное течение «потока» — и пошло!

В столовой, вытянутом, сером здании, Николай Михалыч встретил ученого садовода. Лицо его было озабоченное, он глядел, прищурясь. Процент порчи плодов осеннего сбора оказался у него выше среднего. Он шел на расправу к директору завода. Не вовремя вспомнил Николай Михалыч, что семечко «пенсива» осталось у него дома в праздничном пиджаке. Ученый садовод принял его извинение за издевательство: какой тебе, дескать, к черту «пеисив», когда ты самую обыкновенную антоновку частично сгноил, а частично дал разворовать? Ученый пробормотал:

— Беззубая собака — гав! Да не укусит, а лишь брюки помнет.

«Что он, профессора Брасышева подразумевает под беззубой собакой?» — подумал, сердясь, Николай Михалыч.

Вернувшись домой, Николай Михалыч достал семечко. Прижимая его к ладони, он долго думал. Что делать? Ждать, когда уволят ученого садовода? Поставить вопрос на обсуждение комиссии содействия подсобному хозяйству? А вдруг пропустишь сроки посадки семечка? Николай Михалыч позвонил в академию.

Оказалось, что профессор Брасышев уехал в научную командировку. «Надолго?» «На неопределенное время». «Куда?» «В Джунгарский Алатау». «Еще вопрос к вам: «Есть ли другие специалисты по «пенсиву», кроме профессора Брасышева?» «По вопросу «пенсива» все же лучше поговорить с самим профессором. Другие специалисты есть, но они тоже уехали с профессором. Подождите, может быть, скоро вернутся».

Невелико семечко, а давит, как жернов! Николай Михалыч ждать дольше не мог. Он набил горшочек лучшим черноземом, строго-настрого приказал ребятам не дотрагиваться и посадил туда семечко. Посадка, таким образом, произошла поздней осенью 1943 года.

Больше всего Николай Михалыч боялся стужи. Остынет земля, закостенеет, — пропало семечко. Он утром, идя на работу, каждый день заходил поэтому в котельную дома: проверить запасы топлива. Возвратившись и сбросив калоши, он сразу устремлялся к

горшочку. Жена сердилась: «Ты бы в печные горшки смотрел, а не туда! Уж больно ты возносишься духом, Михалыч». Он то отшучивался, то отругивался.

Земля в горшке набухала, приподнималась, как опара, и вот однажды утром он увидел, что тонкий росток брусничного цвета пробил почву и вынес наверх скорлупу семечка, приподняв ее, словно шлем! Николай Михалыч обрадовался, будто увидел невесть какой пример доблести. Он даже погладил этот приподнятый ростком колушок и тихо сказал:

— А ты не сомневайся. Одолеем! Оно, конечно, вход на гору крутой, а только одолеем.

Дудка ствола поднималась быстро и ровно. Она поутыкалась дугообразными, продолговатыми почками, и, наконец, показалось семь яшмово-серых листочков с оранжевой каемкой.

И тогда в комнате запахло странным запахом, от которого в недоумении цепенело сердце. И тогда, притянутый этим запахом, Николай Михалыч подошел к окну.

Было это в тот день, когда посетил его приезжий с Украины, когда он задумался о своем отце, да и о детях своих, что на войне, тоже подумал...

На подоконнике, повторяю, лежали два свертка с ватой; газетная бумага истлела и там, где дотрагивались до нее пальцы хозяйки, лопнула. Лиловели кусочки замазки. Стекла чуть вздрагивали от уличного движения. В соседней комнате старушки чуть слышно шептались о цене на картофель, об огородниках.

Николай Михалыч рассматривал листья. Он думал о своем потерянном отце, о внуках, что отвоевывают деда... троих внуках. Думал он в то же время о листах «пенсива», и ему хотелось расторгнуть связь между цветом листьев и их названием. «Почему «пасмурный лист»? Ничего «пасмурного» в теперешнем листе нет, и если измерять его окраску по создаваемому им настроению, то ее вполне можно назвать радужной. Когда лист увянет, он, кто знает, и приобретет тогда пасмурную окраску, но теперь...» Он ухмыльнулся. «Пенсив»! Слово вроде пенсии. На пенсии, что ли, кто-то сидел да и задумался по этому поводу?

Настроение его поднималось и поднималось толчками. Он дышал полной грудью, и минутами его охватывало то чувство полного удовлетворения, которое он

испытал, когда в прошлом году в теплице профессор Брасышев подал ему отведать ломтик яблока «пенсив».

Он слегка оперся пальцами о кромку горшка. Ему хотелось быть поближе к молодому, разбуженному к жизни деревцу.

Он привык к нему, и теперь, когда дерево развертывало листья, ему казалось, что он сам развертывает их. Хотелось только, чтоб оно поторопилось и к тому часу, когда он понесет его в Ботанический или в Тимирязевку — куда укажет профессор, — хотелось видеть его в полном, проворном и живом убранстве. Да, да! Убранство будет растопыренное, как хвост и крылья у индюка. Великолепное убранство, праздничное спозаранку!

Листья чуть трепетали, словно чувствуя свою ответственность. Ведь подумать только, они дают запас жизни для дерева, которому жить шестьсот или семьсот лет!

Шестьсот лет! Шестьсот лет тому назад Москва была, кажись, вроде небольшого уездного городка, обнесенного деревянным тыном, вдоль которого ходила стража в самотканых азиях, с дубовыми луками за спиной, и только один князь, да и то по праздникам, надевал шелковые одежды и красные сафьяновые сапоги. В городке не было ни одного каменного здания, разве архиерейская церковь, и сразу, за тыном, начинались густые, непроходимые леса, где, ломая молодняк, гордо ходили лоси, переваливаясь, шли отяжелевшие от обильной пищи медведи, и гулом гудели над городком, над рекой и заливыми лугами веселые, запасливые пчелы.

А сейчас гул стоит в небе от самолетов, и эти машины дикого цвета с синевой так утюжат небо, что любо-дорого глядеть! И поутру, и повечеру, и днем, и ночью гудят на высоких насыпях паровозы! И гудят тонко прядильные машины в зданиях, что ткут ткань тоньше паутины! И гудят машины, что печатают умные книги! И гудят станки, что делают моторы, и снаряды, и пушки, и многое другое, что необходимо человеку. Дорожка понакатана, смело иди вперед! Человеку, не в пример прошлому, стало жить лучше, а вот побьем врага, сбросим эту тяжесть, что мешает жизни, и станет совсем хорошо...

Шестьсот лет!

И он наклонился совсем низко, всматриваясь в это рождающееся шестиствольное дерево с золотыми плодами, с яблоками Гесперид.

Повыше листьев он разглядел как бы легкую дымку. Должно быть, от нее и шел тот запах, что смущал его?

Он погрузил лицо в эту дымку еле уловимого сердоликового цвета.

Запаха не было.

Но появилось другое ощущение.

Он будто просунул голову сквозь тусклое стекло. И он увидел нечто такое, чего ни в коем случае не предполагал увидеть.

Он явственно чувствовал свои руки, лежащие на кромке горшка. Указательные пальцы его дотрагивались до влажной земли, нагретой солнечными лучами.

Голова же его была уже в другом мире и, мало того, в другом времени!

Он летел, летел взаправду, почти не касаясь травы, высокой и некошеной, с яркими весенними цветами, чуждыми московской флоре,— летел на каких-то прозрачных и длинных крыльях по саду, среди высоких деревьев. Деревья цвели и цвели, опять-таки цветами, чуждыми нынешней московской флоре. И яблони и вроде не яблони. Значительно крупнее и красивее были их цветы.

Он взглянул на небо и узнал то облачко, которое видел в этом году так часто, когда выходил из цеха, направляясь обедать. Да, да, именно это ржаво-бурое облачко в виде розетки! Следовательно, небо московское?

Соседи, плывущие рядом с ним, тоже смотрят в небо, и как раз в область этого ржаво-бурого облачка вроде розетки. Впрочем, причина их интереса другая, чем у Николая Михалыча. Николай Михалыч быстро входит в круг их интересов, они близки ему. Там, далеко в небе, разбросаны невидимые сейчас тенета. По краям тенет стоят на особых аппаратах заправщики с метательными снарядами. Да, стоят неподвижно в небе! Стоят и ждут, не давая врагу обойти тенета и не давая ему возможности разорвать их, пока летчики не сядут в свои машины.

Летчики плывут к машинам. Среди летчиков Нико-

лай Михалыч. Слабо пожимая плечами, сознавая, что добрая половина его тела еще в той комнате, что находится в Москве 1944 года, Николай Михалыч, однако, не чувствует себя на особинке, а к тому же в небе начинает расти неприятный звук, похожий на то, будто точат какое-то огромное острие.

Лохматые деревья мелькают мимо. Уже видны на полянке, возле холма, летательные машины хитро придуманной формы, и вдруг Николаю Михалычу приходит в голову: «Да ведь это деревья «пенсив», это они цветут!» Кто-то подтверждает его мысль:

— Совершенно верно. Сады «пенсив». Сражение уже имеет свое название: «Сражение при «пенсиве»!

— А разве идет сражение?

— Довольно успешно. Сейчас вы увидите схему. Вам суждено успешно или неуспешно развить ее.

На дверце летательной машины движущаяся схема сражения. Дверца служит экраном. И внутри машины и снаружи ее мелькает и разворачивается схема сражения: по ту сторону ржаво-бурого облачка, за сферою тенет.

Николай Михалыч садится к аппарату управления. Несколько помощников вокруг и позади него. Летательная машина устремляется ввысь. Сады «пенсив» остаются внизу.

Машины прорезают облака. На мгновение буроватый туман закрывает горизонт, а затем распахивается искристо-лазоровое небо, перерезанное тонкими оранжевыми полосками. Это тенета! Аппараты стремятся туда. Их пропустят за тенета, и они должны уничтожить передовые корабли противника.

Но что за противник? Откуда он? Как ему удалось захватить часть стратосферы и укрепиться там? И вообще как ему удалось бежать с Земли и перебросить свои запасы и войска в стратосферу? Под руками Николай Михалыч ощущает лакированный, розового цвета столик. На столике возникают ответы на его вопросы и даже мысли. Никому не кажется удивительным, что командир летательной машины, ведущий ее на сражение с противником, расспрашивает о причинах появления противника, причем расспросы эти носят самый наивный характер, указывающий на человека иной среды и иного века... Сон? Нет, не сон! Николай Михалыч ведет машину и в то же время пробует но-

гой штукатурку возле своего окна. Он надавил на нее с силой. Посыпались мелкие куски. Они падают на сапоги, но падают неслышно. Его слух там, возле тенет, в сражении.

Впрочем, сражение еще не началось. Враг боится. Он маневрирует где-то в глубине кобальтового неба, группируясь в компактную массу. Этой массе должны противостоять машины Николая Михалыча и его друзей, противостоять до тех пор, пока не подойдут основные силы. Машина стоит неподвижно. Замерла и схема на дверце. Все ждут. Позади тихо разговаривают. Упоминается его имя. Да, говорят о Николае Михалыче Разломове, но не о том, который сидит сейчас в машине, а о том, который остался там, в Москве. Говорят о нем с огромным уважением, знают его былую жизнь до мельчайших подробностей, знают все его беды так, как он, пожалуй, и сам не знал их. Ему неловко. Он не чванлив. «Ах, все это, товарищи, преувеличено!» — хочет он сказать. Но как скажешь, когда разговор идет о прошлом, и зачем оскорблять это прошлое, если оно теперь уже не принадлежит ему, Николаю Михалычу, и, может быть, он сам не понимал всю ценность и силу этого прошлого, в котором он жил?! Какой восторг в их словах — почти до отвала!.. И, услышав, что сады «пенсива» носят имя Николая Михалыча Разломова, он ворчит: «Тоже, нашли Геракла!» Он старается думать о другом. Поскольку он все-таки не перестает касаться ногами штукатурки своей комнаты, поскольку не исключена возможность возвращения, и раз он ждет, и раз машина бездействует, то чем слушать ненужные восхищения Николаю Михалычу, не лучше ль «на себя, кума, оборотиться?» Он, улыбаясь, берет карандаш. Надо не их слова записывать, а набрать чертеж их летательной машины. Хитро придумано! Пока там своим умом дойдешь, а тут они уже сумели примыслить... Он чертит. Карандаш берет слабо, и он думает с сожалением: «Жалко, чертежного прибора нет, готовальни. Пойду возьму, пока машина стоит».

И отходит от аппарата управления...

...Он увидел комнату, окно, замазку, два свертка с ватой, продырявленную, побуревшую газету «Известия», горшок с ростком «пенсива».

Сон? Обморок? Видение? Галлюцинация, вызван-

ная странным и, возможно, вредным запахом, источаемым листвою «пенсива»?

Он хварывал не однажды. Случалось, бредил. И он-то знал, что такое бред, эта шальная, беспорядочно-дрыгающая смена картин и представлений.

Здесь же, наоборот, перед ним плавно, ярко и не спеша, совершенно правдиво развивалась картина, которую и сейчас он и видит и помнит отчетливо. Все части этой картины соединены в стройный лад, как хорошо сходятся без щелей пригнанные доски. Он мог бы, будь художником, сделать четкий рисунок того, что только что видел. Да и зря, что ли, он вернулся за тушью? Нет, это не бред, это было! И он вернется туда, чтобы начертать на бумаге самолет и вообще узнать, чем же там кончилось дело при садах «пенсива», хотя сады и расположены очень далеко и глубоко под сражающимися.

Вошла бабушка, поправляя на плечах шаль. Она внесла на тарелке очищенные луковицы, которые с картошкой любил есть Николай Михалыч. Картошка сварилась. Неужели? Ведь, когда он наклонился к дымке «пенсива», картошку только еще чистили. Неужели он простоял возле «пасмурного листа» свыше часу? Да! Часы подтверждали.

— Спасибо, бабушка. Кушайте. Мне не хочется. Разве попозже,— сказал он, растирая тушь на фарфоровой тарелочке и осматривая готовальню, оставшуюся от занятий на курсах повышения квалификации.— Вы кушайте, кушайте, я через часик!

Прибежал самый младший из детей. Ему понадобился молоток и гвозди. Николай Михалыч нашел ему гвозди, дал молоток и опять остался один. В соседней комнате старушки, скромно почавкивая, ели картошку.

Николай Михалыч взял тушь, чертежный прибор и подошел к «пенсиву».

Он не очень был доволен собою. Что за нелепая мысль — идти в будущее с тушью и чертежным прибором? Ну, возьми чернильницу, куда сподручнее. А, с другой стороны, почему сподручнее чернильница? И это и то одинаково необходимо для одной цели: доказать самому себе реальность происходящего.

И он опять наклонился над горшком. Опять пахнуло мокрой землей, нагретой солнцем, опять пальцы коснулись краев горшка, и опять он увидал нежней-

шую сердоликовую дымку. Сердце его сжалось. А вдруг ничего нет, вдруг ничего не увижу?..

...Обстановка изменилась. Противник перешел в наступление. Наши машины набирали высоту, вскачь поднимаясь навстречу противнику. Николай Михалыч пришел вовремя. Его приветствовали ласковыми улыбками и кивками. Он сел к аппарату управления перед лакированным розовым столиком. Бумага с пометками ждала его. Он вспомнил о своей туши и чертежном приборе. «Не зря же я уходил в Москву», — подумал он и бегло, наскоро сделал несколько набросков. Спутники замолкли, не желая мешать ему. И от этого он торопился еще более. «Плохо черчу, плохо, — шептал он. — Кабы не вскаяться».

Схема на двери бешено завертелась.

Николай Михалыч поднял голову, огляделся. Его спутники напряженно глядели вперед. Они перебрасывались короткими фразами, и Николай Михалыч только сейчас понял, что они говорят на языке, сильно отличающемся от того, на котором он говорил когда-то там... «Где там? — поймал он себя на огорчившей его мысли. — Почему там, если я одновременно и здесь, в моей Москве?» Впрочем, мысль эта была мимолетной. Он прислушивался к тому, что говорят его спутники.

Положение очень опасное. Противник хочет оцепить Землю, накрыть ее сплошным покровом, поглощающим лучи солнца. Если не помешать, через час, два, три солнце для Земли погаснет, и наступит вечная холодная и гибельная ночь. Все светлое и радостное, что существует на Земле, все то, ради чего трудилось и боролось в далеких веках человечество, ради чего умирало, страдало, лежало в ранах и болезнях, все погибнет. Вся прекрасная, утонченная, изысканная и миловидная Земля должна потухнуть! Силы зла тушат ее, тушат все подряд, начиная с букашки и кончая золотыми яблоками Гесперид.

Яблоки? Золотые его яблоки, ростки жизни, выведенные тогда, когда неистовый враг хочет растоптать его Родину, — разве и это должно быть растоптано, уничтожено?! Ах, чего ты раскаркалось, сердце!

Между тем небо приобретало зловещий оттенок мокрой глины. Холодела летательная машина. Дрожь пронзала тело Николая Михалыча. Небо густело Швырком, похожие на деревянные клинья, метнулись

сверху машины врага. Летательная машина Николая Михалыча качнулась и завибрировала... «Тушь как бы не пролить на столик, испачкаю...» — подумал он, чувствуя в левой руке роящуюся боль...

...Он отшатнулся.

Рукава его рубашки были засучены выше локтей. Левая рука, от локтя до пальцев, была разрезана. Кровь лилась в горшок, капала на свертки ваты, на подоконник.

— Дай-ка, бабушка, тряпочку какую, руку мне поранили! — крикнул он.

Выбежала бабушка, держа в руке картофелину.

Но когда она подошла к нему вплотную, раны уже не было. Она словно испарилась. Высохла и скрылась кровь. Только у самого локтя остался небольшой порез, и к тому времени, когда бабушка нашла тряпицу, исчез и этот след сражения при «пенсиве». Бабка недоуменно глядела на него. Николай Михалыч сказал:

— Дай-ка, если осталась, картошки.

— И лучку?

— Ну, и лучку, — сказал он. — Чего-то мне поесть захотелось.

И все-таки ел он плохо.

Окончив еду, он начал звонить в Тимирязевку. Долго он не мог добиться кабинета профессора Брасышева. И чем чаще он звонил, чем чаще гудел звонок, показывая, что телефон занят, тем теплее ему становилось. «Приехал, разговаривает, обсуждает факт», — думал он. Оказалось, что радовался он понапрасну. Приехал младший помощник Брасышева. Он весело крикнул в телефон: «Это ты опять, Катя?» И был очень огорчен, что серьезный мужской голос спросил его о профессоре Брасышеве и «пенсиве». Он ответил, что новых данных пока нет, что к этой экспедиции он лично имеет побочное отношение и что Брасышев вернется к концу лета. И, тяжело дыша, начал ждать у трубки звонка своей Кати.

«Куда же мне девать теперь росток?» — подумал Николай Михалыч.

Левая рука его, та, что была ранена, если это можно назвать раной, все еще сжимала скомканную бумагу, которая в момент ранения лежала на розовом лакированном столике в кабине его летательного аппа-

рата, там, у «тенет». Бумага сухо похрустывала. Он боялся разжать руку. А что, если просто клочок не заполненной ничем белой бумаги? А ведь он чертил! И его спутники почтительно смотрели на его чертеж, понимая, очевидно, по-своему происходящее... Пустой листок? А где же готовальня? Где фарфоровое блюдечко с тушью, захваченной им с собой «туда»? Ведь тюбик туши с серебристой бумажкой на кончике все еще лежит на подоконнике...

Ему мучительно захотелось проверить, что случилось с его аппаратом, да и что там происходит у «тенет», как себя чувствуют его спутники. Нехорошо, что он бросил их, да и подраться хочется, раз уж начал...

И он наклонился к листьям «пенсива».

Все семь яшмово-серых листьев развернулись во всю свою ширину. Оранжевая каемка исчезла. Исчезла дымка. Исчез и запах.

Он видел чисто вымытое стекло, московскую улицу, трамвай, автобус, толпу...

---

...И он сказал, обращаясь ко мне:

— Ну вот, вчера вздумал еще раз посмотреть. Не знаю и зачем, поощряя беспорядки. Сердце по сыну ныло... Думаю, утешит «пасмурный лист». А он и впрямь пасмурный. Молчит! Не удостоил, ничего я не увидал. Кроме нашей улицы. И запаха не было. Я даже, поощряя беспорядки, малость рассердился на свой «пасмурный лист»!

Мы сидели с ним на скамейке все той же малахитово-прелестной липовой аллеи. Смоляно-бурая дорожка подсохла, но возле скамьи осталась лужица, впрочем, узенькая: чуть вытяни ноги — и попадешь на сухое место. Николай Михалыч опустил, не замечая того, калоши прямо в эту лужицу мышиного цвета... Я сказал:

— Мое мнение, Николай Михалыч, что не стоит вам сердиться на «пенсив».

— Хочешь сказать: пригрезилось?

— Голова закружилась...

— Я б радовался-то как, закружись она! А только, поощряя беспорядки, — ведь бумага осталась и мой чертеж на ней. Как тут быть? Я же «там» чертеж сделал...

Я уговорил его показать мне листок бумаги с чертежом, сделанным в аппарате у «тенет». Он согласился лишь при том условии, что я не покажу его неумелого чертежа другим инженерам. «Тебе верю, а те надсмеются над стариком, поощряя беспорядки».

Лист был слабо-табачного цвета и только формой напоминал бумагу. Вещество, из которого он состоял, было непроницаемо для воды, его нельзя было разрезать ножом, и, более того, пуля парабеллума не пробила бы его. Он был упруг, как проволока. Тушь лежала на нем плотными и легкими чертами.

Отчетливо разглядел я конструкцию летательной машины совершенно своеобразного типа и притом настолько убедительно начерченной, что я немедленно поехал к знаменитому конструктору Раевскому, — разумеется, тайком от Николая Михалыча, — выпросив у него его лист на полчаса: «Подумать над ним дома».

Конструктор Раевский так и впился в представленный мною документ.

— Полгения гарантирую, — своим характерным, грассирующим говором сказал Раевский. — Он, камилавка этакая, угадал все, что мы тщетно искали. И на полсотню лет вперед заскочил. Кто он такой, камилавка этакая? Я его немедленно беру к себе! Да кто же он, говорите, камилавка вы этакая?

Я рассказал.

Конструктор Раевский напряженно слушал меня. Глаза его гордо заблестели, когда я окончил. Он сказал:

— Одно слово: мой народ — ключ ко всему, а к будущему в особенности. Что же касается лично этого Николая Михалыча, он полгения, пока не обучен, и гений, когда кое-чему научится, камилавка он этакая. Я его беру к себе, повторяю!

— А «пенсив»? И любопытно, явления, которые наблюдал Николай Михалыч, отмечались ли в оранжерее академии?

— Сейчас узнаем.

Он позвонил по телефону. Профессор Брасышев все еще не возвращался. Никаких явлений при появлении ростков «пенсива» в академии не наблюдалось. Ростки развиваются успешно.

— Благодарю вас, — сказал Раевский и положил трубку. А затем обратился ко мне: — И то сказать, кто

будет наклоняться к «пенсивам» и замечать еле уловимую сердоликовую дымку? Или запах? Теплица огромна, профессора Брасышева нет, а на все нужен талант и внимание!

И добавил:

— Росток «пенсива» останется при нашем конструкторском бюро. Мы его вырастим не хуже Тимирязевки. «Пенсив»! Мне он нравится, камилавка он этакая. Хорошее название! Пусть яблоко из сада Гесперид сияет золотом, пусть оно бесценно. И пусть все же его «пасмурный лист» дрожит, трепещет перед нами, напоминая постоянно, что весна и счастье человечества могут смениться пасмурными днями, войной, если мы не будем наблюдать и стеречь наше благо, наши яблоки Гесперид!

Я спросил:

— Следовательно, сражение при «пенсиве» вы считаете исторически возможным?

Он ответил:

— Будет исторически возможным. Если сегодня до смерти не додавим всех гадин! Если не отплатим за отца, плененного у Николая Михалыча, за сына его, за все страдания нашего народа

## ОПАЛОВАЯ ЛЕНТА

Сергей Сергеевич Завулин, доцент Педагогического института по кафедре западноевропейской литературы, в сопровождении студента Валерьянова шел вдоль набережной Волги. Приятным, грудным и раскатистым голосом он излагал историю постановок «Макбета» в России и за границей. Излагал вот почему. Областной театр имени А. Н. Островского долго и усердно готовил «Макбета». Спектакль имел успех. Завулин тут же, на общественном просмотре, предложил областным властям устроить для студентов и передовых рабочих трехдневную Шекспировскую конференцию, чтобы «умственная алчба молодежи была насыщена и гений творческой настойчивости еще ярче запылал над славным нашим городом». Досаждая всем чрезмерной своей восторженностью, он встретил в фойе студента Валерьянова. Студент читал журнал «Большевик». На живой и проворный вопрос Сергея Сергеевича о постановке студент, сдержанно похвалив Шекспира и Областной театр, выразил колкое желание увидеть в театре современную английскую пьесу: о войне, втором фронте, психологии теперешних англичан... Взорвалась обычная завулинская пестарда! Сергей Сергеевич уже не отпустил студента. Он увел его с собой, и теперь, морщась от досады и упоенно вздрагивая после каждой своей фразы, словно яблоня, с которой трясут плоды, доцент восклицал:

— Помилуйте, Валерьянов! Война с фашизмом повышает и без того повышенный интерес к мощным шекспировским страстям. Мы воюем за гуманизм. Шекспир — рожден гуманизмом, он — высшее проявление его. Теперь, воистину, мы видим творца истории чело-

века не по пояс, а во весь рост. Мы уподобились и даже превысили лучшие идеалы человечества. Люди — не кактусы, как прежде, колючие и искаженные; люди — широколиственные! И они широколиственны, широкожадны в искусстве. Помилуйте, как же иначе? Уместно вспомнить гусеницу, что, кажется, навечно заткалась и укуталась в свои сети, даже она, под упорными лучами солнца, взлетает обновленной! Неужели же вы, взмыленный великим прибоем истории, прислонитесь сердцем к пошлому рационализму в искусстве?

Завулин говорил образным, метафоричным языком, редко употребляемым профессорами. Язык его смущал педантов. И это было одной из причин, почему он, перешагнув за сорок, все еще не получил звание профессора. Поэтам и молодежи видно было, что Сергей Сергеевич, во-первых, превосходно почувствовал язык Шекспира, а во-вторых, он не забыл своего крестьянского происхождения. Перо гения и плуг пахаря одинаково глубоко и легко вздымают родное слово и землю. Студенты всегда слушали его очень внимательно.

Валерьянов слушал его тоже внимательно, хотя, от непривычки к дневным спектаклям, студент утомился, ему хотелось есть, и он опасался, что опоздает в столовую. Кроме того, ему в институте предстояло ночное дежурство. Костлявый, с голодными голубыми глазами, в длинной черной одежде, студент тихим и почтительным голосом, по-прежнему не оспаривая величия Шекспира, продолжал отстаивать свое мнение. Современная драма, пусть сто раз менее талантливая, способна воздействовать в тысячу раз сильнее шекспировской. И совсем не по части пошлости! Шекспир требует историко-литературного комментария, а главное, первоклассных актеров. Современную пьесу комментирует сама жизнь. Первоклассные актеры не обязательны. Они и не обязательны вообще в жизни, если ей дано нормальное направление...

Не дав закончить фразы студенту, Сергей Сергеевич взволнованно проговорил:

— Боясь обеспокоить себя поисками первоклассной роли на земле, вы соглашаетесь на любую, данную кем-то другим роль? Это что? Слабость? Или боязнь мечты? Боязнь ошибок? Я не верю в вашу душевную слабость: на войне вы хорошо показали себя. Зна-

чит, вы боитесь мечтать! Будь кто другой на вашем месте, Валерьянов, я, не колеблясь, назвал бы его мысли пошлым рационализмом. Боязнь мечты! Именно боязнь мечты извращает путь истины. Лучше кривые, неправильные, даже смертоносные тропинки мечты, чем прямая и широкая магистраль пошлости. Не верю! Он уже прошел широкий перистиль, перед ним открылся перрон мечты, а он клятвопреступно возвращается, ползет через подворотню к чужому мещанскому двору?!

На эту новую петарду своего учителя студент хмуро ответил:

— Между мной и мещанским двором, Сергей Сергеевич, давно уже вырос высокий перпендикулярный откос. Разрешите закончить свою мысль?..

По набережной, четырьмя потоками, двигались плохо одетые люди. Два потока направлялись к парходным пристаням, два — к вокзалу. Между потоками, разделяя их, со щеголеватым грохотом скакали по низым булыжникам телеги и грузовики, доверху полные одеждой, обувью, пищей, снарядами. Четыре потока лип, чванливо украшенных осенним золотом, лениво перебрасывались листьями. Несколько фуражек, три крестьянские шапки и шляпа приподнялись и наклонились в сторону доцента. Остановился только один. Он надолго помешал студенту закончить его мысль, а Сергею Сергеевичу — выразить почти щеголеватое внимание к мысли студента.

Студент увидал упрямый и круглый затылок, не прикрытый ни фуражкой, ни шляпой, ни шапкой. И не нужно было особой проницательности, чтобы увидеть, какое пагубное отчаяние преследовало этого пожилого человека. Отчаяние кольнуло и сразу проникло в сердце студента, сотрясло и целиком охватило Сергея Сергеевича.

Пожилой человек стоял вполоборота к студенту. Он опасался повернуться, словно перед ним могла тогда встать опасность падения в пропасть... а так еще есть надежда идти, найти... он бормотал, казалось, отвечая на чьи-то вопросы:

— Тринадцатилетняя. Прилично одета. Имя? Неонилочка. Неонилочка! Любимица. Нежил. Баловал. В школе не появлялась с утра. Обошел знакомых. Родных нет: приехали недавно. Умерла, убили?.. Всюду

разослал телеграммы. Где она может быть? Кто погубил?..

Сергей Сергееч с острым вниманием смотрел на круглый затылок бормотавшего. Студент почти физически мог ощутить колебания Сергея Сергееча, не зная, впрочем, в чем состоят эти колебания. Вскоре доцент подвел свое лицо к лицу пожилого человека с круглым затылком и, явно стараясь придать наибольшую познаваемость своим словам, проговорил:

— Губит не «губа», забитая льдом, товарищ Румянцев, а губит губа, забитая молчанием. Что вы скажете?

Пожилой человек прикрыл воспаленными веками глаза, несколько секунд подумал и, не ответив доценту, клонясь вбок, пошел. Сергей Сергееч уже суетился вокруг садовой скамейки. Похлопав руками, как курица крыльями перед тем как сесть на насест, Сергей Сергееч плавно опустился на скамью.

— А что вы скажете? — обратился он к студенту. — Я всегда думал, что в книге легко открывать чужие ошибки. Еще легче написать такую книгу. Труднее открыть ошибку в жизни, струящейся мимо нас, и подвести ее под книжное правило. Не подумайте, что я доказываю бесполезность книг, я говорю, что требуется гораздо больше остроумия для открытия, уличения и ареста преступника, чем для составления руководства для агентов угрозыска и следователей. Но, опять повторяю, труд составителей подобных книг не становится оттого ненужным и пустым. Я, например, в данном положении, чрезвычайно рад был бы прочесть что-нибудь по нашему вопросу, Валерьянов. Но, кажется, вопрос только разрабатывается, а что говорить о преступнике, если я уверен, что он не совершал преступления?

Студент от природы был хмур, от молодости — застенчив, а особенно смущался он с доцентом, про которого говорили, что достаточно взгляда, брошенного на него знакомым, как готова длинная, затейливая и забавная история! Это была вторая причина, почему Завулину не давали звания профессора. Завулин знал о ней и говорил: «Русский человек, будучи едва ли не самым фантастичным в мире, предпочитает считать себя реалистом». Студент был подвержен любопытству. Путешествия он считал первым и вернейшим спо-

собою удовлетворения любопытства. Сергей Сергеевич Завулин никогда и никуда не путешествовал, разве только за город, на рыбную ловлю, которую любил страстно: «Потому что в жизни не мог поймать ни одной рыбы и хочу поймать щуку». Путешествия и поездки, по его мнению, лишь расстраивали и мешали воображению. Мало того, он решительно отказывался от командировок, даже в центр. Это была третья причина, почему ему не давали звания профессора. Первой причиной, почему его не лишали звания доцента, как должно было бы поступить согласно трем предыдущим причинам, была та, что он превосходно знал свой предмет, с жаром говорил на лекциях дельные и забавные вещи и полон был оптимизма того редкого оттенка, который никогда не впадает в оптимистический догматизм.

В силу этих обстоятельств студент испытывал смутное и напряженное состояние человека, находящегося в глубоко утаенной засаде. На повторный вопрос Сергея Сергеевича: «Что же вы скажете?» — студент мог издать звук вроде вспышки пистона, без последующего выстрела, так как в патроне не оказалось пороха.

Тогда Сергей Сергеевич, тоном учителя, сказал:

— Ну, что ж, свершим в таком случае умственный обзор города и над городом. Взгляните на дома, реку, набережную и тучи. Замечаете ли вы что-то несравненное, чудесное, фантастическое, вроде бриллиантовых подвесок в ушах лошади? Последите, например, взором путь от набережной до пединститута...

Отсюда до института довольно далеко. Правда, путь, вследствие своей живописности, мало утомителен. Все время вы идете вдоль чарующей и размашистой, как песня, Тургеневской набережной, усаженной липами в дни, когда создавалось «Дворянское гнездо». Особенно хороша здесь осень. Вы попираете ногами золотые отлепья листвы. От цвета и запаха их голова ваша слегка кружится: «в расхмель», как говорят здесь. А листвы наверху еще много-много! Липы под ветром с реки качаются, словно рваные попоны загнанных шекспировских коней, коней Гамлета, Лира, Цезаря... Недаром наш город любил Шекспира!.. А небо за липами простое и легкое, как русская развалистая телега, что мчится на ярмарку под сыпучий и се-

ребряный звон бубенцов... Да, не даром наш город любит Островского!..

Но сегодня небо странное. Студент пристально всматривается. Небо густое, тучи низко опущены и какие-то тревожно разноцветные, словно вдребезги разбитая радуга. Студент уныло глядит на журавлинотдлинные протоки Волги, разделяющие невысокие холмы, поросшие мелким и беззаботным леском. Во всем окружающем только и беззаботности, что этот лесок! Плоты, пароходы, баржи,— и высокие, груженные лесом, и почти в уровень воды,— с нефтью — плыли в том же густом, неприятном разноцветии, что и город.

— Что же вы скажете?

Студент ответил:

— Дым и пыль. Предприятий за войну выстроено много. Большой город лежит в долине, замкнутой невысокими, но плотными горами. Волга здесь узка, извилиста и тоже приперта горами. Ветру неоткуда пробиться, чтоб развеять дым и пыль...

— Объяснение верное, как на уроке. Со своей стороны добавлю техническое определение. «Аэрозолями» называется распыление веществ, различно окрашенных. Их легко рассортировать. Вон там, влево, над церковью пророка Илии, вы видите пурпуровый дым? Это — индулин. Правей от церкви, над Пионерским сквером, ближе к Воскресенскому монастырю,— желтый дым. Аурамин. Между ними, над розовым кубом обкома партии,— индиго. Но разве я смогу описать вам аэрозоли, Валерьянов? Нам их сегодня весьма красочно опишет инженер Хорев. Мы его непременно должны увидеть! Это очень способный инженер. Я ему послал два билета на общественный просмотр «Макбета», но инженер не пришел. У него есть печатные труды по аэрозолям. Он что-то там изобретает в области искусственного рассеивания аэрозолей, а может быть, коагуляции их с целью вызвать дождевание аэрозолей, не знаю. Меня интересует другое. Инженеру Хореву известно, что туманы над промышленными центрами, вроде нашего, содержат довольно большой процент органических и минеральных растворимых веществ, образовавшихся при сгорании топлива, известен и вред, причиняемый ими промышленности, иначе он бы не работал над искусственным рассеиванием или коагуляцией аэрозолей. А вот — возникла ли у него в

голове мысль: данные условия подходят к тому, чтоб в аэрозолях возникли своеобразные животные организмы?

— Микробы, несомненно, — сказал студент.

— Ну, микробы! О микробах знает и младенец. Я повторяю: своеобразные и небывалые организмы.

Слово «небывалые» доцент произнес серьезно и подчеркнуто. Валерьянов и секунды не допускал, будто разговор действительно идет о каких-то небывалых животных организмах. Что касается его, то ему за глаза хватит и обыкновенных животных организмов! Мыши и крысы, например, в общежитии замучили! Валерьянов подумал: «Терзается. Плохо поступил. Потерял человек дочь, подходит к нему — горе выплакать, а тот ему, грубо и нелепо, о какой-то губе. А теперь уводит себя в сторону небывалых организмов». И ему захотелось успокоить мягкую и добрую душу доцента. Валерьянов проговорил:

— Вряд ли нам, Сергей Сергеич, посредством наших библиотечных каталогов о западноевропейской литературе, открыть те небывалые организмы, о которых вы говорите. Инженеры, закончив дела по устройству города и предприятий, взглянут, если понадобится, и в небо.

— Закончив дела?.. Валерьянов, вы и сами не знаете, какую блестящую мысль вы изволили сказать! Закончив дела! То-то и затруднение, что они не желают заканчивать дела. Они — трусят.

— Кто?

— Инженер Хорев и его соперник — инженер и доктор технических наук Румянцев. Я ему тоже послал билет на «Макбета». Он не пришел тоже! Со стороны посмотреть, причина уважительная: дочь потерял, ищет. Но вот вопрос: потерял или выгнал. Вы его, Валерьянов, видели. Ну, и что же вы скажете?.. Едва я ему намекнул о «губе», — он убежал. Почему? Напомню, «губой» на Севере называют морской залив. Обская губа. Я не утверждаю, что лет десять тому назад Хорев и Румянцев встретились и поссорились в Обской или другой губе. Но вот врач Анисимов, служивший тогда на пароходе «Основатель», утверждает, что они могли бы встретиться. Могли бы!.. — протянул он насмешливо. — То-то и затруднение, что они не встретились. А ссора произошла! Безмолвная. Такая

яростная, что, кажется, они в росте сократились, уменьшились. И десять лет не встречались. Да что там десять, сто и тысячу лет не желают встречаться! Узнав, что кресла их на «Макбета» рядом,— не пошли. Ну, что — «Макбет», опыт, действительно необходимый не только нашему городу, но и всей стране,— тянут, отсрочивают, лишь бы не встретиться на одной комиссии, лишь бы не говорить друг с другом...

Завулин помолчал, пропуская грузовик, и, перейдя поспешно улицу, проговорил:

— Лишь бы не говорить!.. Что же они опасаются услышать? Оба они люди советские, проверенные самоотверженной работой, оба знатоки своего дела, характеры у обоих сносные... что же произошло? Что может произойти? А может произойти только одно: в пылу десятилетия копившегося раздражения кто-то из них обвинит другого обвинением страшным, но почти не поддающимся проверке. Кто-то из них отпустил на свободу «оранжевую ленту».

Он прислонился спиной к палисаднику, запальчиво глядя на студента, поверх толстых очков, своими близорукими глазами. От странного освещения у него был тот голубо-серый цвет лица, который носит название — дикий. Лицо у Сергея Сергеича большое, с огромной челюстью и с такими толстыми губами, что кажется, достаточно ему шевельнуть концами губ — и длинная речь готова! Вдобавок к словам он разыгрывает все время у губ что-то сложное своими тонкими пальцами. Пылко, а вместе с тем и жалобно он воскликнул:

— Валерьянов! Способны ли вы впасть в ужас перед лицом необъяснимой пока физической опасности? Должен признаться,— я пугаюсь и слабею. Я внутренне рассыпаюсь, как глиняный горшочек, в который ударили сапогом.

Сквозь пепел недоумения, растерянности и даже одури на лице студента выступила краска. Он жаждал физической опасности! На войне студент перенес тяжелое ранение в область сердца и едва выжил. В теперешнем своем состоянии студент не знал, какую порцию физической опасности физически он вынесет, но он желал ее побольше. И он сказал:

— Попробуем, Сергей Сергеич. Пока жив, можете опираться. Но вы преуменьшаете свои силы.

— То преуменьшаю, то преувеличиваю. Чашки весов воображения скачут весьма динамически, но вес гирь — воли неизвестен. Кладешь — пуд, а тянет, дай бог, полфунта.

Говоря о воле, он достал портсигар и начал крутить папироску. Три года назад он бросил курить. Но мало отшвырнуть искушение, надо еще и смеяться — в поучение другим — над искушением. Когда он волновался, он брал табак, крутил папиросу, вставлял ее в мундштук — и раскручивал ее обратно в портсигар. Измельчив таким образом табак до пределов пыли, он переходил к нюханью. Разумеется, он не нюхал! Для чего-нибудь дана воля? Он подносил понюшку к носу, смотрел на нее поверх толстых и сверкающих стекол — и высыпал понюшку на землю величественно, как сеятель сыплет зерно. Израсходовав этим путем содержимое портсигара, он набивал его свежим табаком. Среди городских курильщиков воля его котиновалась очень высоко.

— Весьма признателен, Валерьянов. Возможно, ваша воля потребуется мне нонешней ночью. Помните: «омерче солнце и воздух от дыма»? Так вот, мы узнаем, отчего помрачилось сердце инженера Румянцева. А если он не хочет искать свою дочь, мы найдем ее!..

Обогнув палисадник, наполненный бурной черемухой и беспощадным шиповником, безжалостно, казалось, впившимися друг в друга, они остановились в школьном дворе.

Широко-щедрый двор сверкал ослепительно и чисто. Хлопали рамы. Школу проветривали, и она, будто смеясь, бросала на двор весь свет, который ей удавалось собрать с блистательных туч, клубящихся над городом.

Показалась вторая смена, рдяная и легкокрылая.

«Литератор», бывший ученик Завулина и заместитель директора, беззаботный и безмятежный, как сон, обрадовался случайной встрече. Он желал услужить. Завулин попросил стакан воды. «Литератор» блаженно-ярким голосом заговорил об учебниках, которых не хватало, теплой осени, которой было так много, заготовленных дровах, которых, возможно, хватит, школьном огороде, который, возможно, обеспечит завтраками детей. Доцент пил воду маленькими глотками, без-

умно широко махал шляпой и рассеянно посматривал на проходивших мимо учениц. Он обратил внимание педагога на одну. Она приближалась медленной и уверенной походкой.

— Чей это гордый карапуз? Хорошо идет. К почету.

«Литератор» заблагоухал радостью, поощренный чуткостью бывшего своего учителя.

— Прекрасная, умная девочка. И вы, Сергей Сергеевич, угадали. Горда, замкнута, слова не добьешься. Да и то сказать, на два класса идет вперед выше своего возраста. Одиннадцать лет... Надя. Дочь Ольги Тиондер. Знаете, видный работник Областной плановой комиссии? Еще недавно ездила, по шефскому заданию, от города в Орловскую область... Мы через нее восстанавливаем школам области направили подарки: библиотечку, географические карты...

— Прекрасно, прекрасно! — в восторге воскликнул доцент, поднося свернутую папироску ко рту. Табак ли попал ему в нос или другое, но он чихнул столь крепко, что на мгновение заглушил хлопанье рам. Папироска, мундштук, недопитый стакан свалились в шляпу, которая, описав пленительную и свободную параболу, упала далеко, у палисадника. Крошечная девочка, бросив книжки, кинулась за шляпой. Доцент — за книжками. Они столкнулись. Сергей Сергеевич упал, вернее, хотел упасть. Сидя на корточках, он подал девочке книжки. Сдержанно улыбаясь, она вернула ему шляпу и отошла своей задумчивой походкой. Возвращая стакан «литератору» и нежно глядя вслед девочке, доцент сказал мягко:

— Улыбочку-то удалось выманить, а?

Перед тем как скрыться за школьным палисадником, Сергей Сергеевич обернулся. Девочка возвратилась. Она усиленно искала что-то в том месте, где обронила книжки. Пряча в бумажник, под удивленным взглядом студента, крошечный обрезок дешевой ленточки, оранжевой и узкой, выпавшей из учебника и подобранной Сергеем Сергеевичем весьма поспешно, доцент проговорил:

— Идите обедать, Валерьянов. Обедать и размышлять. Вы не болтливы и не поэтичны, и это, пожалуй, жаль. Чужую фантазию так же трудно подталкивать, как располагать по классам солнечные блики на песке. Однако прошу заметить, что исчезнувшая дочурка

инженера Румянцева учится здесь же в утреннюю смену, а мать девочки, уронившей книжки,— жена инженера Хорева. Ей тоже был послан билет, и она тоже не пришла на «Макбета». Размышляйте, я вам дам знать о себе!

Смеркалось, когда Завулин появился в квартире инженера Хорева и жены его, работника плановой комиссии, Ольги Осиповны Тиондер. Как раз перед приходом доцента муж рассказывал жене, насколько готов его «эксперимент 27». Еще три месяца, и опыт можно будет произвести в общегородском масштабе! Три месяца? Жена возражала против этого срока. Меньше чем через три месяца — невозможно! — и не раскрой муж свою мысль с крылатой и свирепой горячностью, ее плодоноснейшая пустошь осталась бы незасеянной, и доцент не произвел бы того шума, великолепие которого он отнес к силе своего красноречия, хотя, надо сказать, в тот вечер он был звонко и певуче красноречив, как всплеск волны.

Ах, какой чудесный вечер удалось провести доценту! Чудесный вечер в чудесном кабинете. Правда, супруги были недовольны его приходом. Жена — вначале, а муж — чем дольше, тем глубже. Высокий, в полосатой одежде, похожий на тын, он глядел на доцента своими громоздкими глазами, словно очерченными копотью. Среди прочих знаний своих он превосходно знал зоологию, и взор его говорил: «Эх ты ястреб! Ястребок! *Falco tinnunculus*», — а попросту — пустельга, способный ловить только мышей и насекомых. Пустенькая, вздорная пустельга!» Пустенький-то пустенький, но, кроме того, инженер предчувствовал, что внешне ответ на вопрос: «почему он не был на «Макбете», и мог быть убедителен, но внутренне для него самого он был вздорен, пустельговат. Готовился к важнейшему совещанию областных работников по экономии топлива? Согласен сидеть на совещании с человеком рядом, хотя и не говоришь с ним уже десять лет, но не согласен сидеть с ним рядом в театре? Что это за отдых сидеть в театре, неподвижным и надутым, как бутылка?! Пустяки! Он в театре сидел бы веселый и рядом хоть с чертом, если бы приготовил «эксперимент 27». Он отсрочивает эксперимент на три месяца, самое меньшее. Кое-какие аппараты не проверены. Он отсрочивает решительно и бескомпромиссно.

Поздоровавшись с доцентом, инженер замолчал. Он умел молчать так внушительно, что человек, на которого обрушивалось его молчание, чувствовал себя опустошенным и разоренным. Пресный, полинялый взор его опустошал и разорял всех, кроме Ольги Осиповны, на которую никакая тусклость и мутность не действовали. «Об этом еще следует препираться», — говаривала она в таких случаях.

Ольга Осиповна — коренаста и приземиста, из тех людей, которых от Курска до Новгорода называют «окоренок». Окоренок — это комлевая часть пня, корневище, лапа с кокорою; такие кокоры употребляют на фундаментные столбы под избу и на воротную веревку. Голова Ольги Осиповны, приятной овальной формы с голубыми, добрыми глазами, крепко и устойчиво сидела на свежей шее с двумя алыми родинками под подбородком. Ее раздосадовал приход Завулина не потому, что она плохо относилась к Сергею Сергеечу. «Он живет швырком, — говорила она о доценте, — но из окна не способен выпрыгнуть», а это было почти похвалой. Досадовала она потому, что действительно горячо готовилась к областному совещанию по экономии топлива. Она не страшилась выступлений. Наоборот, доказывать и убеждать, броситься на противника, полить его холодной водой, придавить и отбросить было для нее великим наслаждением, даром эпохи. Но выступать по обычной теме, когда предстояло выступить, загреметь и упасть, как громовая стрела, это все равно что закупоривать шлюз плотины втулкой от бочки. Должны были встретиться и предложить свои опыты два таких ума, как Хорев и Румянцев. Ультразвук и электрофильтры Хорева. Сверхэкономический метод сжигания топлива инженера Румянцева. И фильтры Хорева, а еще более коагуляция аэрозолей посредством ультразвука должны были бесконечно взволновать совещание! Уже несколько лет город жалуется на аэрозоли, а нынешняя осень, душная и неподвижная, даже трудно выносима. Не говоря уже о вреде аэрозолей в гигиеническом отношении, сернокислые и азотнокислые туманы буквально пожирают оборудование и строения! А засорение аппаратуры и механизмов, а порча технических масел? А кто уносит окислы металлов цветной металлургии? А — взрывы? В этом году произошло два взрыва аэрозолей.

К счастью, на предприятиях не было рабочих, но разве это счастье будет повторяться каждый раз?..

Нет, она не боится говорить, как ей не страшно молчание. Допустим, ей неудобно выступать в защиту «эксперимента 27» или против «сверхэкономического метода Румянцева», потому, мол, что первый — ее муж, а второй — уже десять лет в ссоре с ее мужем по не известной никому причине. Но правда для нее дороже, чем ссоры двух друзей. И разве она побоится выступить в защиту предложения инженера Румянцева?.. И разве она побоится молчать, испытывая удовольствие, что присутствует на обсуждении крупнейших вопросов современной техники?! Но молчать оттого, что оба инженера опять отсрочивают свои опыты, и говорить, и готовиться к выступлению на обычную тему о мелких предприятиях, которые всюду и всегда немилосердно жгут топливо... готовиться трудно! Вот почему она досадовала на приход Завулина, пока не разобралась, зачем он пришел. Вот тогда-то и начался шум, и доцент Завулин позже имел возможность процитировать Неемию студенту Валерьянову: он-де «пряхся со стратигами». Сергей Сергеевич в цитатах соблюдал равновесие. Западу он противопоставлял Восток, Востоку — Запад. Пророка Неемию, полулирически, полунасмешливо, он процитировал про себя, когда входил в кабинет инженера.

Кабинет словно вычерчен тонкой иглой ксилографа, иглой какого-то искуснейшего резчика по дереву. Полка с книгами, кресла, столы, две-три гравюры с морскими видами не существуют сами по себе, они лишь едва намечены, им предназначено поддерживать человеческую мысль, быть тоном в картине. И, что самое главное, никакого постановочного замысла при создании этого кабинета не существовало. Ксилография получилась сама собою. Предметы бесприкословно подчинились мысли человека, подчеркивали ее. И доцент пожелал, чтоб его мысль была равной мысли Хорева. Он желал, чтоб инженер полностью понял его. Поздоровавшись, Сергей Сергеевич сказал:

— Я шел сюда не без смущения. Мне припомнился первый закон Ньютона. Каждое тело пребывает в покое или совершает равномерное движение по прямой линии, если на него не действуют никакие силы. Я мало знаю технику, любя и уважая ее. И как мне ее

не уважать? Всю жизнь я сидел в литерной ложе у самой сцены западноевропейской литературы, наслаждаясь великим зрелищем творчества. А теперь? Ложа осталась, а сцена заполнилась призраками из мрака с пустыми тыквами вместо голов. Со сцены несется запах сжигаемых трупов — людей и книг, крики грабителей и расхитителей. Ужасно! Сцену надо очистить, и сцена очищается. Моим народом! При помощи техники, создаваемой моим народом. Мне ли не быть благодарным этой технике, этому народу? И вот, Гавриил Михеич, позволительно ли мне спросить? Я — доцент, скромный учитель, читаю лекции. Таких много. Я — ложка, при помощи которой студенты вкушают пищу науки. Но ведь студенты — сыны народа, и, значит, ложка исполняет очень полезную роль? И, значит, ей позволительно вопрошать? Так вот, я спрашиваю. На основании первого закона Ньютона, как объяснить, что тело «эксперимента 27» пребывает в покое? Разве на него не действуют, не воодушевляют никакие силы? Помните, что я, Гавриил Михеич, задаю вам этот вопрос не зря. У меня уже сейчас понизилось сердце, а если вы оставите меня без ответа, я совсем почувствую себя покинутым. Разумеется, если ваш опыт имеет значение военной тайны?..

Хорев сдержанно проговорил:

— Мы по-разному передаем людям тайну творчества. Я — машинами. Вы — поэзией. Я плохо разбираюсь в поэзии. Вы, по-видимому, плохо в машинах. Вряд ли мы столкнемся.

— Другими словами, — подхватил Сергей Сергеевич, — народ наш льет пушки. И это не тайна. Но сколько, какие и где мы льем пушки — тайна.

Хорев молчал.

Сергей Сергеевич проговорил:

— Простите настойчивость. Я только что от Румянцева. Он знаком с вашим экспериментом? Он отрицает элемент военной тайны в вашем эксперименте...

Хорев поспешно подавил на губах скептическую улыбку:

— А в своем?

— Механическая беспровальная цепная решетка для сжигания угля? И в другом оборудовании для котельных хозяйств... он допускает некие элементы военной тайны. Но он мне сказал: «Черта лысого немец

украдет у моих кочегаров. А вас я приравниваю к моему кочегару». Ну, что вы на это скажете?

Хорев молчал.

Сергей Сергееч свернул папироску. Развернул ее. Хорев молчал. Безмолвствовала и жена его. Трое стояли вокруг тщательно отполированного письменного стола, крышка которого блестела, как тугой парус, смоченный попутным ветром. Сергей Сергееч, подумав, что парус-то, дьявол его дери, обязан нести хоть к каким-нибудь берегам, сказал:

— Или я ошибаюсь?.. Мне показалось, что вы, Гавриил Михеич, относитесь неприязненно к мнению инженера Румянцева. Он отзывается о вас с большой похвалой. И так как я психолог, и мне показалось странным, что три человека одновременно не пришли на «Макбета», я спросил. Он отрицает наличие какой-либо ссоры между вами.

Ольга Осиповна проговорила:

— Прямой ссоры не было. Румянцеву трудно быть долго кому-нибудь приятным. Мы и убрали весла.

Хорев молчал. Он стоял как бы в оцепенении, массивный, как мачта с полными парусами. А в парусе стола отражалась повелительная и плотная его фигура. Капитан! Капитан дальнего плавания, куда направляете вы свой парус? В дыму, в аэрозолях? Вы, как ни странно, наслаждаетесь дымом. Чем больше дыма, тем эффектнее его фильтровать и коагулировать, или, говоря проще, превращать в дождь. Вы полюбили дым. Но ведь дым получается в результате старого технического порядка, в результате плохого сжигания топлива? Инженер Румянцев хочет улучшить сжигание топлива, уничтожить старый котельный порядок посредством решеток или чего-то там другого, что представляет собой некую небольшую военную тайну... А вы цепляетесь за старое, за старый порядок, хотя комната у вас новая. Развалившаяся система техники меняется, а вы хотите удержать ее в равновесии, Хорев! Вы испугались опытов инженера Румянцева!.. Вот что хотел сказать Сергей Сергееч, но, поработанный повелительным видом Хорева, сказал другое, обращаясь к Ольге Осиповне:

— Убрали весла? Раздружились?

— Да, к сожалению. Он себя представляет вроде красивого цветка, хотя это мало к нему подходит...

— Ха-ха... Цветок? Нет, нет, какой же он цветок! Хорев молчал.

— Мы его давно не видали, но все говорят, что он славолюбив и мнителен. Ему и тогда все время казалось, что над ним посмеиваются. Он наблюдал окружающих настороженно.

— И сейчас наблюдает, Ольга Осиповна.

Сергею Сергеичу хотелось добавить, что он ощутил в комнате Румянцева запах водки. Он — пьет? Сидя за столом над чертежами своих котельных установок?.. Он ищет в водке то, чего недостает ему в жизни?.. А чего?.. Чего недостает?..

Сергей Сергеич сказал:

— Если уж начался разговор, разрешите его вести с полной ясностью. Аэрозоли над нами, но мы не должны сами-то гадить. Не так ли, Гавриил Михеич?

Хорев молчал.

Сергей Сергеич свернул и развернул папиросу. Ольга Осиповна тоже молчала. Ну и люди! С ними крепко паруса, доцент! Они привыкли молчать, а каково нам?.. Сергей Сергеич сказал:

— На чем мы, Ольга Осиповна, остановились? Ах, да!.. «Он наблюдает окружающих настороженно».

— Наблюдал.

— И наблюдает.словно вся вселенная — котел, под которым он должен улучшить сжигание топлива. Работает он чудовищно. Вы знаете, до приезда сюда он был старшим инженером одного крупного донбасского завода? Котлы, котлы. Топливо, топливо. Экономия, экономия! Из экономии стремился, — когда пришлось увозить, — вывезти последний гвоздик и вместо гвоздика оставил немцам половину любимых своих котлов. Половину энергетического хозяйства завода!.. Уходя, немцы взорвали эту половину. Котлы!.. Кто не поймет неистовства Румянцева?

Сергею Сергеичу хотелось описать мокрое от слез лицо Румянцева. Он покинул его комнату полчаса назад. Лицо стоит перед глазами. Но, может быть, им неприятно это описание? Неприятно это не то сумасшедшее, не то пьяное бормотание. «Дочь — вернется. Она поможет мне в работе. Она вырвется из плена. Я отомщу. Тысячи таких детей, миллионы погибли в войне...» Жена умерла давно. Внутри его огромная нежность. Он обрушил ее на свою дочь. И вместе с тем ра-

ботает чудовищно. Котлы... А котлы-то и не вывез! Дочь увез, а котлы оставил. Теперь дочь исчезла. Он страдает. Ему кажется, что его все осуждают,— и за исчезновение дочери, и за гибель котлов. Ему трудно живется в этом городе, где случайно он встретил старых друзей... друзей, которые не разговаривают с ним.

Впрочем, Хорев вообще мало говорит.

Сергей Сергеич сказал:

— Восстановление и подъем своей личности он должен найти в немедленном осуществлении своего опыта, необыкновенно облегчающего труд кочегара. Он сам кочегар!

Хорев молчал. Казалось, он занял вакантное место злого молчания, к которому давно стремился. И пусть ему, доценту, кажется! Что он лезет в душу, понукает? Хорев знает сам, что делает. И пусть понимает доцент, что его болтовню терпят из-за жены. Ольге хочется разобраться в том, что происходит, и она думает, будто этот болтун в состоянии ей помочь. Чушь! Низкое любопытство, подлая и пошлейшая болтовня!.. Вот что думал Хорев, когда молчал. Скулы его чуть-чуть покрылись потом: верный признак возбуждения, отклонения от нормы. Но что поделаешь, если перед тобой умствует пустельга? Хорев гнушался его.

— Ольга Осиповна! Нужны ли другие доказательства моей правоты?

— Нужны?.. Не думаю.

— Ведь вы были недавно в местах, освобожденных от оккупации. И быть, хоть косвенно, ответственным...

— Румянцев преувеличивает свою ответственность! Я говорю про котлы. Он вообще склонен преувеличивать. Впрочем, состояние его духа очень понятно нам...

И она обратилась к мужу, как позже определял Сергей Сергеич, «со сверхмерной интенсивностью». Сергей Сергеич наблюдал за нею сосредоточенно. С его стороны это не было зыбким и сонным любопытством. Это было кипучим и рокошующим делом его сердца. Она вслух спрашивала Сергея Сергеича, одновременно взором, спрашивая мужа. Не подменил ли ты, любимый мой, свой высокий и торжественный идеал чем-то, может быть, более удобным, но пагубным? Подменил, может быть, частью самого себя? Так, вместо науки для общества некий индивидуум закатывает науку для себя — и бывает очень доволен, курица!..

— Вам известно, стало быть, товарищ Завулин, что Румянцев совершенно приготовил свой опыт?

— М-м-м...

Доцент поиграл папиросной бумагой и, не свертывая папироски, опустил бумажку в портсигар. Что он знает? Он наг, гол и беспомощен в вопросах техники. Однако из разговора с Румянцевым доцент вывел заключение, что со стороны технической барьеров нет. Касаясь же психологической стороны: даже исчезновение жгуче обожаемой дочки не помешает удаче опыта. О, Румянцев поистине творец, кочегар и — гора!

Ольга Осиповна сказала мужу:

— Гаврюша, поневоле, право, становишься на ту точку зрения, что оба опыта...

— Вы, Ольга Осиповна, поддерживаете оба опыта — одновременно и немедленно? Произвести то есть? — вскричал Сергей Сергеич.

— Что — моя поддержка?

— О, не в меру застенчива! Ну, а вы что скажете, Гавриил Михеич? Вы ведь всегда в боевом порядке?!

Хотя Сергей Сергеич, бесстыдно почти, обкармливал Хорева цветами своего красноречия, инженер не сдавался. Жестко и надутно улыбаясь в жизнерадостные, как бы быстrokрылые глаза Сергея Сергеича, инженер отрицательно мотнул головой. «Ну и манеры! — подумал Сергей Сергеич. — Прямо грузовик какой-то. Вы хотите сказать: «Румянцев есть Румянцев. Его котлы и решетки — его дело. А мой «эксперимент 27» — мое. Убирайтесь!»

Терпеливо перенося мотательные движения инженера, Сергей Сергеич упрямо следовал взятому им направлению. Он говорил сам себе: «Меня — срубите, но увлечь в сторону — никогда! Ну, я вас понимаю, Хорев. Ах, как бойко и щемяще понимаю. Если б вам так понимать Румянцева!.. И я защищаю и оправдываю вас, хотя вы напрасно отказываетесь. Ух, эта многожды воспетая взыскательность художника! Стремление доработать то, что давно доработано. Не стой режиссер над душой и не вырви из рук автора экземпляр пьесы, Шекспир до сих пор дорабатывал бы «Макбета». Так и вы, Хорев. «Эксперимент 27» пора произвести. А что касается мыса Нох, то тут разговор особый...»

Сергей Сергеич потому так долго рассуждал сам с

собой, что не знал, как и приступить к особому разговору. В его воображении высился мыс Нох, море, берег и скалы цвета магнолии, тускло-фиалковое небо, в глубине суши — озерко, и над ним клубы дыма, и в нем — еле уловимые, блеклые оранжевые полосы, свивающиеся к концу дня в круги. Вообще-то название «оранжевая лента» дано доктором Афанасьевым. Местные люди называли это явление короче и выразительней: дышло, или чашка, или челнок... словом, что-то округлое. Говорят, стоило попасть вам в район озерка к вечеру, вдохнуть испарения, увидеть «дышло», как вы начинали шагать все быстрее и быстрее, описывая постепенно уменьшающиеся круги. Обвороженный и влекомый чем-то непонятным, вы падаете в полном изнеможении на берегу озера. Наконец вы привстаете, опираетесь и смотрите в воду, как смотрят на улицу, опираясь на выступ окна. И вы умираете. Лицо у вас такое счастливое, словно вы умерли от того, что не вынесли счастья. Это выражение счастья хранится на вашем лице долго, — пока труп окончательно не разложится. Смерть и счастье — объединились. Они долго бросают свои лучи на окружающее. Смерть — обдумайте это! — прельстительна!

Сергей Сергеевич никак не мог согласиться с последним утверждением. Смерть — прельстительна? Никогда! Никак! Смерть — неизбежна?.. Ну, и что же? Ты предполагаешь шантажировать меня гнусной чернотой пропасти, развертывающейся за словом «смерть»? Я пугаюсь этого таинственного шума, гудящего где-то там, в темноте? Испуганный, замер я на краю пропасти? Да, я стою на краю пропасти, темной и массивной, как домна; и в тот момент, когда ты думаешь, что я валюсь в пропасть, я сверкающим словом, увесистым, как длинный лом, пробиваю летку, и слепящий вихрь раскаленного металла жизни льется из домны, жадно освещая таинственную пропасть. Жизнь побеждает! Она — бессмертна. Тьмы нет. По камням мы спускаемся на дно пропасти, к шумящему потоку. Мы спускаемся с напряженной жаждой исследователей...

Таковы были мысли, волновавшие Сергея Сергеевича. Сердце его в груди стучало тяжело и звонко, словно пест в медной ступке, где толкут различные элементы и различные зерна жизни. Он сознавал, что не приличествует сейчас приступать со своими вопросами под

нависшие брови инженера Хорева, как под яро опущенные рога быка, но если не сейчас, то когда?! Когда он узнает истину о загадке мыса Нох?.. Спрашивал он Румянцева. Тот ответил коротко: проплывал мимо на «Основателе», на берег не спускался, будучи болен. И сразу же вернулся к тоске о дочери: «Неонилочка, куда ты?.. почему?..»

Сергей Сергеич сказал откровенно, без вступлений:

— Допуская даже факт счастливой смерти, сомневаюсь, чтобы счастье это настолько закреплялось в организме человека, что тленье было перед ним бесильным! Какая бессмысленная всепокоряемость! И когда?.. В условиях человеческого существования, которые еще совсем предиминарны! Я говорю, Гавриил Михеич, о смерти на мысе Нох...

— Ясно мне,— отрывисто и сурово произнес Хорев.

Сергей Сергеич обратился к Ольге Осиповне:

— В глубине мыса Нох вспыхнул пожар. Горели каменноугольные толщи. Земля нагрелась. Довольно крупная площадь вечной мерзлоты, которую геологи датируют концом плиоцена, оттаяла. Образовалось озеро глубиною до двухсот метров. Вода в нем была теплая. «Исследования последних лет показали, что в вечномерзлых толщах на протяжении многих тысячелетий сохраняются в анабиотическом состоянии зародыши, а возможно, и зрелые формы многочисленных мелких организмов — от водорослей и бактерий до мелких ракообразных,— прочел он по бумажке выдержку из «Общего мерзлотоведения», труда, изданного Академией наук в 1940 году.— Среди этих форм, в количестве многих десятков видов, оживленных после тысячелетий анабиотического состояния, безусловно, могут оказаться и инфекционные виды. Это последнее обстоятельство необходимо предвидеть при проектировании мероприятий, ведущих к деградации вечномерзлотных толщ в широких пределах». Подчеркиваю: безусловно!.. А раз — безусловно, что ж удивительного, если в уродливом тумане, плавающем над странным озером на мысе Нох, могли появиться узкие оранжевые ленточки...

— Оранжевые? — воскликнула Ольга Осиповна.

— Врач Афанасьев, плывший на «Основателе», сказал, что он слышал об оранжевых...

Хорев вдруг захохотал печальным, как показалось Сергею Сергеичу, оловянным смехом:

— Ха-ха! Чушь. Ха-ха!.. Отрицаю малейшее правдоподобие! Ха-ха!..

— Возможно, когда вы, Гавриил Михеич, посетили мыс Нох, явлений «оранжевой ленты» не наблюдалось. Но «Основатель», пристававший к мысу несколько позже...

— Он не видел четырех умерших,— буркнул Хорев.— Их уже похоронили. Счастливого пути, товарищ Завулин.

Табак катышком упал в портсигар. Завулин прикрыл за собою темно-зеленую, цвета вишенника, дверь кабинета.

— Пустельга.

— Доцент? Ты преувеличиваешь.

— Воображает о себе: фантаст. На самом деле стелется по земле, как слепящий и вонючий дым.

Ей с детства мерещился образ человека, исцеляющего мир от болезней и войн. Ей мечталось: она помогает этому творцу. А он — помогает ей. Это — ее муж, друг, брат... И вот этот любимый сидит теперь против нее, положив руки на парус стола. Что ей — Завулин?! Впрочем, очень хорошо, что он есть. Пусть болтун, но она благодарна ему. Он указал ей на ее обязанность.

— Ты решила, Оля, завтра выступить на совещании?

— А ты вроде растерян?

— Защищать необходимость...

— И немедленное осуществление «эксперимента 27». Разве я тебе не жена? Кто лучше жены поймет тебя?

— Ты знаешь, противников у меня много. Им покажется смешным выступление жены в пользу экспериментатора...

— Экспериментаторов! Повторяю, я буду защищать оба опыта.

— Румянцева?

— Румянцева необходимо вытащить из унылой норы душевных страданий. Да! На огненный, кипучий и раздольный берег. Ты сегодня, дружище, пойдешь к Румянцеву.

— Я?

— Или лучше пойти мне?

— Надо ли идти вообще?

И тогда он повторил ей то, что уже много раз ей рассказывал:

— Затылок у него был большой, розовый и круглый, как тарелка. Я познакомился с ним в университетской библиотеке. Я смотрел на затылок. Розовость эту не прикрывали, а только оттеняли белокурые волосы. Смотрел и думал: «Какой уверенный и какой наслаждающийся счастьем жизни человек!» Я хотел тогда, возможно, больше увидеть таких людей, напиться ими, нагрузиться ими, чтобы в мир войти уверенным и гордым. Понравился мне и постоянный жест его — точно он вспарывает ножом, снизу вверх, какой-то мешок. Скорее всего, мешок с зерном. Казалось, он каждую минуту вскрывает мешки с зерном: питайтесь, веселитесь, творите. Он говорил, что молодость должна быть щедрой, а старость — скуповатой. Он раздаривал книги, одежду — и одеяла не имел, прикрываясь отцовским пальто. Мы поселились с ним в одном общежитии. В первый же день нашего совместного пребывания здесь он сказал: «Аэрозоли? Брось ты цепляться, брат, за ученые названия. Пыль есть пыль. Подует береговой ветер и унесет в сторону твои аэрозоли, как относит снег или человеческий голос. А попробуй-ка отнести в сторону мои котлы! Надорвешься. И выходит, — переходить тебе, дружище, в наш институт. Я уже забросил там насчет тебя удочку. Будем совместно работать? У, хорошо! И заметь, проблемы подчинения одного другому не ставятся! Мы не звери, чтоб раздирать добычу. Мы ставим и выполним проблему дружбы. Вдвоем — мы разом! — и полное всемогущество над техникой. При известных условиях мы создадим такой мощный и экономный котел, что внутренность земного шара позавидует. Ты, как и я, мечтаешь помочь человечеству? Давай вдвоем?! Пары разведены! Скатерть накрыта. Пир жизни начинается. Иди! Вперед!» Пропитанный машинным маслом, круглоголовый, плечистый, он говорил раскатистым, приятным до слез голосом. Я испытывал волнение. Еще секунда, казалось, и я запылаю, как смолистая щепка.

Но проходила секунда, и я примечал, что мое волнение исчезало. Румянцев искренне желал мне помочь, и это желание ослепляло его. Он был уверен, что я одолею неодолимое, неинтересное для меня. Наука о

котлах казалась мне тиранством над человеческим разумом. Я содрогался при виде этих черных масс железа, а горы каменного угля наводили на меня скуку. Я высказал это Румянцеву. Он назвал меня дергающимся и щебечущим фантастом. Я промолчал. Мне не хотелось его хулить и порицать, но его темные, мерцающие глаза, его упрямый, круглый затылок казались мне глазами и затылком самого искаженного и запутанного фантаста.

Я не презирал мечтания, да и как обойтись без них в моей профессии? Я мечтал оздоровить города, не будучи врачом. Пируэт замысловатый! И нужно очень образно представить себе, как я осуществляю свою задачу. Поэтому воздух города всегда был душен для меня. Пользуясь малейшей возможностью, я уходил в леса и поля. Мне мерещился гигантский вентилятор над городом, над каждой улицей. Врачи лечат ветви, в лучшем случае, корни болезней, а я хотел вырвать весь гнилой пень. Мне казалось, что я уже касаюсь этой машины... именно тогда, в годы первых пятилеток, возникла среди нас удивительная и верная любовь к машинам. Гордость машин! — я сказал бы. И машины плодились около нас. Мы словно растили новую породу животных, может быть, более близких, чем собаки. Поломки и повреждения, причиняемые машинам, доставляли нам такую же скорбь, словно раны живым существам. Исступленно и кипуче мы создавали новых друзей. Румянцев возился с котлами, как со щенятами. Словно кони, скакали вокруг меня аэрозоли, которые я хотел покорить посредством мощных вентиляторов и коагуляции. Для последней цели я изучил радио, работал над ультразвуком. Фильтры и вентиляторы, думалось мне, лишь паллиатив; аэрозоли разрастаются, и полностью их уничтожит ультразвук...

Я не был, как видишь, беспочвенным фантазером. Я предвидел. Я усердно работал над проблемой фильтров и вентиляторов, и напрасно этот доцент намекает, что я поехал к Охотскому побережью разыскивать там какую-то дурацкую «оранжевую ленту». Это его предположение и рассердило меня больше всего...

Жена проговорила, улыбаясь:

— Он выразил гипотезу. Он, по-моему, попробовал как бы овеществить загадку жизни и смерти, образно

дав ей название «оранжевой ленты». Это — ангел или дьявол, что хочешь. Но в современной форме. Согласись, что на посторонний взгляд твой отъезд на Охотское побережье мог показаться странным. Где-где, а уж там в воздухе нет никаких аэрозолей. Можно подумать, что ты бежал от твоих аэрозолей.

— Ты могла подумать?

— Я? Нет. Мог подумать Румянцев. Сколько я знаю, он был всегда уверен, что ты перейдешь в конце концов на работу к его котлам. С этой целью он и поехал к тебе. Иначе он, как всегда это делал, когда отдыхал, просто поехал бы в Крым.

Инженер сказал:

— Восемь лет изучал я науку и одновременно восемь лет — практику на заводе. Что-нибудь да узнал, когда пришлось быть и обмотчиком, и электромонтером, и радистом, и монтером на радиостанции?.. Восемь лет носил я рабочую куртку и снял ее лишь после защиты диплома. Узнал много хорошего, а касаясь наших с тобою отношений, Оля, припоминаю твои слова. Ты мне однажды, на третьем году нашей совместной жизни, говоришь: «Что такое любовь? Это — когда двое вдохновенно и возвышенно верят друг другу и улавливают на сердце другого такое, что он и сам еще не в состоянии уловить. Материалы по аэрозолям и ультразвуку собрали. Вопрос состоит в том, какую наиболее эффективную и душевную машину построить. Это надо обдумать зрело, не торопясь, оторвавшись на время от твоей текущей работы над фильтрами и взявшись, быть может, для разрядки, за другую работу. Поехал бы ты, Гавриил, один. И подальше. Так далеко, чтоб если тебя внезапно любовь ко мне потянет, то тебе и не выехать сразу. Я тебе верю. И ты мне веришь». Поцеловал я тебя. Поцелуй широкий, как река. Говорю: «Повторить «эффект Эдисона»? Ты, помню, смеешься. У нас поговорка тогда такая носилась, что если, мол, Эдисон, в условиях капиталистических, добился таких успехов, то нам, в наших социалистических условиях, надо добиваться втрое и вчетверо большего. Я говорю: «У меня мелькало нечто подобное, смутное. Предлагают — рейд, три года на Охотском побережье. Сам за все: начальник радиостанции и почтовой конторы, глава сберкассы и глава поселка. Причем ничего этого еще нет, надо все это самому строить,

создавать. Поеду. Тебя оставляю — Румянцевым». С Румянцевым, помнишь, мы еще дружили. Нина, жена его, — подруга тебе. Впрочем, почему вы дружили, до сих пор не пойму. Нина — восторженная, блаженная какая-то, и восторженность — все по пустякам. Пуговку красивую увидит: «Ах, какое теплое и святое чувство», фотографию, скажем, фонарь светит и дом, и в окне дама с дочкой: «Ах, какое неизъяснимое и невыразимо-отрадное чувство!» Дочери тогда было, кажись, годика четыре, любила ее болезненно, имя тоже дала странное, зубную боль напоминающее, Неонилочка. Удивительно ты полновесной казалась около них, Оля. Ну, да что это я так неодобрительно о Нине, покойнице, разговорился?..

Жена сказала:

— Не надо быть уступчивым перед самим собою. Не надо молчать! Даже в разговоре с Завулиным твое полумолчание тебе навредило. Так я предполагаю. Правда, высказать себя — нелегко. Идешь, как слепой, хватаясь за первые попавшиеся предметы. Но все же — идешь! А молчание — это душевная слепота. Душная, несносная...

Она вынула крошечный носовой платок и уголком его вытерла себе глаза. Это ее движение показалось инженеру очень трогательным. Он вспомнил, как семь или восемь лет назад он покидал жену, уезжая к Охотскому побережью, чтобы повторить «эффект Эдисона». Широкая в плечах, тонкая в талии, с ясным и отрадным лицом, нежно глядя на него, она вот так же вытирала концы глаз и хотя не плакала, но зыбкая, темно-синяя влага дрожала у ней в глазах. «Она права. Надо высказаться, — думал инженер. — Обоим нам необходимо найти причины и объяснения — почему были друзьями с Румянцевым, а тут все стало противно... и растаяло». Нет, пожалуй, и противны-то не стали друг другу, а именно — растаяло и уплыло, и осталась одна какая-то унылость. Не сочувствие, а именно унылость охватывает, когда начинаешь вспоминать, что перенес Румянцев — неудачи с опытами, смерть жены, эвакуация, брошенные котлы, опыт над которыми, казалось, уже был близок к успешному завершению, и вот теперь исчезновение дочери...

Что же касается утверждения жены, что молчание — слепота, а разговор — душевное прозрение, ин-

женер не мог с этим согласиться. Он ценил молчание. Оно часто помогало ему в работе. Но в данном случае жена, похоже, права. Разговор и воспоминания помогут ей найти то, что она не могла найти. С женщинами часто так бывает. Инженер не очень хорошо знал женщин, однако относительно их способа отыскания истины посредством длинных разговоров и воспоминаний он был убежден.

Инженер продолжал:

— Пункт мой на Охотском побережье — фундаментальнейший по своей дикости. Выгрузились мы и принялись за создание. И создавали, далеко глядя вперед. Там только так можно работать. Выстроили избы для жилья, а за ними овины, где предполагали сушить зерно, хотя опыты посевов его еле-еле начались. Мы верили, что здесь будет город, где будут ходить в зверинец в гости к роскошным и сытым зверям наши упитанные дети. О школе и университете я даже и не упоминаю, это само собой. Смущало нас лишь, что рейд перед гаванью, где должны стоять корабли с полным грузом, а если будет надобность — и вооружением, — рейд никуда не годится. С виду красив, как букет, а на самом деле — открыт ветрам, мелок и утыкан беспокойными и праздномотающимися островками.

Выгрузили мы с собой небольшую радиостанцию, а вообще готовились развернуть мощную громаду. В подготовке к приему этой громады прошел год. Приближается осень. Получаю долгожданное радио: пароход «Основатель» везет вам груз, полторы тысячи тонн. И одновременно сообщается, что пароходом плывет ко мне в гости инженер и доктор технических наук Румянцев. Переспрашиваю — ты ли, друг сердечный?.. И тебе — в Москву. Получаю грустный ответ — умерла Нина. Румянцев оставил дочку свою на твоих руках, а сам, получив трехмесячный отпуск, решил посетить меня. Жалко мне его, а с другой стороны приятно, что увижу. Сердце скачет и прыгает, будто камень по насыпи с откосом.

«Основатель» запрашивает о состоянии льдов. Если нашу «губу» — рейд забивает льдом, пароход тогда не пришвартовывается, а уходит в море. Осень здесь капризная. Спрашиваю метеоролога. По его данным, ветра не будет, а по словам старожилов и приметам: быть ветру, а значит, быть и льду в бухте. Небо мед-

но-зеленого цвета и бродит, словно в него дрожжи брошены. «Кому верить? — думаю. — Приметам, или своим, еще не выкристаллизовавшимся знаниям, или метеорологу? Поверю-ка я лучше метеорологу», — думаю. И сообщаю — путь свободен, в «губе» благополучно.

«Основатель» подходит к губе, а в это самое время налетает ветер, вокруг — пегий сумрак, губу начинает забивать льдом, и как назло — красивейшим, густо-сине-алым, будто леденцами. Пароход грозит: «уйду в море». Как быть? Медикаменты, одежда, книги учета, продукты, оборудование большой радиостанции и, кроме этого, друг мой, Румянцев.

Снег, дождь, льды. Не хочется в такую погоду уступать власти дикой стихии. Подумали мы, и я радирую: «В рейде — островок, выгрузим, за целостность груза именно я отвечаю». А в голове — погано. Не дай бог разыграться шторму, в шторм островок заливают волнами, и тогда груза нам не видать. Спрашиваю у метеоролога: как насчет шторма? Нет, говорит, шторма не предвидится. Не верю я ему. Однако посылаю: «Готовьте выгрузку, иду к вам по льду».

Идем. С парохода спускают лодку. Лодка идет вдоль кромки льда, а лед уже охватил островок. К островку пароходу пристать нельзя. Пароход идет метрах в двухстах от лодки. Вот оно, жидкое положение! Как теперь быть с грузом? Лед — тонок, качается от морской волны... но говорю: «Выгрузить на лед все полторы тысячи под мою ответственность!» Начинаем выгрузку на лед. Со льда — на островок. Людей мало, команда парохода помогает, и сам инженер Румянцев в одном пиджаке таскает стальные конструкции для радиостанции.

Лед крутит, ломает. Шторм не шторм, а баллов много. Подламывает лед. Стальная, очень нужная нам балка уходит в воду. Румянцев уцепился за нее, она его тащит — он под лед! С ним за балку уцепилось еще пятеро, я подскочил — не дали балке утонуть. Румянцев мокрым с головы до ног. Капитан несет его на руках в лодку. «Мне, говорит, рисковать кораблем нет интереса. Я вам груз сдал и ухожу». — «Пожалуйста, — говорю ему, — мы снисхождения не просим. Однако Румянцева вручите мне». Румянцев кричит и ногами болтает, а с ног вода, как из крана: «Мне, кричит, с ним насчет аэрозолей спор надо продолжить. Пусти-

те меня!» — «Крайне любопытно, — говорит капитан, — как вы в снег и бурю через льды мокрый пойдете? Мне это смотреть нелюбопытно. Успеете до отхода корабля переодеться — ваше счастье. А не успеете — выгружу вас либо на мысе Нох, либо на обратном рейсе».

Пароход ушел. Румянцев, разумеется, не успел переодеться, да если и успел, мелкий лед все равно помешал бы ему доплыть до нашего островка. Впрочем, тогда мне было и не до Румянцева. Волны бьют в островок, раскидистые, дьяволы, лиловые! Почти достают до груза. Добыли мы «кунгасы», большие шлюпки, и под жесточайшим каменным ветром перевезли груз с островка на берег. Три дня, три ночи, почти не евши, а про сон и не упоминаю.

Рассортировали груз. Вот теперь, думаю, сосну. А метеоролог у койки: «Товарищ начальник. Получено радио: зима предстоит ранняя». Я натягиваю сапоги, пью стакан кофе и стакан водки, говорю: «Если ранняя, надо немедленно начинать монтаж радиостанции, чтоб успеть до зимних холодов». Он мне: «Жители поселка воодушевлены, но в монтаже ничего не понимают». Я ему: «Тогда проведем конференцию ознакомления с монтажом».

Вышли мы монтировать наш радиоцентр. Гололед, ветер — зловещий, серый. Руки у тебя прямые, как брусок, леденеют, хоть точи нож. А внутри плавишься весь от злости к этому гололедному ветру, потому что работа трудная, станцию ведем почти стометровой высоты.

Смонтировали, пустили. Вместо двенадцатидневного срока, по инструкции, я ее — в девять суток. Составляю депешу-рапорт о пуске станции начальству, запрос «Основателю», — когда, мол, идете обратным рейсом, ну, и тебе, Оля, приветствие. Только отбили рапорт, радист сообщает: станция отказывается работать. Почему?

«Люлечный и антенный тросы вышли из блока и застряли между щекой и блоком».

Меланхолия прямо! Зима уже хлынула. Метель прутковое железо гнет, как стебли травы. Вой. Свист. Просто душа горбом со страха. Кого я пущу в такую метель на стометровую высоту?

Был у меня мачтовик Ехов. Из поваров. Я его сам и приготовил в мачтовики. В тихую погоду ничего,

можно пустить такого, но в бурю — пусть лучше кашу варит. Выражает он, разумеется, желание подняться. Я ему говорю:

«Хотя станцию вывести из строя невозможно, однако, Ехов, правила техники безопасности категорически запрещают подниматься зимой на такие мачты».

«Зимой? Летом-то на нее и теленок поднимется».

«Категорически, говорю, запрещает мачтовикам, но насчет начальников станций умалчивает. Важно мне еще подняться и потому, что я в дороге должен придумать рационализаторское предложение, которое навсегда гарантирует мачтовое устройство от подобных неприятностей. Давай инструменты, я поставлю трос на его место».

Мачтовик протестует:

«Нам невыгодно, товарищ начальник, говорит, если вы разобьетесь. Мы останемся без консультации и помощи. А если я разобьюсь, то найдется у кого, по крайней мере, консультироваться. Я не пушу, хоть пишите выговор».

Записал я ему за грубость выговор и полез.

Повреждение я исправил. Рационализаторское предложение оформилось, а что касается чувств, то скажу тебе, Оля, нет ничего страшнее метели на стометровой высоте!..

Хорев подошел к жене, нежно взял ее руки, поцеловал ладони и прижал их к своему лицу. Жена смотрела поверх его головы, словно все еще видя его в метель на стометровой мачте радиостанции. И теперь, как и прежде, все его слова и поступки казались ей необыкновенными, а жизнь с ним, как и жизнь вообще, казалась ей огромной и возвышающей, так что дух захватывало! Она гордилась им, гордилась собой, всем окружающим... и на мачте он стоял не один, а с нею... Хорошо чувствовать под ладонями его крепкие, милые щеки!.. Слезы показались у нее на глазах. Он увидел их и сказал:

— Голубушка, родная моя, дорогая! Ты всегда была со мной рядом, и я всегда был с тобой...

Она знала, что это так, но все же спросила:

— Даже там, на мачте?

— А на мачте тем более! Стою на омерзительно холодной перекладине... одна из тех балок, ради которой едва не утонул друг мой Румянцев... жесткая, же-

лезная; заоченевшим ногам кажется не толще кнутовища, того гляди, переломится. Да еще вдобавок визжит под ветром!.. Фонарик, что висит у меня на груди, светит тонко, почти шепотом. Стометровая конструкция скрипит и качается в зыбучем и вертлявом пространстве. Голова кружится. На сердце — смертельная, сосущая тоска. Фонарик искренне хочет пробиться через метель, тушится, а она, смолистого лакированного цвета, деспотически властно наскакивает, отрывает руки... Оригинальное создание!.. И мысли у меня... оригинальные... я ими не восхищался. Злился на себя. Неужели нужна стометровая колокольня, холод, дрожь, мрачайшая метель, чтобы увидеть самого себя, без всякой снисходительности? А между тем я действительно тут только, целиком, впервые разглядел самого себя. Себя тогдашнего, а не теперешнего, конечно. Если парафразически, истолковательно передать свое настроение, я обратился к себе со следующими словами: «Ты — рохля и дурак! Ты — тунеядец! Вместо того чтобы остаться с женой и работать, ты убежал куда-то, к черту, на Охотское побережье. Зачем? Мыслить, обрабатывать материалы? Тьфу, насекомое! А еще хочет повторить «эффект Эдисона». Разве Эдисон убегал от жизни, от города? Прихлебатель ты, а не творец. Настоящий творец создает при любых обстоятельствах, и чем они запутаннее, сложнее, тем ему приятней победа». Вот какое у меня было состояние. Это не значит, что я прерываю свое трехлетнее обязательство и возвращаюсь, предположим, домой на «Основателе» или что я отказываюсь от усмирения аэрозолей и перебегаю к котлам Румянцева. Нет, я осудил себя и вынес приговор: делать одновременно две работы, так, как будто бы их делали два человека. И делал. Создал поселок и целиком закончил теоретическую часть труда об аэрозолях. Трудно было, но делал... Ложное умствование, глупая фантазия должны быть наказаны.— Он ухмыльнулся.— С этой стороны Румянцев отчасти был прав, когда называл меня фантазером. Но странно, едва я вытравил фантазию и стал реально смотреть на жизнь, Румянцев перестал со мной встречаться. Вот это уж, извините, фантастика и причудливость! «Основатель» подходит к мысу Нох... Мыс Нох от нашего поселка километрах в девяноста... Я радирую четверем подчиненным, которые там работают, что, мол, моя

бухта забита по-прежнему льдом, поэтому предлагаю инженеру Румянцеву остаться на мысе Нох, а указанные подчиненные, к которым идет смена, доставят его в поселок. Он мне: «Благодарю, состояние здоровья приказывает возвращаться пароходом «Основатель», очень жалею». И все! И уплыл. Ха-ха! Состояние здоровья?! Кому, кому, а ему не извинительны такие вздорные причины. Он здоров как бык, как племенной бык!

Жена прервала:

— Румянцев знал, что те четверо подчиненных твоих, которым пришли на смену, умерли внезапно и странно?

— Они умерли, и умерли почетно, а не странно. Трое из них заготавливали рыбу для поселка, а четвертый разводил огород на мысу, в толщах каменноугольный пожар уже несколько лет. Мы решили воспользоваться теплотой. Все четверо — редкого трудолюбия люди, ну и переутомились, надорвались, хотели горы наворотить к приходу смены.

— Но разве не странно, что все четверо?

— Жалко их, но не странно. Бывает, тонут корабли с целой командой и пассажирами. А почему ты напираешь на слово «странно»?

Жена промолчала. Молчание ее показалось инженеру многозначительным. Он подумал и сказал:

— Я со злости и досады, так же, как и ты сейчас, решил: трусил, мол, Румянцев, поддался игре воображения. На пароходе было много людей, которые впервые видели мыс Нох. А это на первый взгляд твердая скорби и смущения. Представь высокую, голую галерею, без крыши, из камней самого густого ежевичного цвета. Почва меж камней из мелкого песка. От внутреннего жара, что ли, не знаю, песок зеленого цвета. Заканчивается галерея теплым озерком, над которым постоянно клубится туман. Ну, люди и поторопились создать «оранжевую ленту». Я уверен, что и Румянцев приложил к легенде свои идейки, которые в его котлы не уместились...

— Ай-я-яй, милый! Ты — злишься?

— Злюсь. Он должен был подчинить себе легендотворцев с парохода, а он встал с ними наравне! Смеющиеся лица, отсутствие тления! — насмешливо, глухим голосом проговорил инженер. — Отсутствие тле-

ния потому, что их похоронили в вечной мерзлоте, а смеющиеся лица... не было смеющихся лиц. Позже, когда мы перевозили покойников в поселок к их родственникам, я видел... разве чуть-чуть улыбались. Нет. По-другому я думал до того о Румянцеве! Дать себя одурить...

Жена охватила его шею руками и, нежно заглядывая ему в глаза, сказала:

— Только ты напрасно думаешь, дорогой, будто я злюсь и досажую на Румянцева. Знаешь поговорку? Сонливого не добудишься, ленивого не дошлешься. Мне думается, что в отношениях друг к другу мы и сонливы и ленивы. И мы все страдаем. Страдает и Румянцев. Я не допускаю мысли, чтоб он подослал к нам Завулина; проболтался просто, а проболтался доценту тоже от душевных мук. А теперь — этого довольно! Кроме того, его еще и потому тебе надо увидеть, что мне для выступления на совещании требуются от него материалы...

— Ну, уж вот это, извини, фантастика!

— В твоих устах — это бранное слово. Но, право, мой дорогой, ты сам очень, очень фантастичен. Хотя бы, например, в том, что простому факту моей любви к тебе умеешь придать фантастические очертания. Получи за это.

И она крепко поцеловала его, так крепко, что, по внутреннему признанию Хорева, он лишился разума, стал мягкий, словно шерсть или иной материал для набивки, и ему ничего не оставалось делать, как ответить ей безмолвным поцелуем.

Студент Валерьянов был холост. Приятность и сладость супружеских бесед он в некоторых случаях, вроде теперешнего, должен был заменять рассуждениями с самим собою. Вступи он в разговор на эту тему со своими друзьями-студентами, он много потерял бы в их мнении. И они, а тем более он сам, считали его характер трезвым, трудноплавким, огнеупорным, несмотря на сложнейшую действительность, ранения, науку, которую надо догонять без спотыкания.

Студент дежурил. Еще не светало, хотя кончался третий час ночи. Сад за раскрытым окном был аспидно-серый, неподвижный. У кровли, в темноте, позванивало полуоторванное колено водосточного желоба, и эти звуки напоминали ему родное село, где рядом с

отцовской избой стояла большая и длинная школа с множеством постоянно отрывающихся водосточных труб. Студент сидел за окном чванно и надменно, глядя на книгу для дежурных, кружку с чаем и кусок хлеба. Он думал: съесть ему этот хлеб или оставить на утро?

И еще он думал о доценте Завулине. Невольно он должен был сознаться, что Сергей Сергеевич покорила его, и особенно тем, что ждал от него физической помощи. Валерьянов еще не знал, в какой мере он способен проявить эту помощь, но, судя по ненасытному аппетиту и презрению к этому маленькому куску хлеба, судя по жажде к деятельности, он проявит себя в достаточных для доцента размерах. И все-таки никогда не было у него такого командира, с таким странным строением отдельных частей! Очки, подбородок...

Студент встал и гордой, важной походкой подошел к окну. Он облокотился так, словно не подоконник был ему подпорой, а он — подоконнику. Это помогало ему думать, ибо дум много, и изучить их возможно лишь с прилежностью.

Например, Шекспир? В данном случае при чем тут печальное событие военачальника Макбета и его жены, которых увлек в водоворот смерти поток их честолюбия? Меньше всего можно сейчас говорить о личном честолюбии. Люди его не лишены, кто говорит. Но гений самоотверженности ведет нас к победе вовсе не потому, что мы лично честолюбивы. Мы, если уж говорить правду, честолюбивы ради народа, ради тех идей, которые он несет. Сущность макбетовского честолюбия — все-таки домашняя рухлядь, а наше честолюбие совсем из другого материала! И с этой точки зрения инженер Хорев, его жена и другой инженер Румянцев не пришли на общественный просмотр «Макбета», будучи заняты на работе, честь им и хвала!

Сад безмолвен. Позванивала легонько водосточная труба.

Студент вернулся к столу. Он решительно опустил-ся на дюжий стул, выпил полкружки чая и взял хлеб. Трудно двигаться и размышлять при желудке, в который нечто, скромно называемое аппетитом, словно бьет ногой.

Жуя хлеб, он оглядел комнату. В одном углу стояли аппараты для гимнастических упражнений; в дру-

гом, возле книжного шкафа, гипсовый слепок с головы Фрунзе. Какая разница между той войной и теперешней!

Тщательно собрав крошки и высыпав их в рот, он опять направился к окну. Светало. Уже виден был сад института с его мелкими украшениями, похожими на залежавшийся галантерейный товар. Над садом висело облако, тяжелое, словно из красного железяка.

Внизу, под окном, стоял с блуждающим взглядом Сергей Сергеич. Доцент, должно быть, не спал всю ночь. Волосы его уныло свисали, будто пшеница, побитая градом.

— Ба! Сергей Сергеич! — окликнул его студент. — Заходите.

— Мы уезжаем, — сказал Завулин. — Собирайтесь. Студент проговорил:

— Я не кончил дежурства, а затем не получил хлеба на сегодняшний день. Вы бы хоть предупредили.

— Предупреждал. Когда вы мне гарантировали свою физическую силу, это и было предупреждением. Как же вы поедете без хлеба минимум на три дня?! И уж машина ждет.

Он отчаянно взмахнул руками.

— Несомненно, что дочка Румянцева ушла по Московскому шоссе, в Москву. Мы ее догоним и возвратим отцу. А вы, Валерьянов, не хотите ехать! Если б вы или я имели личную заинтересованность в проблеме Румянцев — Хорев. А то ведь чистейший и зеленый, как озимь, гуманизм! Гордитесь. Румянцеву особенно крепко надо помочь. Он сейчас немее и неподвижнее камня. Я — от него. Затем на минутку забежал к Ольге Осиповне. Она готовится к речи в защиту Румянцева. И напрасно! Если мы ему не поможем и не найдем с вами, Валерьянов, его дочурки — никакие речи его не спасут! Совещание посмотрит на его лицо и, чего доброго, промолвит: «Какой замысел способна реализовать эта курятина? Кого хвалит Ольга Осиповна?» А между тем, доложу я вам, Валерьянов, Ольга Осиповна умеет придать удивительную вещественность своим словам. И я не ошибусь, если скажу, что муж ее не ценит. Вообще — он сиплый, и был бы он выдернутой из ткани нитью, если б не она. Фанфарон! Кургузка!.. Недосыгаемая, умнейшая женщина, а он как недожаренная кулебяка...

— Ваши обидные слова, Сергей Сергеич, не вяжутся с вашим общим хорошим отношением к людям,— хмуро потупившись, сказал студент.

— А все потому, что вы меня, Валерьянов, раздражаете! — мотая головой, ответил Завулин.— Так не едете? Жаль. Вы мне показались прожорливым на подвиг. И ехать-то, главное, недалеко. Километров шестьдесят, туда, где начинаются Зеленыцкие Рытвины. Дальше она уйти не может. Там — лесозаготовки, угольные шахты, на каждом шагу — люди, пройти незамеченной — где ей?.. Ну, что ж, не едете? Как же мне ехать к тому месту, где требуется огромная физическая выдержка и стойкость?..

Сергея Сергеича, несомненно, огорчал отказ студента.

Но, с другой стороны, несомненно и то, что Сергея Сергеича огорчило б, окажись студент легко убедимым, сговорчивым. Сергей Сергеич страшился путешествий, даже на самое короткое расстояние. Эти мысли студента немедленно же подтвердили слова Сергея Сергеича. Доцент, увиливая в сторону, вдруг пылко заговорил о топливе, котлах и топках Румянцева:

— Тепло и огонь — самое важное на войне, не правда ли, Валерьянов? Этим побеждаем. Огнем — по врагу, а внутренним теплом — в отношениях друг к другу!.. И пусть Румянцев встретил меня сыро и грубо,— я его понимаю... но он мне бросил пару слов, и я, без замедлений, уразумел, что мы при сжигании топлива используем весьма малый процент тепловой энергии. Есть от чего прийти в ужас! Бросаем в печь, допустим, полено, а половина его бессмысленно, превращаясь в аэрозоли, улетает в воздух!

«А не взять ли мне у приятеля сухари? — продолжал думать студент.— Ему дам свою карточку. Тогда и смогу уехать».

— Молчите? Не верите? Улетает иногда и больше половины полена. Таким образом, половина нашего топлива — дым, аэрозоли, Хорев!.. Да и вообще, я начинаю думать, что тогда лишь, когда горе минует, мы осознаем его истинные размеры. Так, до открытия Румянцева знали мы эфемерность наших топок? Пойдем дальше, и мы придем к заключению, что тяжесть, которую мы с вами, предположим, несем, измеряется не ее весом и размерами, а продолжительностью пути.

Например, если б в современной мировой литературе появился новый Бальзак, мы бы поняли, насколько плохи и плоски современные писатели...

— Современных писателей всегда считали плохими и плоскими, в том числе и Бальзака! — крикнул студент и скрылся.

«Пожалуй, он обиделся, — топчась на месте, подумал доцент. — Что это со мной? Какой-то дешевый хмель, как от табака. Обижаю людей, кручусь... этак они меня черт знает за кого сочтут! Вот этот студент, например...»

Сергей Сергеич ошибался, думая, что студент обиделся, но Завулин был прав, когда думал, что студент кое в чем судит о нем превратно. Взять хотя бы путешествия. Студент был уверен, что Сергей Сергеич боится путешествовать, а именно никто другой, как Сергей Сергеич, не любил так страстно путешествия. Он только не хотел вступить в путешествия не вполне подготовленным, главным образом, физически. Природа дала ему слабые ноги, плохое сердце, близорукие глаза. Рядом многолетних упражнений он исправил сердце, укрепил ноги и хотя не победил близорукости, зато приспособил ее так, что она не мешала ему. Готовясь к путешествиям, он не держал библиотеки, и вообще, количество вещей, его обслуживающих, свел к военному минимуму. Что же касается семьи, едва ли не самого большого препятствия для путешественников, — он не миновал семьи. Жена его, сухопарая, с длинными ножками, длинным носиком, похожая на кулика, относилась к нему презрительно, правда, не лишая его детей, — их было трое, здоровенных, голенастых, широколобых, прожорливых. Семья его, как и весь город, называла его «куражным чудаком», и чтоб с корнем вырвать это прозвище, ему надо было совершить законное и в то же время поразительное по своим результатам путешествие. Иначе — пусть будет «куражный чудака»! Противодействующие силы, как видите, были огромны.

Когда началась война, он подумал, что нет ничего благородней походов, — путешествия, шествия в пути, — война, защищающего свою родину. С трепетом явился он на призывной пункт. Сердце и ноги его нашли отличными, но глаза... посмотрев в его глаза, ему сказали: «В крайнем случае, мы можем вас зачислить не-

строевым. Но мы уверены, что ваша кафедра — ваш строй, ваша война». После того как это было ему сказано, Сергей Сергеич с жаром, почти багряным, с цветистостью, почти луговой, с доблестью, почти непобедимой, и с добродетелью, абсолютно святой, читал свои лекции о западной литературе. «Есть кафедра западных литератур! — восклицал он. — Но в такую войну, как теперешняя, нет Запада и Востока, а есть прогресс, цивилизация, защита культуры. Вы, наполняющие зал, вы дети Шекспира и Навои, Данте и Пушкина, Расина и Шевченко, Э. По и Достоевского, М. Горького и В. Гюго, — вы защитники мира и свободы!» Большая, переполненная аудитория института гремела благодарными, как весенний дождь, рукоплесканиями. Руководство института, примилившись с его чудачествами, серьезно поставило вопрос о присвоении ему звания профессора. Правда, заведующий кафедрой сказал: «Жаль только, что он не любит путешествовать, это в наши дни носит некий оттенок консерватизма». И все улыбнулись. Впрочем, это была хорошая улыбка. В конце концов городу нравился этот чужак, не любящий путешествовать. Пусть в городе, наполненном самыми яростными путешественниками, из всех, когда-либо существовавших, будет один, который никогда не путешествовал! Понятно поэтому, что студент Валерьянов нравится Сергею Сергеичу. Ну, во-первых, шутили, что у студента «такая успокаивающая фамилия», во-вторых, мощная фигура, способная пролезть и пройти через любые дебри, и вместе с тем беспечное, — хоть он и старается его хмурить, — беспечное детское лицо. Он — силен. Единственный недостаток студента — ранение в область сердца, но если сердце не остановилось, его уже не остановишь, оно выберется из любых неприятностей. Человек есть существо, приводящее других в восторг. Вот его назначение, вот его сила, вот его подвиг! И как восторг нельзя разжижить и разрядить, так же нельзя столкнуть человека с пути подвига и счастья. И, наконец, студент Валерьянов много путешествовал. Пусть он делится своими воспоминаниями с доцентом. Без спутника тому не обойтись. Трудно теперь произвести Сергею Сергеичу модификацию, изменение своего вида, хо-хо-хо... Так думал город о Сергее Сергеиче. Много было истины в этих думах, но, как видите, имелись кое-какие и ошибки. Впрочем, по-

чему же не быть ошибкам? Сергея Сергеича нельзя поставить в ряд с великими людьми, а, как известно, даже в оценке великих людей современниками случались ошибки.

Пока Сергей Сергеич размышлял о своем теперешнем чрезмерном беспокойстве, о своем положении в городе, вернулся студент Валерьянов. В рюкзаке за его спиной позвякивали сухари и торчал кусок солдатского одеяла.

— Я готов, — сухо и отрывисто сказал он.

Сергей Сергеич необыкновенно обрадовался.

— Прекрасно! Прекрасно, Валерьянов, — залепетал он. — Покуда есть в атмосфере тепло и не грянули холода, мы можем увидеть явление «оранжевой ленты». Я нашел способ приманить к земле эти странные организмы, обитающие в аэрозолях. А то придут морозы, и существа подохнут, как щенки. Тридцать — сорок градусов мороза, ха-ха-ха!.. Хотел бы я посмотреть, как они себя там почувствуют под норд-вестом. У нас зимой яростные норд-весты, не правда ли, Валерьянов?

Студент, поправляя за плечами рюкзак, проговорил:

— Прежде чем сесть в машину, должен предупредить вас, Сергей Сергеич, что я не верю в эти ваши оранжевые существа. И если еду, так еду из человеколюбия. Раз вы доподлинно узнали, что девочка ушла по Московскому шоссе...

— Доподлинно, доподлинно. Личный и вдумчивый намек Ольги Осиповны, из которого я заключил: по Московскому шоссе! Умнейшая женщина, пленительнейшая!.. Она и рекомендовала мне: обратиться к врачу Афанасьеву. Тот по поручению Облздравотдела едет в район, и как раз по Московскому шоссе. Афанасьев — душа и без того, а для Ольги Осиповны — особенно. Очаровательная женщина! Вся она розовая, сверкающая... В ней есть что-то от терцины, не правда ли, Валерьянов?

Они пересекли сад и вышли к липовой аллее, за которой высились чугунные институтские ворота, необыкновенно узорчатые, в розовых лучах рассвета похожие на иконостас.

— От терцины? — сразу не поняв доцента, спросил недоуменно Валерьянов.

— Ну да, от терцины! Знаете, у Пушкина?..

В начале жизни школу помню я;

Нас там, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья.  
Смиренная, одетая убого,  
Но видом величавая жена  
Над школою надзор хранила строго...

— Насчет величавости — ваша точка зрения, — пробормотал студент, — а только какая же она смиренная? Да и одета не убого, насколько я мог заметить...

Липовую аллею подметал дворник, старый-престарый, сутулый-пресутулый. Он не столько мел, сколько опирался на метлу, такую же древнюю, как он сам. Воздух был неподвижен, сух, а пыль и опавшие листья, поднятые метлой, застывали неподвижно, похожие на старинные кружева. Кружевные стояли за аллеей ворота, весь в бронзовых кружевах, грузно возвышается за воротами старинный собор, и маленькая здравотделовская «эмка» у ворот похожа на пуговицу. Переводя взор с дворника на ворота, а оттуда — на разноцветный сонм куполов, доцент, не слушая Валерьянова, говорил:

— Когда Данте искал для «Божественной комедии» подходящую стихотворную форму, он создал терцину. Под влиянием Данте эта строфа распространилась по всему миру. И если Данте использовал ее для грозных и обличительных своих замыслов, Пушкин — для лирических, мы — для...

— Так то ж Данте да Пушкин! — в негодовании пробурчал студент. — Куда-а мы к ним со своими терцинами?

Доцент прервал свою речь. «Кажись, я не того... — подумал он, с тревогой наблюдая свое неоглядно беспокойное состояние. — Кажись, я глупости порю? С чего бы, когда такой ответственный момент?»

В машине, скрестив на груди могучие руки, спал у руля врач Афанасьев. Сложения врач сверхъестественного, голос его громоподобен, и, хотя ему за шестьдесят, волосы его целы и черны, и никто ему не дает больше сорока. Похоже, что он знает секрет вечной молодости, во всяком случае, среди больных он считается лучшим врачом. Живет он широко, страстей у него много, но самая главная — страсть к морю.

Заваленный по горло практикой и преподаванием на разных курсах, он в течение войны ни разу не видел моря. Он тоскует по морю, не снимает с плеч морской куртки с золотыми якорями на пуговицах и тоску свою выливает в рассказах. Рассказы его грубы и описыва-

ют самые примитивные чувства: обжорство, драку, погоню за зверями, столкновения с разбушевавшейся стихией, но говорит он так горячо, что у слушателей дух захватывает. Конечно, с тоски по морю Афанасьев рассказывает чересчур густо, он и сам понимает это, — прощаясь со слушателем, он так жмет тому руку, что слушатель шатается от боли, — и, однако, не эта ли густота прельстительна? Только перед одним Сергеем Сергеевичем врач не испытывает шершавого чувства неловкости: Сергей Сергеевич верит каждому слову «ценителя моря».

— Едем?

Врач просыпается. Он с неудовольствием рассматривает детски трезвое, круглое лицо студента. Студент, несомненно, будет мешать рассказам, но Афанасьев верит в свои силы: зажгү!.. Зевая, он заводит мотор и говорит:

— А мне, батенька, снилось Эгейское море и архипелаг. Самое огороженное по красоте место во всей вселенной, доложу я вам!..

— Вы и в Эгейском плавали? — спросил Сергей Сергеевич, усаживаясь рядом с врачом.

Афанасьев, в сущности, Эгейского моря не видел. Это, пожалуй, самый позорный случай в его жизни. В Стамбуле, гонясь за дешевизной, он купил дюжину сквернейшего греческого коньяку. Вместе с врачом на Дальний Восток плыл его племянник-агроном, такой же косматый коренник, как и его дядя. Попробовав первую рюмку, дядя сказал, что коньяк этот, как снег в сырую погоду — пристаёт к полозьям... Определение оказалось пророческим. Двенадцать бутылок связали и слепили их ноги, июни очнулись лишь в Средиземном море. Капитан парохода утверждал, что и дядя и племянник наклонялись довольно низко к Эгейскому морю, но Афанасьев, хоть убей, ничего не мог вспомнить. Пропустить такую иступленную оргию морской красоты, о, боже!.. И вот уже много лет врач Афанасьев видел во сне густое и раскатистое, как октава, Эгейское море...

— Плавал, — сказал, широкобежно хохоча, врач. — Плавал! Конечно, плаванье по современному Эгейскому морю не то, что плаванье в седой древности, когда водились и нимфы и сирены...

— Нимфы — сухопутный миф, а сирены — морской.

Причем миф есть только миф,—отозвался с заднего сиденья студент, подпрыгивая на ухабе.

Врач обогнул обоз ломовиков, везущих с фабрики пухлые тюки бумагеи, погудел крестьянской подводе и, миновав последние домики предместья, выехал на широкое Московское шоссе, обсаженное четырьмя рядами берез. Здесь он обернулся к студенту и своим хохлатым, царственно могучим голосом проговорил:

— Миф?! Вы в этом уверены, юноша? Так уж вам все и известно, что происходило три или пять тысяч лет тому назад? Миф?! На ваших глазах вымерли зубры, морские коровы, кончаются бобры, лоси, котики... Пятьсот лет назад в Новой Зеландии водилась бегающая птица моа, три метра высоты, в два раза с лишком выше меня...— Он явно преуменьшил для эффекта свой рост.— Птица! В два-три раза выше меня! Вы, юноши, вполне можете и моа назвать сухопутным мифом. А что касается меня, я верю в море и в сирен и хотел бы послушать их пение! И даже, черт побери, не стал бы привязывать себя, подобно Одиссею, к мачте...

— Что ж, и Одиссей — миф,—упрямо продолжал студент.— И Гомер — миф. И вся так называемая Древняя Греция на семьдесят пять процентов, по-моему, миф.

— Говорите уже — на девяносто девять! — прорычал Афанасьев.— Эх вы, мифолог! — И, толкнув локтем доцента, Афанасьев стал рассказывать, как ему в Каспийском море пришлось наблюдать «выемку» осетра. Море чуть рябилось, и в воде, покрытой факеловидными пятнами, цвета блеклого золота, осетр имел совершенное сходство с сиреной; разве что не пел... И что думаете? Съели осетра с жасовым аппетитом...

Студент неслышно фыркнул в платок. Сергей Сергеич, не выразив ни малейшего сомнения, сказал:

— Душисто вы рассказываете, Петр Александрыч. Ваши рассказы всегда напоминают мне оливы, знаете эти деревья? Вы бы рассказывали почаще Ольге Осиповне. Легкокрылая, благороднейшая женщина. И, на мой взгляд, одинока и в пустыне. Такой сизокрылой надобен, я бы сказал, громодержный спутник. Муж у ней, допустим, достойный человек, но разве он ее достоин?

Врач возразил:

— Это вы, Сергей Сергеич, напрасно. Гавриил Ми-

хеич имеет вкус к морю. Вы заметили, какие он морские виды собрал? И где, в нашем городе! Тут из валов водятся только коленчатые валы, хо-хо!..

— Ясная женщина, умильность в ней есть...

— Умильность есть, не спорю,— сказал врач, обгоняя грузовик с полосовым железом.— Она понимает «малых сих». Возьмем такое. Едет она в Орловскую область. Там слышит: в оккупацию девочки, помогавшие партизанам, имели явочный знак — кусочек оранжевой ленточки. У вожатого отряда Ольга Осиповна достала метров десять этой ленточки и привезла в город. Кусочки этой ленточки стали выдавать лучшим, сердечным ученицам школ... Моя внучка тоже получила. Сантиментально, но есть возвышенная умильность...

— Это вам, что же, сама Ольга Осиповна сообщила?

— Сама.

— Почему же она мне не сказала?

— А я знаю? Может быть, потому, что ваши дети еще полугрудные и в школу не ходят.

— Как полугрудные, когда старший в третьем классе? — плачущим голосом сказал Сергей Сергеич.— Умолчать о смысле «оранжевой ленточки»! И сказать — вам?! Ведь она должна же почувствовать, что «оранжевая лента» имеет для меня тревожное и жгучее значение?..

— Да чего вы горячитесь? — спросил, недоумевая, врач.

— Чего? А того, что по следу «оранжевой ленточки» я ищу дочь инженера Румянцева.

— Она уже нашлась.

— Как — нашлась?

— Учила уроки у подружки и готовила обед для семейства подружки. Мама там больна. Я же вам говорю: оранжевая ленточка, ради нее. Сантиментальность, умильность, но сейчас это не вредно, сейчас это, я бы сказал, полезно. Души несколько обугрюмились, обуглились. Надо дать им искрометность, на первый раз хоть сантиментальную, как одуванчик.

Сергей Сергеич протянул руку к рулю:

— Стойте. Куда вы меня везете?

— К Зеленецким Рытвинам. Куда хотели.

— Я е-ехал отыскивать девочку. Девочка нашлась. Куда мне ехать? Зачем вы везете меня к Зеленецким Рывинам?! Ну, вас я, Петр Александрыч, понимаю. Вы, допустим, жаждете спутников. Но Ольга Осиповна? Дальновидная, милая, вдумчивая... Она-то знала, что девочка нашлась?

— Думаю, что знала.

— Как же она могла так поступить?

— Женщины — существа неизмеримые, как океан, — сказал, смеясь, Афанасьев. — Единственное спасение, как и в океане, относиться к ним бесстрастно. Кстати, об оранжевой ленте. Случилось это в Охотском море. Охотились мы на мысе Нох. Охота — неудачная. Садимся на «Основатель». Отплываем — и сразу: полоса цветных туманов с преобладанием оранжевого цвета. Плутали мы долго, были даже четыре случая смерти от «оранжевой ленты», и я хочу рассказать вам один, для разгадки которого требуется особая пытливость, свойственная, пожалуй, только вам, Сергей Сергеич.

Сергей Сергеич, в полном недоумении и отчаянии, воскликнул:

— Позвольте, вы говорили прежде — «оранжевые ленты» видели вы над озерком мыса Нох?!

— Да вы, голубчик, не спутали?

— Как я мог спутать? Я вас переспрашивал несколько раз. Еще вы рассказывали, как четверо умерли с ослепительно счастливыми лицами.

Врач, от изумления, снял даже руки с руля:

— Решительно не помню!

— Боже мой, я, как цыпленок в яйце, уже сделал наклеп в скорлупе и готов был освободиться... Вас я прощаю, Петр Александрович. Вам не удивительно спутать, вы имели столько встреч и потрясающих событий в море... но Ольга Осиповна, она-то даже ни разу не купалась в море!..

Студент подался вперед. В крошечном зеркале, прикрепленном вбок против сиденья шофера, отражались пыльные березы, вспаханные под озимь поля, мерцающие окна деревень, и среди всего этого — жалкое и беспомощное лицо Сергея Сергеича, его очки, мокрый от волнения подбородок, плохо, торопливо выбритый. Особенно почему-то этот подбородок растолковал многое студенту, а главное то, что Сергей Сергеич влюб-

лен в Ольгу Осиповну, влюблен, едва ли сам зная об этом!

«Фу, какой же я дурак! — думал сконфуженно студент. — И как я сразу не мог догадаться? А еще смотрел и слушал Шекспира?» Впрочем, при чем тут Шекспир. Сергей Сергеевич не знает о своей любви. Ольга Осиповна и не догадывается, как не догадывается и Гавриил Михеич или этот врач. Что же касается девочки и оранжевой ленты, дело объясняется просто. Ольге Осиповне понадобилось отослать на день-другой Сергея Сергеевича за город. Он ей мешал. Он болтлив, способен наболтать глупости. Пусть прокатится! Ему для здоровья полезно, тем более что рядом — врач.

«Ну, а я-то тут — какая спица в колеснице? — раздражаясь на себя, думал студент. — Мне надо заниматься, а прогулки мне зачем?»

Ответа не было. Он досадовал на себя, а к тому же езда на автомобиле доставляла ему удовольствие. Врач правил умело, машина, несмотря на выбитую дорогу, шла быстро. Как было бы приятно ехать, поезжай они по делу!.. Мелькнула лощина. В углублении на дне ее, где росли мелкие липы, мальчишки драли луб. Студент вспомнил слова отца, когда тот отпускал его в город учиться: «Даже луб драть, и то надобна наука». И как же иначе? Луб легко отрывается, когда теплая погода, малый ветер да малый дождь. Тогда, говорят, кору ветром откачивает, дождем отмачивает, теплом отпаривает. «Луб?! — думал с каким-то негодованием студент. — Луб — дело, а вот куда и зачем мы едем?»

Холмы удлинялись, увеличивались, словно стадо, которое гонит к водопою пастух. Показались Зеленецкие Рытвины — глубокие овраги, поросшие по дну осинником, поверху — сосняком. За Рытвинами виднелись горы, а у подножия их — нефтяные вышки и какие-то треугольные высокие здания, должно быть, входы в каменноугольные шахты. Места эти, видимо, хорошо были знакомы врачу. «Вот это колхозниками запущено под лес, — объяснял он, — а вот тут вправо, разделяют под пашню. Трудолюбивый здесь народ на редкость, лечатся только старухи».

Чаще стали встречаться грузовики, наполненные тусклыми глыбами каменного угля. Лес был сильно прорежен, и озорно блестели в зеленой глубине его да-

лекие глыбы скал. Горы! Горы невысокие, российские, нашей удали по пояс, но все же горы, все же скалы, обрывы, пропасти, ручьи, орлы, и — кругозор, кругозор!

Сергей Сергеич повернулся к студенту.

— Хорошо?! — с сияющим лицом спросил он.

Лицо студента ответно засияло, и он, невольно улыбаясь, сказал:

— Очень хорошо.

Врач захохотал счастливым хохотом:

— Ну, еще бы! Почти море. Я знаю, куда править.

Возле речки, сапфирной и речистой, у свежесрубленного моста, они увидали лафет тяжелого немецкого орудия, бог весть как попавшего сюда. На краю лафета, устремив глаза в лес, сидел пожилой человек, по видимому, охотник: две легавых собаки дремали у его ног. Лесом, невидимо, с вдумчивым грохотом, катился поезд с углем — от шахт. Врач спросил, здороваясь с охотником:

— Много выводков, Андрей Андреич?

— Страсть! И заметьте, как война, так эта птица плодится и плодится. Надолго, Петр Александрович?

— То-то, что на день, Андрей Андреич, — ответил врач, спускаясь к речке.

В такт поезду врач размахивал и постукивал ведерком, в такт стучал мотор автомобиля, в такт жил лес, — и в такт всему этому благолепию хотелось жить и Сергею Сергеичу и студенту. Когда врач вернулся и голубая, певучая струйка воды полилась в радиатор, Сергей Сергеич, переглянувшись со студентом, сказал:

— Мы, Петр Александрович, надумали по лесу побродить. Грибы или что другое...

— Одобряю, одобряю, — басом отозвался врач. — Сам бы остался, да работы сегодня предстоит много. Надо осмотреть три больницы, может быть, операцию сделать: веко у одной молодайки испортилось. Обрат-но поедем поздно ночью, не возражаете? Ночью — дорога, как в море, — строптива и шумна, ха-ха!

Он показал им дорогу к больнице, где они его найдут ночью, влез в машину, и машина пошатнулась под ним... «Как конь под Тарасом Бульбой», — подумал доцент. Машина скрылась. Охотник поднял собак и тоже скрылся. Сергей Сергеич и студент остались одни.

Сначала они шли молча, а когда пересекли овраг и углубились в лес, где тесно, плечом к плечу, стояли

удалые, красногрудые сосны, и когда начали попадаться грибы, они разговорились. Оба они вспомнили кудрявые и задорные забавы своего детства: доцент — в городе, студент — в деревне. Слушая студента, Сергей Сергеич думал о враче Афанасьеве. Чем он так мог повлиять на Сергея Сергеича и на студента? Умело и с удовольствием исполняет свои обязанности? Да мало ли людей умело и с удовольствием исполняют свое дело! Мечтает? Но мечтает и Сергей Сергеич. Жизнерадостен? А разве Сергей Сергеич, а тем более студент не жизнерадостны?.. Нет, тут есть что-то другое...

Грибов они набрали много. Студент ушел за водой, а Сергей Сергеич лег на теплый камень, подпер голову рукой и обратил несколько вспотевшее, усталое лицо к долине.

Горизонт замыкался кобальтовой синью Волги. Над нею висели бронзово-бурые облака с ярко-оранжевыми краями. Оранжевые пятна падали на город, — еле видимый, еле различимый, — и город был какой-то высокоцветный, сказочный. Асфальтовые шоссе, во всех направлениях пересекавшие долину, — хрупкого черного цвета с бело-зеленой каемкой, а проселочные дороги, — от глины, что ли, — самого густого и яркого красного цвета с едва заметной просинью. В воздухе пахло хвоей, грибами; нежно-печально покрикивала какая-то птица «ре-ре-ре... ре-ре-ре...». И ласкающая, легкая, как кисея, грусть качалась на сердце. Хорошо!

Хорошо делать свое дело, знать и любить его и не мешать людям в их, может быть, самые важные и ответственные моменты жизни. Как правильно поступила Ольга Осиповна, что заставила доцента уехать к Зеленецким Рытвинам! И каким чутьем обладает врач Афанасьев, сразу понявший ее намерения! И каким пустым, грошевым, какой вздорной и перелетной птицей показал себя в этом событии Сергей Сергеич. «Оранжевая лента»! Боже мой, какая напыщенная чепуха! Ему, видите ли, мало тех чудес, которые совершают на фронте и в тылу наши люди, он захотел еще поставить гору на гору...

Вернулся студент. Смеясь, он сказал:

— А я думал, вы, Сергей Сергеич, уже грибы вычистили. — Он поглядел в долину и сказал: — Да, красиво! При таком виде и я, пожалуй, не почистил бы грибов.

Тем не менее он вынул ножик и ловко и быстро стал сдирать шкурку с крепких и широких, цвета липы, грибных шляпок.

— Неделю бы здесь прожить,— сказал Сергей Сергеевич несколько виноватым голосом.

— На неделю хлеба не хватит,— отозвался студент. И он вдруг спросил:

— Вы, Сергей Сергеевич, по-видимому, предполагали, что оранжевые организмы, возникшие в облаках,— если допустить существование таких организмов,— появились в результате действия газа из шахт и нефтяных скважин, соединенного с городскими аэрозолями? Извините неточную терминологию...

— Что — терминология?! Ваша мысль понятна.

— Тогда не справится ли нам о составе газа и, вообще, познакомить с вашей гипотезой лаборатории шахт и нефтяных разработок?

— А зачем? Все равно никаких оранжевых организмов нет. И напрасно я вас смутил, Валерьянов.

Доцент достал портсигар, свернул папироску... и сказал, развертывая ее:

— Я ошибался. Инженер Хорев чувствует, ценит и уж никак не обижает свою жену. Разумеется, он и...

— Любит ее,— сказал студент, подвешивая котелок с водой к огню.— Грибы мы обварим разочка три, сольем воду, а там и маслица в них, Сергей Сергеевич?

— Да, маслица,— задумчиво ответил доцент.

Студент хлопотал, а Сергей Сергеевич все смотрел в долину, точно черпая оттуда утешение. Да, так оно и было! Грусть, словно ветвями прикрывавшая его сердце, сквозисто и трепетно таяла и уходила. Он наполнился пылающим и сладким теплом, несколько отличным от того, каким он горел еще вчера на Тургеневской набережной у Волги.

Студент, испытывая некоторую застенчивость, изредка поглядывал на Сергея Сергеевича. «Вот она какая — безнадежная любовь!» — думал он, и ему хотелось иметь так же много лет, как и Сергею Сергеевичу, и чувствовать так же, как и он, неотвязную и шальную любовь,— даже и сам не зная о том!.. Помешивая грибы в котелке, студент вспоминал всех своих знакомых девушек, но ни одна из них не была похожа на Ольгу Осиповну... Впрочем, что он знал о ней?

Жадно и свирепо хрустя сухарями, глотая нежно скользкие и живительные куски грибов, студент говорил с грустью:

— Ну, до чего ж этот сухарь едок, до чего ж зло едок!..

И, съев за один присест всю трехдневную порцию сухарей, студент сказал:

— Так я же абсолютно здоров! Мне надо было в лес попасть. Это и есть термометр жизни.

Сергей Сергеич радостно рассмеялся:

— Как вы сказали, Валерьянов? Термометр жизни? Очень хорошо определили. Именно, и вы и я, оба измерили температуру нашего духа. И оказалась — нормальная. Так тому и быть!

Часов в десять вечера они нашли машину врача около больницы. Появился Афанасьев, сутулый, утомленный, «наработавшийся, батенька, до самой макушки». Он сел к рулю и всю дорогу рассказывал о том, как самоотверженно работают доктора в районных больницах и как трудно добиться от них — «в силу этой самой самоотверженности» — точных данных о их работе.

— Молчат. Я им кричу: «Да говорите же! Страна должна знать!» А они мне: «Страна должна знать о фронте, а мы — тыловые». Все, говорю, одинаковы! Да говорите же!.. — кричал он, наклоняясь к уху Сергея Сергеича, словно тот был одним из районных докторов. — Помимо страны, с меня и Наркомздрав требует.

Избела-желтоватый свет фар освещал фиолетовую дорогу, раскидистые березы, которые казались оснеженными, телегу, студёные глаза коня, трактор с гусеницами, похожими на меховой воротник от клейко приставших комьев глины, темпераментный грузовик, застрявший в канаве, и поблекшего шофера в фуражке, люто сдвинутой на ухо.

Сергей Сергеич слушал, дремал, и, хотя слышал все, что говорит врач, ему снилась «кухта» — рыхлый снежок от испарений и туманов, пристающий к деревьям; снились дороги, какая-то песня, какие-то всадники, поднимающие легкий ветерок, от которого кухта хлопьями валит с деревьев; снилось и детство, отец, бородастый преподаватель естествознания в школе, объясняющий ему, что такое «кухта», откуда и почему она нависла на деревьях так многолико и стооко...

Очнулся он от дремоты уже на заводе, где устанавливались «решетки Румянцева» под «котел Румянцева» производительностью 180—190 тонн пара в час. Сергей Сергеич стоял позади Румянцева, глядя ему в черный, блестящий и мокрый от напряжения затылок. Румянцев, положив на колено лист кальки, что-то объяснял кочегару, одетому в брезентовый лазорево-синий комбинезон и широкую кожаную шапку, слезавшую ему на уши. Голос у Румянцева жгучий, розовый, радостный, и весь он — радостный, жгучий, розовый, так что Сергею Сергеичу несколько неловко стоять возле него: он сам себе кажется прозаичным и мелким. «Решетка» — большое и длинное сооружение, вся так и сверкает жемчужными кнопками, регуляторами с кругами и делениями, искрометными, тесно соприкасающимися колесами, иглистыми валами и колосниковым полотном, которое от угля кажется мохнатым и пушистым. Похлопывая кулаком по этому полотну, Румянцев сказал:

— Семьдесят три решетки в семидесяти трех предприятиях города.— Начертив эту цифру рукой в воздухе, инженер продолжал: — Завтра ровно в одиннадцать пятнадцать утра. Топливо полностью выгорает, шлак механически сбрасывается в бункер — аэрозолей нет!.. И не нужны никакие фильтры и прочее... А главное, вместо пятнадцати кочегаров — один. Из пятнадцати мы освобождаем четырнадцать, штука?

Взяв под руку Сергея Сергеича, он ведет его в свой кабинет. Здесь он садится за стол против Сергея Сергеича и, ласково улыбаясь, смотрит, как тот крутит свою папироску.

— Плохо крутите,— вздохнув, сказал инженер. И, взяв портсигар, он в одну минуту накручивает десятка два папирос.— Курите, пожалуйста.

Сергей Сергеич неловко пыхтит. Он не знает: что ему, раскручивать эти папироски или, черт возьми, закурить? Не знает он, зачем Румянцев пригласил его в кабинет и зачем прислал записку, прося зайти в любое время дня и ночи.

— Бывали вы на Севере? — спросил Румянцев.

— Вам ведь, наверно, известно, что я никогда не выезжал из нашего города,— сконфуженно прошептал Сергей Сергеич, сам не понимая, чего он конфузится.

— Значит, не появлялось потребности от чего-то...

вроде непреложной истины... отделаться?.. А я почему спросил? На Севере есть береза, называют ее кустовой. Растет она по болотистым и холодным местам кустом, не образуя высокого свода. И, когда делается ей особенно топко и холодно, мечтает она о переезде. Но ясно, ехать не может.

Встав, он сказал громко:

— А я — уезжал! Не понимая того, что я представляю из себя кустовую березу. Душа моя — в холоде и топкости. И не оттого, что топкие и холодные окрестности, а оттого, что любовный фонарь унесен другим. И даже не фонарь, а солнце. Солнце у меня взял другой! В остальном я развиваюсь совершенно нормально. Здоров, силен, приношу известную пользу, котлы и решетки, видите, выдумал, но вот в личном счастье задача одолела. Так хожу, работаю, ем — все нормально, повторяю, а увижу ее — и душа превращается в кустовую березу. Унизительно?

— Я не нахожу.

— Я тоже не нахожу. Отчего и нашел нужным с вами побеседовать. Вы человек Ольге Осиповне посторонний, вам ей легко будет передать...

— Мне?

— Не слова и отнюдь не признания, — где мне? — а одно вещественное доказательство моей любви. Я бы вам про любовь не сказал, кабы оставался. А то уезжаю. Меня сегодня в Донбасс, на прежнее место, вызвали. Дьявольски приятно уезжать! Был у меня вчера Гавриил Михеич. Примирились и примирились. Смотрю на него, думаю: «сказать?» Он у меня допытывался, — почему я на мысе Нох тогда не слез? Одну половину, правда, я ему сказал: нельзя отрывать изобретения от жизни, нельзя бежать от нее. Оказалось, в один день одни и те же мысли нам пришли. Прекрасно!.. Но вторую половину правды я ему не сказал. Я ее тоже на мысе Нох понял. Там — очень величественно и красиво... не мне передавать, я техник... священная и сама в себя влюбленная красота!.. Возле красоты такой понял я и свою красоту...

— Как вы — хорошо! — воскликнул Сергей Сергеевич. — Как вы замечательно сказали. Именно лицезрею красоту, понимаешь ты свою любовь. Ведь тогда и кустовая береза — прекрасна, если любовь?

— Прекрасна? — спросил, подумав, Румянцев. —

Пожалуй, вы правы. Прекрасна. Но когда ты делом и замыслами — лес, в некоем чувстве сознавать себя кустом — стеснительно...

— Розы тоже на кусте цветут!

— Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но сверх того, сверх красоты есть мучительное чувство, что любишь ты безнадежно и что сейчас понял ты это, а до того, несколько лет, и понять это не мог. Я свою покойную жену любил, развратом не занимался, после ее смерти дочку решил воспитывать и, хоть оставил ее на руках у Ольги Осиповны, так проехаться хотел с превосходными чувствами... А тут, на мысе Нох, посмотрел, понял себя и не возжелал увидеть друга Хорева. Никогда и никак! Дабы не воскресало, дабы умерло. Много лет прошло. Встретился в театре...

— Но ведь вы не пришли на «Макбета»?

— Далеко до «Макбета» это произошло. Шли «Без вины виноватые». Вот уж подлинно мы с ней — без вины виноватые. Увидел ее в фойе. Идет — стройная, томная, и необыкновенно реально ее вижу, а остальных, как сон... Вижу, глаза ласковые, сердечно она всегда ко мне относилась, три раза на дню о здоровье спрашивала — единственная у ней слабость, — вижу все это и, сжав себя, превращаюсь в мертвый камень.

— Ужасно!

— Пожалуй, что — и ужасно. Так вот, смотрю я на Гавриила Михеича и думаю: «сказать?» А зачем? Что, мне или ему легче будет? Но, с другой стороны, и молчать не могу, потому что нашел подле кресла, там, в театре, кусочек оранжевой ленточки. Видимо, доставала она платок из сумочки, ну, и обронила. Схватил я этот кусочек — и вроде раскаленного угля. Вот он.

Румянцев, громко стукнув ладонью, положил на стол смятую, с развитыми нитками на краях, оранжевую ленточку.

— Знаю. Глупо, слезливо, мелодраматично. Достаточно пожилой дядя — другому, еще более пожилому, жалуется. Ну, а если не могу? Знаю, война, погибают миллионы, страдания и труды необыкновенные у нас, и стыдно, казалось бы, советскому инженеру хныкать над оранжевой ленточкой...

— Но любовь есть любовь, — сказал Сергей Сергеевич. — И вы напрасно говорите о ней иронически. Чем больше я думаю, тем сильнее не нравится мне ваше

сравнение себя с кустовой березой. Почему вы должны унижать себя? Ну, допустим, вашу любовь нельзя проявить, вы должны молчать о ней. И что же? Разве она от того становится постыдной?

— В чем-то вы правы, Сергей Сергееч, в чем-то и я прав. Может, мне мою любовь надо унизить, чтобы она не так пламенела надо мной?.. Но продолжаю. Смотрю я на эту оранжевую ленточку... Ольга Осиповна и девушкой любила оранжевый цвет... впрочем, разговор не о сущности цвета. Приходит как-то дочь и говорит, что отличные ученицы у них в школе имеют право получить кусочек оранжевой партизанской ленточки, которую привезла Ольга Осиповна. Трогательное движение, жаль, что к нему педагоги отнеслись отрицательно, хотя само собой эта оранжевая ленточка — случайна и не типична... Взяла она книжки, ушла к подруге — вместе заниматься. А у меня такое сумасшедшее и тягостное чувство, что дочь мою похитили, сбежала она от меня... тогда как, в сущности, я хотел от нее сбежать, я!..

— Почему же вы меня выбрали? Там, на Тургеневской, помните свои слова?

— В вас есть чувство красоты, пускай иногда нелепой и тяжелой. Но — красоты. Вы, Сергей Сергееч, сами вроде мыса Нох. Думаю: поймет. И вы поняли. Вы даже поехали мою дочку отыскивать по Московскому шоссе. Позвольте поблагодарить вас.

Не вставая, видимо все еще поглощенный своими думами, Румянцев пожал руку Сергею Сергеечу, а затем сказал, протягивая ему оранжевую ленточку:

— Будет просьба. Верните ей это. И скажите... у вас это не получится нелепым... что, мол, нашел Румянцев в театре и, признавая, что вышел из детского и юношеского возраста, возвращает... хотя и будет страдать до тех пор, пока не будет страдать... А лучше последнего не говорить?

— Лучше не говорить, — сказал Сергей Сергееч, кладя оранжевую ленточку в бумажник неподалеку от другой, тоже оранжевой ленточки...

— После отъезда?

— Что, после отъезда?

— После отъезда, говорю, передадите?

— Ну, да.

И уже у дверей, прощаясь с Завулиным, Румянцев сказал, весь сияя:

— А ведь дочка-то моя, теоретически, добилась оранжевой ленточки. Практически она ее получить не могла, так как это движение педагоги нонче отменили. С моей точки зрения, они не правы, но я, как видите, человек односторонний.

Вдруг одно совершенно неожиданное соображение осенило Сергея Сергеича.

— Иван Валентинович!..— пробормотал он смущенно.— Я сваливаю вам в беспорядке... загромождаю вашу голову вопросами...

— Пожалуйста, пожалуйста, голубчик Сергей Сергеич!

— Известно вам зарождение рассказа о четырех, умерших со счастливыми лицами?..

— А, на мысе Нох? Ну как же! Для меня там все прозрачно. Во-первых, никакого счастья у них на лицах не было. Но из этого, конечно, не значит, что они умерли недостойно. Заметил я у них на лице очевидное пренебрежение к смерти, русское, удалое. А счастья — нет. Ибо мы понимаем, а они тоже понимали, смерть — люта и лиха...

— Это совпадает с моими мыслями...— поспешно сказал Сергей Сергеич.

— Теперь относительно сущности рассказа. Боюсь, что это я заготовил доски, из которых досужее воображение Афанасьева сколотило бочку легенды и пустило ее по бесконечному океану. В те минуты я был наполнен думами о своей громоздкой и безнадежной любви. Я высказал Афанасьеву, что, мол, эти четверо, тоже, может быть, подхваченные безнадежным смерчем любви, тем не менее умерли счастливыми и, мол, может быть, и мне предстоит подобное... Мысли ваши, как вещи под залог, рекомендуется отдавать надежному человеку. Афанасьев — прекрасная личность, но воображение его жгучее, будто крапива. А что, разве легенда о четырех и по сие время ходит?

— Уже умерла. Да и не жалко. Хлам, пустословие.

Сергей Сергеич преувеличивал. Ему немножечко жалко было исчезнувшую «оранжевую легенду». Стараясь заглушить в себе это чувство, он спросил:

— Выступала на совещании Ольга Осиповна?

— Голубчик! Вы не слышали ее? Какое горе! Вы

многое потеряли. Начала она, словно саблю выхватила из ножен,— блеск! А дальше — ясно, прозрачно, ну, прямо сияние утренней звезды, честное слово!.. Замысел мой — и о решетке и о котлах — раскрыла с удивительной силой. И одновременно выдрала нас — меня и Хорева — за уши. Мы немедленно согласились на опыт, а то бы еще месяц или два тянули...

И он пустился разглагольствовать о свете и прозрачности, словно он светомер был какой... Одно бесспорное заключение мог вывести Сергей Сергеевич из слов Румянцева: тот, после выступления Ольги Осиповны, полюбил ее еще сильнее... Довольно быстро Румянцев устно подтвердил догадку Сергея Сергеевича. Торопливо, словно боясь остудиться, он проговорил:

— И в конце концов хорошо, что я ее полюбил! Кому я мешаю?! Да, это — для меня страдание, но прекрасное страдание. И пусть лучше оно будет, чем не будет. Вы меня, Сергей Сергеевич, понимаете? Вам это не кажется пустым набором слов? Вам ведь, теоретически, любовь знакома по мировой литературе?! Ах, как печально, что вы не присутствовали на ее выступлении, какой освещающей перспективы оратор!

— До известной степени лучше, что я не присутствовал на совещании,— сказал, криво улыбаясь, Сергей Сергеевич,— не всякий, как вы, может умеренно относиться к своему страданию.

— К любви? По счастливому стечению обстоятельств она вас не коснется.

— Разумеется, не коснется, но все же лучше подалее от заразы... она велика, как глыба...

— Именно глыба, обвал, ха-ха-ха!..

И, смеясь, весь блестящий от смеха и машинного масла,— да еще, захватив по дороге масленку, словно ему еще мало скользкости и гладкости,— Румянцев проводил Сергея Сергеевича до дверей котельной.

«Зачем я взял эту ленточку? — с досадой думал Сергей Сергеевич.— Все уладилось благополучно: оба опыта начнутся одновременно, семейство Хоревых — счастливо, я по-прежнему шуточный и безвредный дурачина... Ну чего я потащусь к ней с этой ленточкой?»

Однако ленточка тащила его за собою. Вместо института он направился к Ольге Осиповне. Не доходя малость до ее дома, он остановился и опять задумался. Бессонная ночь сказывалась. Томила жажда, глаза

слипались, хотелось спать. «Наболтаю опять какие-нибудь глупости», — подумал он и, довольно неожиданно для себя, пошел в достраивающееся здание городской автоматической телефонной станции, где Хорев монтировал электрофильтры собственной конструкции. К удивлению Сергея Сергеевича, инженер по телефону высказал горячее желание немедленно увидеть доцента, и еще больше удивился Сергей Сергеевич, что инженер оказался очень вежливым, словоохотливым и, почти до приторности, любезным. «Вот оно, какое бывает счастье!» — с легким неудовольствием подумал Сергей Сергеевич.

Они обошли все три секции АТС мимо всех четырех тысяч «телефонных точек». Сергей Сергеевич имел возможность сравнить пасмурную, низкую котельную — этот желудок предприятия — со светлыми, просторными залами АТС — глазами и ушами предприятий... но Сергею Сергеевичу было не до сравнений. Он смотрел на Хорева. Инженер заметно похудел, изменился, его трясло, словно в лихорадке; без того темное лицо его было цвета чернозема... нелегко давалась ему удача!

Инженер провел его в большую комнату. Здесь во всю ширину трех стен стоял какой-то аппарат, отчасти похожий на камин, или на орган, или на то и другое вместе. Инженер сказал, что это «санометр», снаряд для измерения силы звука и, отчасти, для создания ультразвука, позволяющего произвести коагуляцию аэрозолей, то есть слипание частиц, дождевание. Если и все пойдет дальше так же благополучно, завтра, в 11.13 утра будет произведен «эксперимент 27»... между нами?... эксперимент — шаткий, а в случае успеха может иметь военное значение... между нами...

— В одиннадцать пятнадцать? — спросил доцент.

— Нет, именно в одиннадцать тринадцать. В одиннадцать пятнадцать — опыт Румянцева. Собственно, его решетки и котлы даже нельзя и назвать опытом. Опыт он давно закончил, это — массовое применение. Он задерживал его потому, что боялся — не удастся проследить сразу за всеми решетками и котлами, а кадры помощников еще не окончили его курсы. Вчерашнее совещание настояло на немедленном применении опыта.

И он глубоко, с сожалением, вздохнул.

Ах, это вчерашнее совещание! И в течение всего со-

вещания и сейчас Хореву казалось, что Ольга Осиповна темно и запутанно говорила о решетках и котлах Румянцева — а прозрачно и ясно об «эксперименте 27». Румянцев хотя и благодарил, но по лицу его очевидно, что он ужасно недоволен. Впрочем, человек он благородный — он горячо настаивал, чтобы Хореву дали эти две минуты... «эксперимент 27» требует так много электроэнергии, что в течение двух минут все предприятия, учреждения и дома города будут лишены тока... очень сложна и проводка... а если эксперимент не выйдет... Благородный человек! А надо было говорить об его опытах не так лениво...

— Ну, я вам не буду мешать,— виновато произнес Сергей Сергеевич. И он добавил, неизвестно зачем: — Разрешите завтра, после одиннадцати тринадцати, после эксперимента?..

— Если выйдет, если выйдет!..— почти с отчаянием вскричал инженер.

Да, нелегко ему доставалась удача!

Свою жизнь Сергей Сергеевич находил относительно удачной хотя бы потому, что он не запутался во всем происходящем вокруг него. Правда, поворачивался он с трудом, разве только в постели, с боку на бок, с легкостью, но и эта легкость была такая, словно он во сне тащился по глубокой, по колено, осенней грязи. Он опять не спал всю ночь. Встал он с головой, набитой какой-то нудной пылью, как чулан для помещения ненужных вещей. Жена не подала ему повода для брани. Впервые в жизни он назвал ее, всеми глубокоуважаемого педагога, дождевым червем.

— Не вижу здесь ничего обидного,— с невероятно обиженным лицом сказала жена,— дождевой червь вполне полезен.

— Польза пользе рознь, матушка,— сказал Сергей Сергеевич и, не допив чаю, отправился на Тургеневскую набережную.

Было десять часов сорок минут утра.

В золотом столбе листьев, возле скамейки восточной формы, напоминающей стихи формы «газель», топтался студент Валерьянов. Вчерашний день он прожил без Сергея Сергеевича и — тосковал. Всегда-то он считал себя умеренным и даже равнодушным, а тут — извольте видеть! Тоскует не только по Сергею Сергеевичу, но и по этой скамье восточной формы, напоминающей

стихи «газель», широкие, просторные, плавные — и пленительные! Ах, как приятны восточные мотивы романтиков и как неприятен реально встающий перед вами романтический мотив! Зачем, например, этому пожилому, сорокалетнему человеку влюбляться в молодую женщину, а ему, молодому студенту, неприятно следить за этой любовью и бояться, что как бы влюбленный не открыл в себе эту любовь? Тоже, нашелся убаюкивающий!

Доцент плюхнулся на скамью. Возле него упал второй столб листьев. Плавню размахивая руками, словно А. Фет — строчками, когда тот в совершенстве овладел трудной формой «газели», доцент сказал:

— Меня глубоко заинтересовал «эксперимент 27». Да, а работа решеток... и котлы... Отсюда, Валерьянов, мы увидим все результаты.— Он вынул портсигар, скрутил папироску, раскрутил ее и, глядя в табак, как в часы, сказал: — Уже одиннадцать. Чертовски бьется сердце, а у вас?

Студент промолчал. Ему хотелось ответить: «Если у меня по каждому опыту, пусть имеющему военное значение даже, будет биться сердце, что оно стоит тогда?» Но сердце у него билось. И смотрел он так же, как и доцент, на небо, на реку, на город.

День был того же, как и позавчера, странного цвета опала. Сутулая река, без блеска, пугливо жалась к берегам. Лязганье рулевых цепей, звуки падающего или поднимающегося якоря слышались невнятно и заунывно. Облака, цвета солоди, охватывали солнце, словно шины колеса. Пахло лопухами, щепой, тиной, плотами. Из опаловой дымки поднимались трубы заводов. Какое сейчас, наверное, полыхает пламя у топок, какое напряжение у людей, а трубы передают его не больше, чем восклицательный знак в конце фразы. Нужно произнести вслух всю фразу, чтобы значок приобрел смысл...

Студент думал о том же, но по-другому. Он знал, что в эти часы город работает с особенной силою и эта сила всех увлекает за собою. Все утро студент занимался усердно, и ему казалось, что он усвоил за эти несколько часов столько, сколько не удалось бы усвоить за три месяца. И еще почему-то вспоминалась ему деревенская картина, виденная в детстве. В землю воткнут толстый кол, на который надета крепкая втул-

ка от колеса. Во втулке — рычаг, и плечистый мужик, тяжело шагая, медленно поворачивает втулку, втулка гнет полоз... дерево темнеет от напряжения, мужик побрякивает, дерево гнется... так и получают полозья, которые потом лихо катятся по сахарно хрустящему снегу, катятся в город или на ярмарку...

— Одиннадцать часов тринадцать...

И доцент умолк. Очки его запотели. Короткими своими пальцами он поспешно протер их... и охнул забавным, тепленьким голоском.

Студент не заметил этого оханья. Он сам охнул, — тяжело, шумно, словно уронил парус.

Дым над городом яростно клубился. Обозначились явственно пять смерчевых потоков. Эти треугольные, остриями вниз, гигантские смерчи были разноцветны — от землисто-бурого до дивно-пунцового. Преобладал, впрочем, оранжевый, особенно на вершинах подплясывающих конусов. Вершины их были хрустально-оранжевы, а середина отливала бархатом.

Дымчатый тент над палубой домов стал чахлым, а затем бесшумно разорвался на пять частей. Образовалось в облаках пять провалов, и в провалах плавился свет солнца — ослепительный, прекрасный, чудесный свет, заливший дома.

Тучи аэрозолей почернели, как греча, побитая морозом.

Аэрозоли уходили. И Сергей Сергеич готов был побиться о любой заклад, что весь многотысячный город, разинув рот, глядел на то, как угнали аэрозоли. Но Сергей Сергеич не мог побиться о заклад, услышал ли город ультразвук. Впрочем, нельзя сказать, чтоб и Сергей Сергеич слышал его. Он его ощутил всем телом, как ощущают тепло или ласку. Накатилось что-то отрадное, большое, вызывающее радость, и Сергей Сергеич отдался этому чувству без напряжения, без сопротивления... и, однако же, не очень жалел, что оно исчезло.

Уже опять бренчал, перезванивая, трамвай, и опять висли на нем мальчишки. «Эксперимент 27» окончился. В воздухе стоял легкий и приятный запах дубового мха. Крыши домов словно покрыты лаком, это на них осели аэрозоли... а что же еще уловлено помимо лака, что означает запах дубового мха?.. Едва ли мы скоро узнаем о том, что уловлено.

Студент, поймав мысль Сергея Сергеича, сказал, глядя на него с огромным уважением:

— Эксперимент, несомненно, имеет военное значение. Смотрите, как замолчал город, будто все несут военную тайну. Это уже не теоретический вывод, а явление нашего ума на практике. Так все понимают.

Сергей Сергеич ждал, что скажет дальше студент. У Сергея Сергеича было такое чувство, когда вы видите яблоко, которое налилось и засквозило, или когда на небосклоне при вашем приближении засквозит и заредеет лесок... К сожалению, студент замолк. Он не видел смерти странных облачных созданий, убитых ультразвуком. Но разве сам Сергей Сергеич мог утверждать, что видел гибель «оранжевой ленты»? Разве он кружился, подпрыгивал и бежал куда-то, как те четверо у озерка на мысе Нох?! Хотя разве он не испытал ощущения счастья и легкие всплески его уходящих волн не слышит теперь?..

— И все-таки жаль! — сказал он. — А может быть, и не жаль, что их не видали.

На низменности, вдоль реки, по новой железнодорожной ветке, выстроенной во время войны, шел поезд, груженный танками. Воздух чист и прозрачен. Видны не только лица танкистов, но и восхищенное лицо мальчика, пасущего у откоса гусей. С соседнего аэродрома поднимается самолет. Мальчик переводит на него взор. Да, этому народу не жить кой-как, не перемогаться, не теньтенькать, а постоянно приводить доказательства теоремы героизма.

В голове началась барабанная дробь. Сергей Сергеич нервно пощупал бумажник, где лежали две ленточки. Студент сделал такое движение, точно боялся, что Сергей Сергеич упадет в обморок, хотел подать ему воды.

По набережной шли Хорев, Ольга Осиповна, Румянцев и несколько человек в штатском и военном, по видимому, члены комиссии, принимавшие «эксперимент 27», решетки и котлы. Все они говорили, перебивая оживленно друг друга. Молчала только Ольга Осиповна, да и то, пожалуй, потому, что взоры и слова всех обращены были к ней. Особенно старался один член комиссии, низенький, кругленький, от волнения покрытый сплошной мокретью, как отпотевший предмет, перенесенный из холода в тепло. Он вскрикивал,

отскакивал и, казалось, вспархивал на коротеньких крылышках.

Сергей Сергеич во все глаза смотрел на Ольгу Осиповну и на ее мужа. Так вот оно какое, счастье! Хорев — прежний, вчерашней худобы и истощения как не бывало. На нем матово-желтая кожаная куртка с большими, слегка отвисшими карманами, свежая синяя рубаха, толстый вязаный алый галстук — и эта одежда очень молодит и красит его. Портфеля при нем нет, и вообще нет никаких бумажных доказательств его славы, — разве что на лице. Лицо и шаги у него, словно у венецианского дожа, когда тот шел по набережной к «Буцентавру», чтоб обручиться с морем.

И все же Хорев казался Сергею Сергеичу некой наборной вещью, соединенной из мелких частей, а не вырезанной целиком. Вот Ольга Осиповна — другое дело! Она сразу создает впечатление поразительного единства. Все у ней, и в отдельности, великолепно. Ум, голос, походка, светлые, пепельные волосы, простые серьги в ушах кажутся бриллиантовыми; голубое платье, украшенное широкими желтыми вышивками, необыкновенно прекрасно на фоне темно-багровой стены дома, трепещущей, как отсвет пламени. А загорелые руки, обнаженные выше локтей, боже мой, как они красноречивы!..

— Хороша! — сказал со вздохом студент Валерьянов, когда Хорев, Ольга Осиповна, Румянцев, раскланявшись, прошли мимо.

Это восклицание не было главным и существенным средством, исцелившим Сергея Сергеича, оно было вспомогательным и содействующим, вроде фактурной книги в учете товаров. Однако и оно отчасти содействовало тому, что доцент решил отнестись к этому меткому определению сущности Ольги Осиповны без суетливости, беспокойства и всполошливости. Две ленточки он отошлет с любезным письмом, объясняющим ситуацию, — сразу же после отъезда Румянцева. Письма и лекции лучше удаются ему, чем душевные излияния, тем более относительно чужих чувств, вроде чувств Румянцева... ведь он, Сергей Сергеич, похитил ленточку у дочери Хорева совершенно с иной целью, чем этот затылистый Румянцев: он хотел помочь последнему найти свою дочь!..

— Да, недурна, — отозвался Сергей Сергеич.

Он встал. Барабанная дробь в голове уменьшилась. Однако шелест сопровождал его, словно он головой, как набалдашником трости, раскидывал вороха этих золотых листьев, сладостно сухих, огнедышащих красками под этим великолепным солнцем, как певучая лютня, брошенным в середину благовонного неба.

— Значит, опыт Румянцева тоже удался?

И он ответил:

— Конечно, да. Ведь «эксперимент 27» только единожды уничтожил аэрозоли, и они больше не сгущаются. Значит, котлы и решетки Румянцева работают, как он и обещал, успешно сжигая топливо без остатка. Я радуюсь за него...

И он опять присел, словно ему трудно было переносить радость на ногах. Барабанная дробь в голове утихла, исчез и шум, на сердце было ясно, светло. Улыбаясь влажными губами в почтительно глядящее на него лицо Валерьянова, он говорил и чувствовал, что каждое произнесенное им слово уносит что-то временное и пустое, как при промывке руды уносятся пустые и легкие частицы земли.

— Мы, друг мой, присутствовали при редком физическом эксперименте и при столкновении чувств, которые вы, по молодости своей, быть может, и не поняли. Такое стечение обстоятельств никогда,— в моей жизни во всяком случае,— никогда не повторится. И я счастлив, что мне удалось все видеть, а главное — слышать звук в небе, звук умирающих Оранжевых Лент. Не смейтесь надо мной, дружище. Посмотрите на крыши. Лак высох, они покрылись порохом. Мне кажется — это остатки Оранжевых Лент. Вряд ли эти существа сочувствовали человеку и его делам,— и я рад, что Хорев уничтожил их...

И он перевел взор на реку. Глядел он на нее с тихой, незакатной грустью, словно река уносила часть его жизни. Студент слушал его и чувствовал, что расхмель, который он всегда видел у Сергея Сергеича, овладевает сейчас им, Валерьяновым. Низменность, промытая весенней водой и разделенная невысокими холмами, по которым вилась железная дорога, казалось, приобретала особые всесозидающие краски. Воздух, струившийся над нею, был кипучий, бессмертно-молодой, пышно-ароматный. «И этого человека,—

думал студент,— я хотел предупредить и предохранить от любовной горячки, когда он, сам по себе, каузальный человек, человек, заключающий в себе причину причин!.. Куда мне?!»

И с особо высокой, восторженной почтительностью он выслушал последние слова Сергея Сергеича перед тем, как тот встал со скамьи восточной формы, чтобы идти читать лекцию. Почтительность эта сняла со слов все плоскости, как с шара снимают выпуклости, и он превращается в многогранник, и если он из редкого материала, то начинает блестеть и увеличивается до блеска бриллианта. Возможно, что мы более умеренно и равнодушно относимся к Сергею Сергеичу, и он духовно не усыновил нас, тогда блеск этого бриллианта будет мало виден нам. Ну, что ж, меньше барыша от жизни!..

Сергей Сергеич сказал:

— Не думайте, Валерьянов, что, разглядывая в небе Оранжевые Ленты, я хотел уничтожить знание. Допуская такие мысли, вы допустите, что я провожу параллель между, скажем, катоптрикой, современным учением об отражении лучей света, и — гаданием на зеркале у древних. Нет! Мне так же, как и вам, хотелось и хочется очистить знание от сомнительных и недостоверных элементов. Мой взор кверху — только прием. Я убежден, как и вы, что существует и достижимо истинное знание, адекватное своему предмету. Это знание достигается с трудом, а какое знание достигается без труда? Сонники отбивают ото сна. Наука же не отбивает от науки. И как приятно дойти до абсолютно достоверных начал, до тех начал, на которых строится широкошумное и многоцветное здание науки. Мы — увальни, мы — лежебоки с вами, Валерьянов, научившись кое-чему, пойдемте учиться по-настоящему!..

*6 февраля 1944 года*

## АГАСФЕР

Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразило мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм,— сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин,— лишенных всякой реальной связи,— что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький несколькими строками в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем

художественного произведения,— если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно, в наше время всевозможных удач,— стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна»,— говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной,— может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна,— сказал я ей,— то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Не удивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидал явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полый плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне действительно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился благодаря своему слабому виду отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень плохо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно действительно-переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторой паузы он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад длинную голову. — Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатах и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору,— сказал я, продолжая смеяться,— но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана,— а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае,— вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех,— ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову.— Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утештесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господ... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Витемберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тисненными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка, роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви.

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю. Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную? Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей.

Я же настаивал на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее... «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, ниспадавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже. — Он вздохнул. — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите

ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому. Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса, рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позвольте продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумеет только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбическилистные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага, значит, по-турецки, начальник, ну, а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того, я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он казался мне пресным, мало энергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посовещавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенных друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папироской.

Папироса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления:

— Каяться пришли?

— Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову.

— Как? — спросила она со смехом.

— Я переделал вашу фамилию.

— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно чувствую гиеной, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах?

— Гиены-то? В камнях и песках.

— Ну, там подыхать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк.

Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:

— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно, — за пропита-

ние и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписались...

— Какая же это продажа, если расписались?

— То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него свехурочные полюбила.

— Оделись, по крайней мере? — спросил я, не знаю зачем.

Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продавалась, да мучиться? Вот еще!»

И она сказала:

— Оделась неплохо.

— А ну, покажитесь, выйдите!

— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?

— Уж и манто!

— Уверяю.

— И мама с вами переехала? Племянница маленькая... как они?

— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не совершал, — воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс, — вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет, — ответила она и с каким-то непонятным раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня муча-

ет бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Лечение мне нужно, лечение... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо выющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне. — Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель, — клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный, — кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кipu «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевым:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Будьте вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите, — хихикнул мой посетитель. — Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатному экземпляру «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер», принадлежащему перу Пауля фон Эйтцена, имя

Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так,— сказал посетитель.— Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что было ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Бремман, пьяница, распутник и не без пытливости,— в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак,— был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору,— разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

— Продали? Опоив и затащив в притон?

— Она пришла туда сама.

— Почему?

— Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Бремана на пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Бремана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трои.

Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибивали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об

Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы не логично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей,— словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вождедея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести, проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, самвона, и в частных домах и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа на руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я

приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить,— сказал будто бы Иисус,— но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из руки. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реально-стью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника? С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то, что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранно-желтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолет-

ней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был сильного бурого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемьдесят лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высокочтимый доктор Священного писания и слуга господи, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет!

Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо искривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем во-

жака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неуправляемой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне несло: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господина!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся,—как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались заостренными, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед которыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, а на самом деле я сластолюбивый старик, начитавшийся глупых книг, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохота неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его испугнули. Он вскочил и заметно более твердыми шагами выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменял по ступенькам.

Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Обозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает *ваши очертания*, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность хотя бы для того, чтобы бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила гибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою гибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей; на его стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! По-

истине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии — глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистаспа, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, разбирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст?

С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга — пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых мало правдоподобных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдеброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они

поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертного — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнзорок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычным выводам пришел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *уменьшился* в росте, голова моя начала ссуживаться и *удлиняться*, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид*!

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; Парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к ко-

тому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной, — нисколько *не ниже* меня, — шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала, и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю, — кажется, он? Изменился! Во мне — смятение! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести, сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него *слова*, а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. Стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавды. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клавье чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водятся чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают,— есть и такие,— и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно,—какой я сыщик!—но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич.

— Ослабел.

— На улице, возможно, я бы вас не узнала.

— К лучшему.

— Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви.

— Пару дней назад вы говорили другое.

— Врала.

— И насчет лысины?

— Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.

— За доброту?

— Это великое качество!

— Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были

съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

— А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?

— Откуда ему быть?

— Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И, однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет,— сказал я.— Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплестать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад...— начала она, взбивая подушку.— Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, кото-

рые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его:

— Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и округлившееся — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль, и это даже не пыль от «Агасфера», — и смеялись бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне *мясистую* — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вокруг меня и — задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как зазубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?..

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!.. — смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я. — Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за *моими* словами, за *моими* мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испа-

нии, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха...— откинувшись на спинку дивана, сказал я.— Он пришел из Московии? А что говорит — Анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать? — грозно привстав, спросил я.

— В Московии,— ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе *жалость* того, кто даст вам *жизнь* и возьмет вашу *смерть*?

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи:

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка», — подумал я с

раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, трясая головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал:

— Она ужасна, *ваша смерть*, фон Эйтцен?

Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она — непереносима, эта *ваша смерть*, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть*, фон Эйтцен? Скажите мне адрес вашей смерти? Огорчил. Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или —

броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь... — еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он. — Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись, — едко сказал я ему. — Так что же это значит: «здесь»? Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что, издеваетесь надо мной?! — крикнул я. — Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество», — твердил я.

Он, поевжившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях.

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутылке? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

— В кошеле?

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того, как я заметил, что он *разного* со мною роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить.

Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот то же самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетинный мороз подрал меня по коже. И в то же время неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела!

Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Преодолевая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера по-прежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы.

— Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена, — без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то... — может быть, родственникам Клавы или Агасферу?.. — мою комнату и переехать в Толстопальцево?» — подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне.



THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED WEEKLY  
535 N. Dearborn Ave., Chicago, Ill., U.S.A.  
Subscription Price: \$5.00 per Annum in Advance

- Согласна и на большее.
- А на что именно? — спросил я с трепетом.
- На все, что ты велишь.
- Нет, не на все! — закричал я громко. — Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.
- Именно всему. Это и есть любовь.
- Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.
- Я верю всему, что ты говоришь.
- Даже существованию Агасфера?
- Даже!
- Ха-ха!
- Чему ты смеешься?
- Как быстро ты дисциплинировалась.
- Тебе не нравится?
- Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно, — они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?
- Смешно.
- И будет смешно, если я тебя захочу съесть?
- В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод, — ответила Клава спокойно, — и там всякое случается. Мы будем ждать?
- Агасфера? Да. Мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если же он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!
- Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.
- Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.
- Спал хорошо, милый?
- Великолепно.

Где уж там великолепно!

Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупичу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!

— Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет.

— Нет, придет!

Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять. А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, — и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и...

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не от-

рываая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, бóльшую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна?

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна,— ответила она твердо.

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками моего интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать,— однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплоскать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он должен отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему должен? А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух бо-

гов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя зло и осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, *должен* отвечать мне.

— Адрес вашей смерти, — спросил я. — Толстопальцево?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцево?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было нелегко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками «руки», я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы? — крикнул я ему.

— В Толстопальцево, — ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и, огромный, сероволосый, поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густо-сплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем посмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший семью? Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженный?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было на-

писать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой пустой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?!

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?

Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — прыгивая на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алой фу-

ражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал.

Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойдя дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековые болота? Под Москвой?!

— Дорогой, долго еще идти? — слышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять обхватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете? — спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул? — крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

«Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вдох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалншь!

Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидел продолговатый, обитый по краям медью сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль него шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиной не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся. — И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старицная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющей сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту, — сердито сказал я, — что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник, — сказал я, смеясь, — и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке, — сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой, — сказала мне Клава, — его, кажись, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала. — Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиноного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидел я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бровные ресницы!

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробиравшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вокруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде, — прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава! — крикнул я.

Лес безмолствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынуждением жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой. — И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел в последний раз? Ах да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой mine. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не было в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтоб очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячившие фигуры. Я решил проучить мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора умиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем, — бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

7 сентября 1944 г.

5 ноября 1956 г.

## СИЗИФ — СЫН ЭОЛА

Солдат сразу узнал их, родные горы! В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, — оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим, — и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам, — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр

признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!..

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастая, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да иохранишь ли ты это, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей...

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что, казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; кото-

рый видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли выючные мулы и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями аканфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф, — сказал он. — Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время, — сдержанно сказал солдат, — сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат. — Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копье и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью. — Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола, — ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь, — ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших о такой опасной теме.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

\* \* \*

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он. — Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, потных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатоного его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которого несло дымом и оливками. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и тусем?!»

Он остановился, положил оружие на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что с нетерпеньем бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Боги позволяли ему вооружиться. Он привязал меч к поясу, а остальное оружие сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.

А здесь днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких

чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей в корытах лежала валяльная глина, и два раба, мерно раскачиваясь, месили ее ногами, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, а Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Опять — предзнаменование? Он быстро обогнул ее.

\* \* \*

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизу белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкой и гнилой воронки. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали неподвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он от-

чаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, выпускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидал россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи,

он уже подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и к Эолу в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидеть врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь, в эту долину веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

\* \* \*

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидал дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощины, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его

ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр. — Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь! Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь. — И он прорычал: — Р-р-рад! За хижинной колодец. Спустишь. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидал две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином; вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахнуло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу неся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козы шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?.. — спросил он хриплым басом. — Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?.. — с усилием спросил хозяин. — Р-рад! В Коринф!

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф. И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой ко-

зы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указав на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить.— И он захотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад! — пророкотал тот.— Р-рад. Пей. Р-рад! И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и — разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно,— ответил, широко улыбаясь, хозяин.— Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно,— ответил хозяин.— Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат.— Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня,— сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами.— Рад! Последний день.

— Слава Зевсу,— сказал привычным голосом солдат.— Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал отдельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино. — Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс, — настойчиво повторил хозяин. — Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем! — проговорил, заикаясь, солдат. — Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я, — ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты.

— Это я, Сизиф, — ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши. — Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Надругался. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И — сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои выводы.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,— нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни:— Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу,— сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю,— ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О боги! — воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том,

как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю,— ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем,— вскричал солдат,— я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

\* \* \*

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие водянисто-синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотках на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними случилось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он.— Мы переправились через Геллеспонт и, принеся на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут ходить люди.

И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф, — я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогачел Коринф. Отсюда и разбогачел царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа, — ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат. — И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!..— рычал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф; чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр, — военачальник, стоящий плечом о плечо с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — вскричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать...— рычал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф.— Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель...— И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе, по привычке сунув под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыв овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

\* \* \*

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полосу света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидел, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатиł камень.

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал ее невнятно, и солдат не расслышал ее, а если бы и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливоч металл. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой конечности кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сгруппировал ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, эх... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гэмер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

*19 сент<ября> 1944 года, Переделкино*

# **Сатирическая фантастика**



## ЧУДЕСНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ПОРТНОГО ФОКИНА

### 1

Город Павлодар и его окрестности,  
кроме мельниц

О городе Павлодаре я упоминал, наверное, тысячу раз. Мне не стыдно еще раз напомнить.

Там главное — пески, и не поймешь: на небе, на земле ли облака, и среди облаков (а они часто походят на деревянные домишки), среди облаков, государи мои, — тюрьма! Всю Расею-матушку, каторжную и бунтующую, прогнали через эту тюрьму на сибирские кровососные каторги.

Впрочем, портной Фокин о тюрьме не думал, да и какой веселый человек думает о тюрьме? Веселый человек не думает также о каменных домах, если даже и во всем его родном городе был один каменный дом, к тому же необычно названный тюрьмой, «банкой».

Портной Фокин сидел все время смирно. Был он сутул, как павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было на один бок, так что удивлялись наши павлодарские комиссары: «И откуда у него такая достоверность в игле?!»

И вот накануне вербного воскресенья сидит Фокин, Иван Петрович, у себя на верстаке, хозяйка квартир-ная вербы ему принесла, рыбой праздничной пахнет, а на верстаке и на стульях френчи накроены, невероятное количество френчей. Со всего уезда, а может, со всего Семипалатинского округа заказывали Фокину френчи.

Смотрит Фокин на френчи эти и говорит хозяйке:

— А как вы полагаете, Гликерия Егоровна, долго мне придется шить френчи?

— А френчи вам, Иван Петрович, я полагаю, шить долго придется, так как война не окончилась.

— Как так, Гликерия Егоровна, война не окончилась? Чай, завтра вербное воскресенье двадцать третьего года, а последними-то кто с нами воевал? Поляки,— это в котором году было? Вон попу, рассказывают, какой-то племянник из столицы коробку папиросную прислал, и можно различить на ней гражданские моды...

— Так ведь это картинки, Иван Петрович, а вам-то все заказывают френчи. Кабы война закончилась, зачем бы им заказывать френчи?

Оглянулся Фокин, и точно: вся комната френчами заросла, даже будто дышать трудно.

— А если,— говорит Фокин,— если я, Гликерия Егоровна, френчи шить откажусь?

— Через почему вы это откажетесь, Иван Петрович?

— А через потому, что не хочу я воевать больше, Гликерия Егоровна, через потому, что хочу шить гражданские фасоны.

— Как же, Иван Петрович, воевать вам, когда вы навсегда освобождены по физическим билетам. Шейте с богом, и пускай другие в ваших работах воюют.

— Откажусь я от себя, Гликерия Егоровна, я упорный ведь.

— Насчет упорства не спорю, Иван Петрович, так как за квартиру вы платите аккуратно, а вот как бы вам заказы свои не потерять!

— И потеряю, мне ничего не жалко!

Вскочил Фокин, волос его пестрый, руки его на три пальца одна короче другой, собрал в охапку все френчи, но тут выкатилась со страху из комнаты Гликерия Егоровна, а через пять минут или того меньше знала вся Проломная улица, что пожег непонятный Фокин все френчи даже из лучших материалов.

К вечеру стали собираться со всего города заказчики. На лавочке за воротами сидела Гликерия Егоровна в новом пестротканом платке и каждому в отдельности рассказывала, как портной Иван Петрович вдруг не захотел войны. И жалко, что ли, было заказчикам своего материала, и, боясь увидеть пепел его, не входили они в дом, или достовернейше хотели знать событие, только толпа все увеличивалась, и скоро, по щиколку увязая в песке, вся Проломная улица наполнилась заказчиками.

Даже те, которые пять лет назад променяли шитые Фокиным одежды, которые слабо помнили — у Фокина они заказывали или у кого другого, и такие, что, возможно, в другом городе встречали похожего портного. И когда лавиной опрокинули Гликерию Егоровну заказчики (песчаная эта лавина чрезвычайно пахла сапогами, крепко промазанными стерляжьим жиром), опрокинули калитку и перед входом стали было голосовать, кто больше всех пострадал и кому входить первому, весело распахнулась обитая войлоком дверь, и Фокин вышел с охапкой френчей.

— Граждане,— сказал он, наступая ногой на охапку френчей.— Граждане Проломной улицы, поднимите Гликерию Егоровну, она ни при чем, я во всем виноват, в чем и каюсь. Тут через тюрьму все граждане прошли, может, и Ленин прошел, которые создали ро-софесоре и мир народам. Вы же, граждане, продолжаете шить френчи, не переходите на мирное положение, втайне надеясь на войну! А я войны не хочу и вам, мирным людям, френчи шить не буду, я портной статский и жду от вас статских заказов... Возьмите свои материалы, которые даже скроены и начали пошиваться, мне ни ниток, ни работы своей не жалко!..

Первую неделю Фокин придумывал новые статские фасоны, во вторую зарисовывал, а на третью стал ждать заказчиков.

Лужи повыхсохли, показалась, как первый шов, робкая трава, поднялась выше, распустилась листочками. Гликерия Егоровна просила за квартиру, а заказчиков не было. Пришел вдруг кладбищенский поп и заказал подрясник, а через час вернулся и отобрал материал.

Фокин не спал ночь и только под утро увидал легкодремный сон, который всего страшнее: будто шьет он подрясники на кресты всего кладбища.

Утром спросил хозяйку:

— Не купите ли, Гликерия Егоровна, швейную мою машину фасона Зингер?

— А для чего ж вам продавать ее, Иван Петрович, я с квартирой могу подождать, а вы, может, передумаете.

— Отцы и деды мои видали многое, Гликерия Егоровна, даже одно время жили против теперешней тюрьмы, я человек упорный, я намереваюсь покинуть пределы моей жизни возможно дальше.

— Господь с вами, Иван Петрович, стоит ли обращать примету на кладбищенского попа, когда он пьяница и охальник!

— Не с попа я, а с желания мирного существования,— купите, так как уезжаю я за границу, в неизвестные дебри...

— Да что вы, китайцев не видали, Иван Петрович?

Промолчал Фокин, поглядела на его азартно вспотевший курносый кусочек тела и начала торговаться Гликерия Егоровна.

Устроил духом одним древнюю странничью котомку Фокин, положил туда иглы, кусок яичного мыла, вздохнул,— потому что ни с одним заказчиком проститься охоты не было, съел на дорогу яйцо и пестрые волосы свои крепко забрал под фуражку.

## 2

Фокин в дороге и его встреча  
с паном Матусевичем

А в вагоне, хотя и шел он медленно (был всегда страх Фокина перед коровами и медленностью), испугался вдруг чего-то Фокин. Разговоры идут о человеке, который скупал у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку.

Мутно стало Фокину — удостоверений нет, паспортишко какой-то завалящий,— спросил о костюмах. Похвалили всю московскую жизнь, а о костюмах ничего сказать не могут, точно ходят там голыми. Только встретил он портняжку на затхлой какой-то станции, в Сибирь тот ехал. Шьют, говорит тот, точно, шьют в Москве статское, однако мало и преимущественно кальсоны, даже поговорка есть — материи в окнах горы, а ходят голы.

В Сибирь еду постольку, поскольку слышал — там на статское много заказчиков, Сибирь — страна хлебная, и мужик там любит, чтоб под мышками не жало!

— Сдурел мужик,— ответил ему со злостью Фокин,— либо френч заказывает, либо на дому самостоя-

тельно шьет, а самостоятельно — черт его знает, что шьет, неизвестно, — может, противогазы...

— Я, — говорит портняжка с радостью, — я могу и френчи, и даже противогазы шить, так как френчи в Москве шьют сами военноученые портные в солдатах.

Огорчился Фокин, а тут за огорчением не заметил — московский вокзал, и суетня такая, точно вся Россия переселяется. Влезть в такую сумятицу страшно, сам себя потеряешь, притулился в своем вагоне Фокин. А если на границе такой же город, да у поляков встречный городище, с гонору построенный, втрое крупнее, — как тут перейдешь? И в огорчении замолчал Фокин и так молчал до Изяславля, что за городом Минском, на самой польской границе.

А к храбрости Фокина станция Изяславль самая обыденная, даже по российскому обычаю станционный колокол голуби обсидели, и только меж зеленооколых пограничников мельтешат мельчайшие людишки.

То есть сначала не поймешь — человек ли, тень ли, или просто телесное воспоминание. Очень неудобно от разговора с таким, — ходил-ходил Фокин, поправлял-поправлял сумку, а если странник сумку поправляет, значит, неладно, потому что сумка прилаживается навечно, — эх, думает, не обойтись мне без такого человечка. Только подумал, а он тут как тут: усы в кольцо, руки в кольцо, и только неестественнейшей прямоты и длины нос.

— Разрешите, — говорит скороговорным говором, — разрешите рекомендоваться — пан Казимир Матусевич.

— Здравствуйте, пан Матусевич, — только успел ответить Фокин и чувствует: вот он уже за станцией, у какого-то прокисшего заборчика, пан на него перегарами туманными дышит, шепот у него мельче дыханья:

— Без паспорта изволите через загражденья, мы можем рекомендовать первоклассного для пана переводчика!.. Из Сибири изволите, с Дальнего, золото в песке везут, а что ценнее — нефрит-камень, в европейских организациях большой спрос на этот камень, потому что в моде сейчас китайская физиономия Европы.

— А как же платье?

И понимает — не то надо у пана спросить, а что —

не может вспомнить, потому что шипит тот, как блин, и к тому же такой же круглый и ласковый.

— В платье нефрит не прячут, больше в котомочку, вроде вашей, скажем...

— На китайский фасон теперь платье шьют разве?

Засмеялся пан Матусевич контрабандным смешком, заподмигивал, завинтились кольцами ноги его, и вот уже вечер, вот уже ветлы выпрямились и зазвенели по-птичьи, и портной Фокин в такой ночи, что слов своих не поймет, не то что ноги увидеть. Идут они болотом каким-то, трава от страха словно на голове растет, и шепчет будто иглой Фокин:

— Эх, вернуться разве, пан?

Да, вернуться бы тебе лучше, Фокин, и много бы ты горечей и не увидал и не познал! Сидел бы ты у себя на родине в Павлодаре и шил бы френчи комиссарам и всем честным советским гражданам, а то вот из-за тебя работай,— мне надо ехать на Кавказ, Воронскому надо лечиться, а он должен редактировать твой путь, и Лазарь Шмидт и Зозуля в «Прожекторе» должны следить за тобой, да что Лазарь Шмидт, когда сотни тысяч читателей «Прожектора» и сотни тысяч «Правды» заинтересуются твоим путешествием, и когда Госиздат захочет издать тебя в сотне тысяч экземпляров и заплатит мне не по пятьдесят рублей с листа, а больше,— что мне делать тогда с тобой, Фокин? Многого ведь ты не понимаешь, и за многое мне стыдно,— прости меня, просвещенный читатель «Правды»,— один из нас только портной, а другой только попутчик.

И пока с вами рассуждаем, читатель, и пока смеется Воронский, пан Казимир Матусевич шепчет портному:

— Теперь поздно, теперь одна надежда, пан,— вперед!..

И вот светает, вот ветлы опять кривые пахнут алыми мокрыми листьями, такие же ветлы, как у станции Изяславль, а пан Матусевич скидывает шапку и говорит:

— Цо есть Польша, а цо есть расчет з паном!

Поклонился ему также Фокин и ответил:

— Спасибо тебе, добрый человек, укажи ты мне прямо дорогу в Варшаву и вертайся с богом.

— Вернуться-то я вернусь, а як же заплатит мне пан, чи нефритом, чи золотым песком?

— Нет у меня ни нефрита, ни золота,— все деньги на билет потратил, добрый пан Казимир, а только сейчас я уразумел: ведь надо бы еще на Изяславле объяснить тебе, зачем я поехал!

А пан хотел не объяснений причин, а денег.

— Может, пан Фока какой ни на есть организации, которых в России не водится, а в Польше, может, пан Фока даст небольшую цидульку туда, чтоб уплатили?

Обиделся Фокин, когда узнал, какие большие деньги требуются пану.

— А тебе разве правда не дороже, я всю землю теперь обойду, а найду такую страну, чтоб было там статское платье и почет статским портным, а если тебе не дороже, веди меня обиженно назад, потому что заболело мое сердце без нужды.

С визгом каким-то расставил ноги пан Матусевич, забранился так, что стыдно автору,— не в состоянии он напечатать такую великолепнейшую брань,— кулаком залез в шею, а пальцы вдруг очутились в портновской сумке.

Завертелись они на шоссе, пан хочет все в скулу, а портной под ребро, и такое жилистое ребро у пана, никак не может попасть туда портной.

Здесь бежит из-за пригорка жандарм — совсем как царский, только будто за это время еще больше отжирил, сукнами оброс до невозможного блеска, усы золотые с пепельной сединой, и над усом розовая бородавка. И не бежит, а как поп венчанье совершает,— уже так он уверен, что никто от него не уйдет. За ним другой, почернее.

— Цо ест,— кричат,— настоящи контрабандисты... злото делят!..

Здесь-то и высказалось мельтешенье пана Матусевича, был вот — а вдруг и нету, только кусты шевелятся, да и то, возможно, от ветру. А тощий да маленький остался на шоссе; черта ли в нем — они его всегда догонят, думают жандармы, главное тут — мешок!

И, не дотрагиваясь до веревочки, нюхом узнали — пустой, и опрятно, точно не людей берут, а колбасу, наиопрятнейшие пальцы протянулись к воротнику Фокина.

А у того по телу какая-то необыкновенная муть; тот как-то изловчается, золотоусому стоптанным каблуком под сердце, ёкает тот и оседает на пол. Прыгает

Фокин, изумленнейше тыкается его кулак в черный на- помаженный висок, и валятся двое больше от страху. В аксельбантах путаются револьверы.

Уткнулись усами в шоссе и выговорить не могут:

— Як то случилось, что выпустили самого великого контрабандиста!

Эх, и легка же земля польская!

Легче птицы порхает портной Фокин по лугу, по ку- стам, по каким-то огородам, и стесняются лаять на та- кое чучело опрятные польские собаки, а на шоссе си- дят двое, записывают в бумажку приметы, и приметы у них все необыкновенные, даже самым неловко, что в такое короткое время и таким конфузом нашли столь- ко примет.

Велика только трудность объяснить свою необык- новенность, а дальше все достанется легко.

Будто скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а вот быстрее сказки пришел портной Фокин в Варшаву.

### 3

Разговор Фокина у дворца гетмана Дениско в Варшаве, также и лебединый сон ксендза Винда

Вот дворец такой, что зашить его в футляр и только на восход вынимать, пока все спят, посмотреть бы и опять уснуть: лучше сна дворец. Сто- ит у решетки ледащий мальчонка и торгует конфетка- ми, будто смерть, а не конфеты продает.

— Как мне пройти,— спрашивает Фокин,— к порт- ным всех фасонов?

И хоть по-русски запрещается говорить, и потому показывают больше пальцами, а мальчонка был тор- говец,— оттого, что ли, ответил он по-русски.

— Ступайте вы, дядько, прямо аж на улицу Ново- Липки, и на тех Ново-Липках от портных дышать не- возможно.

— Так,— сказал Фокин,— а для чего же здесь дво- рец этот построен? Не для того ли, чтоб носить в нем гражданские фасоны, и кто в нем живет?

— А живет в нем,— ответил опять-таки мальчон- ка,— царь украинский и гетман Дениско.

— Ишь, сукин сын, и почему ж он так далеко от царства своего живет?

— А потому, что из своего царства его выгнали.

— А отчего ж он тогда царь?

— А оттого, что в Варшаве много дворцов, и кому в них жить, как не царям... А гражданских фасонов они не носят, им стыдно...

Подивился на умного мальчонку портной и пошел на улицу Ново-Липки.

А на улице Ново-Липки нашелся ему квартирный хозяин по прозванию Моисей Абрамыч, чрезвычайно любивший голубей — больше своих жил, — и любил он голубей не оттого, что был неимоверно толст и все свои доходы тратил на крепчайшие стулья и была у него мечта завести железный стул, а потому, что на всем его варшавском хозяйстве было это единственное чистое пятно. И, любуясь весной на своих голубей, не обращал глаз Моисей Абрамыч на грязь своего двора, а была она такая, что жирные его детишки всё порывались плыть по ней на досках, но не осуществляли такое плаванье по причине своей тяжести.

Стоит Фокин во дворе, любитесь, и подходят к нему четверо портных, у всех одинаковые бороды и пиджаки такие, только в грязь ползти.

— Ну, как живется-то? — спросил Фокин.

Переглазились портные, бог весть что подумали, и так — не говорят, и только долго спустя сказал один:

— Живется, что ж, пан Фока, — живется ничего. Упрекают у нас все, пан, что жида правят в России, перекрестили бы вы их, а то очень дюже тяжко.

Оглядел легонько пол Фокин и, словно мечтая, сдунул с него вековую пыль, вздохнул:

— У нас вера отменена, у нас однообразно, только непонятно, почему не хотят шить гражданских фасонов. Расскажите, какие у вас тут фасоны гражданские шьют и много ли?

— Ой, шьют, пан, и много шьют, за последнее время блузы черные стали шить, и пуговицы на тех блузах так...

И двумя пальцами изобразил варшавский портной:

— И удивительное, пан, дело, как наденет блузу, так лезет драться до рабочего классу. А что пан думает шить — смокинге, или фраку, или еще что?

И с гордостью ответил Фокин:

— А я все могу, даже пальмерстону!

Опять по-чудному переглянулись портняжки — бороденки, точно спички, такие убогие и так одна на дру-

гую походят,— переглянулись и, бороды в одну склеивая, сказали:

— Не тот, панове, не тот!..

И тотчас же разошлись поодиночке.

Веселый вернулся Фокин в номеришко, да и какой номеришко, единственное, что там и было на дверях,— номер, а все остальное измызгано, как старая подошва. Весь клопами пропах, даже мыло клопами пахло.

Думает весело Фокин: «Теперь главное — паспортишко какой ни на есть достать, и работать можно». Выглянул на радостях в окно, на двор тощий, как вздох,— ксендз лупит суковатой палкой работника Андрея, дышит ксендз, точно щепы из горла кидает,— а хозяин стоит в отдалении и глядит с сожалением — не то оттого, что сам не может побить, не то — работника жалко.

«Вот поповская пропадь»,— подумал со злостью Фокин и хотел было вступиться, вспомнил: где пробежишь, живешь во втором этаже, паспортишка нет, да и не в России он. Здесь за ксендза кишки развешат.

Пока он так думал, ушел ксендз, работник под навесом чинил сбрую, грохотал вдалеке поезд, и вообще Варшава была опрятна, как носовой платок попадьи, и тут-то вспомнил Фокин поля песчаные, Гликерию Егоровну, широкую, как пески, и как утречком приносила она ему крынку снятого молока, да такого, что лучше сметаны!

Мужики, пожалуй, сев окончили и занимаются домашними делами, разговаривая о сенокосе.

А сумерки здесь такие же, и так же хрипло орет петух.

Но тут постучали в дверь, и входит работник, которого так усердно бил ксендз и который так усердно подставлял спину.

— А пан не спит?..

— Еще рано,— ответил портной,— на новом месте, как в новом галстухе. Садитесь, пан работник, и расскажите, за что вас так охально бил пан поп...

Сел работник, руками колени охватил, словно душу свою охватил, и говорит:

— А бьет меня ксендз Винд за то, что невзначай испортил я ему однажды лебединое дело. Теперь жениться мне надо, а он родителям невесты говорит, что

я большевик, и кому же охота, судите сами, пан, кому же охота за мертвого отдавать дочку?

— Да какой же вы, пан Андрей, мертвый, когда вы быку горло перекусите легче, чем я нитку?

Потрогал его за рукав пан Андрей, точно показывая, что не был он мертвым, и была его рука горячее угля.

— А так, что всех большевиков и коммунистов кончают тут незамедлительно, и через это ждет Моисей Абрамыч, мой хозяин, ждет моей смерти и не платит мне жалованья,— родным, говорит, твоим заплачу, а родные, перепугавшись моей большевицкой смерти, возьмут и не приедут, и останется у него, пан, мое жалованье!.. И к радости скажи моей, пан, скоро русские на Варшаву пойдут?

— Неизвестно мне это, пан работник.

— А как же неизвестно, разве пана прислали не за шпионством?

Мирный же нрав у Фокина, даже подскочил на кровати от таких мыслей:

— Да что же мне каждому объяснять, зачем я пришел, я и без шпионства узнаю, как шьют гражданские фасоны.

— И выходит, быть вам, пан, мертвым напрасно, а зря мертвым быть жалко, пан. Окончательно не знаете, когда пойдут?

— Ха, да зачем мне знать, пан работник, когда пойдут на Варшаву, и зачем создаете вы мне смертельные мысли?

Но тут запридвигался к нему пан работник Андрей, зарасстегивал пиджак, а пиджак у него до колен, и сейчас только заметил Фокин — сюртук это.

— А может, это знает пан?

И вытянул кусок синей материи.

Как рыба на горох, глядел на него Фокин.

— Тут, пан, на костюме, собственно на рубаху, пан. Скройте мне по своему ремеслу такую рубаху, пан, такую рубаху, которую носят большевики.

— Комиссары?

— Та не, можно и поменьше, а як хватит у пана смелости, то и на комиссара меня.

— Скажу тебе, носят у нас комиссары френчи.

— Какие?

Не хотелось Фокину обидеть доброго парня, объяс-

нил, хотя и приврал немного,— внизу большущие карманы, такие большие, что во всю полу,— эти карманы для мандатов.

— Буржуев резать?

А вверху — два маленьких, один для партийной книжки, а другой для профессиональной.

— И делай же мне скорее, чтоб не зря умирать,— в большом запале сказал пан Андрей,— делай, пан портной, быстро, не буду тебе мешать.

И вышел.

«Ну,— подумал Фокин,— не успел приехать, как уже и френчи шить приходится».

Вот кроит, вот шьет портной,— и быстрее машинки бежит из рук его игла. Тут рукав, там пола выскакивает, и надивиться не успеешь.

Только слышит — в соседнем номере за дощатой перегородкой кто-то тяжело дышит, точно щепы кидает,— по сухим таким вздохам сразу можно узнать ксендза Винда. Стучит о стол деревянными локтями и спрашивает коридорного:

— Скоро, говоришь, придет она?

— Так скоро, пан добродже, так скорехонько, что и ответить нельзя.

Шьет портной, и мысли всякие веселые в голову: вот и женщины к ним хорошие идут, и добрых людей они бьют, а нам от женщин какие лоскутки остаются, и за битье хотя бы и жандармов — в тюрьму садят. Какая такая справедливая выкройка!

Час сидит и шьет, два сидит и шьет, и самому удивительно — как это быстро, словно мысли, создается одежда.

А ксендз все щепками в горле играет и ждет.

«Эх, шить легче, чем ждать», — думает портной.

Отворяет дверь работник.

— Примерить не надо ли, пан портной?

— Да что примерять, когда почти готово,— говорит Фокин,— одни пуговицы. Носи на счастье.

Надевает тому на плечи, и вдруг работник, словно другой человек, выпрямился, грудь, как волна, поднялась, и в полной радости говорит:

— Пуговицы я сам пришью, а вас, пан Фокин, не забуду.

И оголтелейше выскочил. Фокин даже полюбоваться не успел.

Разделся затем портной, погасил лампу и подумал перед сном: «Хоть бы приходила скорей ко ксендзу паненка,— не кидался бы хоть щепами из глотки».

Но только царапают ему легонько в дверь, словно пыль соскребают, и есть в этом скребете какая-то нежность, или со сна так кажется. Открыл Фокин дверь.

Лампочка тусклая в коридоре, клопам такой бы свет, а не людям. Стоит человек в кожаной куртке работника Андрея, и поверх темно-бордовая шаль, и прямо в щель дверную лезет.

Шепчет по такому случаю Фокин:

— Эх, проходите же, пан работник, что вас так по ночам таскает...

А сам уже по-внутреннему понимает — не он.

Мелькнул кожаный, скинулся кожаный, и вот под руками и на руках у Фокина женщина, да такая, что по запаху (да и в темноте не стыдно мне быть банальным) — лебединая у ней шея, глаза с поволокой, и вся в такой пахучей широкой дрожи.

Бормочет она пагубными словами: «Пан милый, почему кашляете, я ж вам дала превосходные капли?»

От удивления не может Фокин сказать, что не он кашляет, а пан ксендз за перегородкой.

И к тому же будто в пене она, и русскому ли человеку понимать тут слова и спрашивать — почему?

Какие паршивые собачьи кровати со скрипом делают в Варшаве, будто качели! Кашляет кровать, словно пан ксендз за перегородкой!

Тем временем пан ксендз Винд, поправляя опрятнейший, как Варшава, воротничок и поглаживая, словно асфальтовую, лысину, рассказывал коридорному:

— Такой сон, пан коридорный, такой необыкновенный сон. Лежу я с панной, я не буду называть ее имени, лежу я у пруда на мураве, и как приласкаю однажды панну, так и плывет по пруду лебедь неизреченнейшей белизны, опять приласкаю — другой, и под утро покрылся весь пруд лебедями, даже воды не видно... Ведь не отпускает же наяву создатель такой способности человеку!..

Но недаром широко, по-степному, вздохнула панна.

— Ой, до чего ласковы вы сегодня, пан Винд!..

Все равно не понимает польского языка портной и помогает ей натянуть кожаную куртку работника; зажечь было лампу хотел, чтоб рассмотреть ее, а она, как волос меж рук,— и в дверь.

А из соседних дверей, уставший ждать, выходит тогда же ксендз Винд.

И вдруг, словно щепы посыпались из его рта, и рот огромный, как щепы, — такой рот ногой целовать нужно.

— Грешная панна Андроника, как вы смеее выходить из соседнего номера, когда вам надо быть в другом?!

Заплакала пышнорукая Андроника:

— Ой, пан Винд, пан Винд, то, значит, не вы были. Не видала ли я грешный сон в соседнем номере, куда меня ошибкой направил работник Андрей.

Помялся, помялся ксендз, заглянул в ее заплаканные очи, немного успокоился.

— Значит, там никого не было, и вы ошиблись, легкопамятная Андроника, вернемся с вашего разрешения в тот номер.

— Дурные сны снились мне там, пан Винд, не лучше ли пройти к вам?

Пробует ручку двери пан Винд.

А Фокин чувствует, вот словно вынули все кости, и там тесто.

Драться нет сил, запер на ключ дверь, распахнул окно и любуется небом. Впрочем, одна крыша виднелась над его головой, а он все-таки ухитрился найти там звезды.

Гнет медленно дверь ксендз, медленно, дабы не было скандала, и, словно дверь, трещит:

— Там есть вор и большевик!..

Коридор визжит: «Вот, вор», — и вдруг чувствует себя Фокин вором. «Что же я украл?» — думает он. Зажигает спичку.

Маленький огонек у спички, как душа у пана Пилсудского, а, однако, видно при нем — лежит на стуле часть дамского туалета, которую, по словам Пильняка, англичане рекламируют на облаках.

Думать в такой усталости трудно; хватает он свою сумку и прыгает в окно.

Дверь трещит, перегибается, падает; ксендз выгибается в окно, трещит, и летят на голову спускающемуся по водосточной трубе портному — стаканы, оловянные тарелки и даже чайник. Сумка у него соскользнула на голову, защищает, а только странные шипы издает она.

По трубе — а нет легче такого лета — падает Фокин

в бочку с водой и от великой свежести приобретает желание драться.

Из бочки его вытягивают толстые объятия харчевника, и голос, что толще его рук, гудит над бочкой:

— И зачем вам, пан русский, надо лезть в бочку, или мало у вас бочек в России, что вы приехали в Польшу?

А Фокин оглядывается вверх, на мелкоизгрызенные, словно молью, ступеньки лестницы,— и по ним вдруг несутся ксендз и панна Андроника. «Влип»,— думает портной, а они почему-то мимо, под арку, через ворота, и вот бричка грохочет где-то далеко по улице.

Бормочет ему работник Андрей:

— То я крикнул, что вона воровка, а пан Винд испугался, что донесут на него преосвященному, и утек...

Жильцы расспрашивают портного, как его воры ухитрились выбросить в окно и даже попасть им в бочку.

— Потому, что он мелкий,— говорит один хриплым сонным голосом, и все расходятся.

Пощупал Моисей Абрамыч в темноте портного и все-таки ничего не понял, а поэтому заинтересовался профессией Фокина.

— Портной,— сказал он; все еще почему-то стоя над бочкой,— а почему это вы в первый же день приезда попали в бочку и почему у вас воры, да и что, разве мало у вас за революцию пообносились, что вы в Польшу приехали? Может, вы по-простому объясните мне, зачем приходили к вам четверо очень плохих портных на улице Липки и очень любящих рассуждать о большевиках? Нас полиция и без того много беспокоит, пан; у меня с ней свои разговоры, но я не хочу из-за вас иметь своих разговоров. Не зайти ли вам ко мне и не попробовать ли пошить на моих бедных детей, или есть, лучше, у меня такой знакомый, который может дать вам работу и очень простую, нисколько не унижительную вашему знанию...

#### 4

Фокин действует в немецкой фильме

Легко неся свое тучное тело, ведет Фокина харчевник Моисей Абрамыч к своему знакомому.

Лавочка, приступочки,— и внизу, за толстыми сте-

нами, неизвестно для чего неимоверно толстыми,— семейство Станислава Перемышля, которое обладает такими толстыми стенами своего жира, что на Липках говорят: «Бог — и тот тоньше Перемышля».

Впрочем, не подумайте ничего скромного про самого пана Перемышля. Он совсем не походит на знаменитую крепость,— вся вина в его супруге и в сестрах ее. Сам Моисей Абрамыч мог быть гвоздем или, вернее, перстнем на одном из ее пальцев!

Так вот, ткнула она пальцем на Фокина и словно обмазала того жиром.

Сел Фокин и начал шить.

Стосковалась, что ли, рука его по игле, или спокойствие хотел он найти в работе, только скоро словно растопилось от удивления семейство Перемышля, а сама панна Ядвига даже встрясла откуда-то из себя изумленный смешок.

Кажется, штаны, самые верные польские штаны должны получиться вот из этого куска материи через день, а тут — смотришь — через полчаса, словно перестриг волосок,— совсем готовы штаны. Крепость их — топором не разрубить, и складка, будто тончайшая проволока вложена или острие бритвы.

Дивятся все, немеют на необыкновенного портного, а тут еще прибавляется чуда — прибегает дня через два работник Андрей и...

Эх, обождите,— забыл я вам описать работника Андрея. Я долго не задержу. Он белокур, бородку чешет в ладонь и очень любит помечтать о деревне, да и не о своей, а о русской. Там, верит он, давно коммунизм и все люди — братья. В городе много жуликов и попов, а в деревне всех попов давно перерезали. Стоило бы описать, как он проводит вечера и какие разговоры ведет с извозчиками, но об этом после.

Итак, как только умеют растроганнейше говорить поляки, начинает Андрей.

— Вы,— говорит,— спаситель мой, а также, не забуду, благодетель. Тетка меня вдруг признала, назначила своим наследником и на свадьбу прислала денег. Против такой тетки сам ксендз Винд ничего не поделает, да и нечего ему, собачьему сыну, поделывать, когда епископ узнал, что пойман он и избит мужем панны Андроники, и избит так, что у ксендза от страху на голове волосы выросли: Узнал про то епископ и вы-

гнал его с позором из костела. Брехняком оказался ксендз, и буду я скоро жениться, и дети мои будут думать о России и о русском портном, сшившем мне счастливую блузу.

— Суеверный опиум,— сказал Фокин, а блуза того уж на дворе,— и, неизвестно отчего, еще быстрее заработал портной.

Дотронется пальцем — пуговица, глазом моргнул — и шов идет, как пламя; мерку с заказчика чует еще на улице.

И вот, от слов ли брешливых или от необыкновенной радости Андрея, вдруг пошло по несчастной улице Ново-Липки, где профсоюз мешали с потреббиловкой, а коммунизм с винной монополией,— вдруг понесло, закрутило вихрем, и многие в этом вихре понимать дельное кое-что стали: пришел из России неизвестного имени портной, и как сошьет, так счастье на того, а на кого откажется,— лучше в Вислу.

Однако молчит все, потому что кто же о счастье просит,— но заказов и гордости у панны Перемышль больше, чем иголок на всех Ново-Липках.

И замечают еще одно — не заканчивает работы неимоверный портной. Начнет пару и к другой перескакивает, а заказчики не хотят, чтоб оканчивали подмастерья.

Так и ходят все около счастья, и все боятся поторопить.

Сидит он так как-то, оглядывает костюмы и все не может выбрать, который окончить, и еще-то хочется начать. Так страстный рыболов натычет в берег десятков удочек: и по всем-то клюет — и нельзя все сразу вытащить.

Звенят в прихожей шпоры и каблуки, как молотки.

— Здесь ли живет портной, который шьет очень счастливо?

«Их, арестовать пришли»,— думает Фокин и оглядывает: успеть разве платье какое-нибудь дошить! Вспомнил заказчиков, и ни один не улыбнулся перед его глазами.

— А ну их,—говорит,— к черту!

Шпоры же за перегородкой на гордые вопросы панны Ядвиги:

— Нам его надо не как военного, а как штатского.

Робко, словно в первый раз, отворяется дверь, и

гуськом — жандармы, которых он встретил на шоссе под Изяславлем, и пан ксендз Винд, и панна Андроника, и даже пан Матусевич.

Но так было велико желание иметь счастье, что промолчали все о ранних встречах, и одна панна Андроника с поперхом выговорила:

— Это и есть портной.

Но тут так тесно стало от гордости панны Перемысль, что Фокин на край верстака к стенке продвинулся и смотрит оторопело на всех.

Стоят жандармы и все хотят подумать, что это, может быть, и не он, а дабы показать — не зря пришли, а за счастьем, — рассказали они свои несчастья.

Судьбу панны Андроники мы отчасти знаем, и можно лишь добавить, что выгнал ее муж за измену с ксендзом Виндом, а так как последний раз она изменяла не с ксендзом, а с портным, то была она очень обижена на мужа. О ксендзе добавлять нечего, — а жандармы со страху тогда на шоссе так много описали примет и по этим приметам арестовывали даже честных патриотов, и в жандармерии поняли, какие это дураки и как проводят их контрабандисты, и, выгнав, грозили их посадить в тюрьму. Пан Казимир Матусевич, — столь были известны его приметы и столь много стражи стояло теперь на границе, что блохе бы не проскочить, — пан не мог попасть в Россию и к тому же на последней спекуляции в Варшаве жестоко пострадал последними деньгами.

— Как же мне с вами разделаться, добрые люди? — спросил Фокин.

— А сшейте вы нам, пан Фокин, по костюму!

— Почему не сшить, сшить я могу, покажите мне материю!

И вот подала панна Андроника ту парчовую материю, которую напоследки выторговала у мужа.

Ксендз Винд надел лучшую свою лиловую рясу, в которой последний раз подтверждал нежнейших паненок. Жандармы — превосходные свои мундиры, в которых делал им смотр сам пан Пилсудский. И, наконец, пан Матусевич — кусок синего сукна, под честное слово занятый у приятеля.

Оглядел их Фокин, и тут выдала свое раннее знакомство панна Андроника:

— И не зайти ли мне, пан портной, позже, — я очень

беспокоюсь за свою парчу, я сейчас чувствую себя усталой, и моя фигура ослабла.

Посмотрел Фокин на аршин, вспомнил бочку и сказал:

— Нет, пока примерки особой не требуется, заходите все скопом через три дня, у меня дело верное, я крою в точку.

В тот же вечер привел работник Андрей четырех своих приятелей и девицу.

— Вот,— говорит Андрей,— вот, отложи свои работы, добрый человек: эти несчастные только что вышли из тюрьмы, их надо одеть, я куплю тебе материи. Они за Россию сидели...

Слетел с верстака Фокин:

— Да что вы ко мне все с Россией пристаёте, я хочу мирного шитья, а вы с Россией!.. И материи мне вашей не надо!..

Мотнулся он в угол, схватил материю Матусевича, а дальше и жандармскую, и ксендза, и парчу панны Андроники, сплюнул так, что чуть угол не проломил, и сказал:

— На Иртыше,— небось, плоты ладят! Ну, становись в ряды: сейчас из этой материи шить буду.

И как примерил, так сразу забыл, чья материя. Шьет и свистит.

Самая красивая птица в Варшаве — воробей, потому что нет там иной живой птицы.

А свистеть воробьи не умеют, в этом их портновский недостаток.

Пришли на примерку пятеро приятелей Андрея, совсем уже готово — кое-где сборки разгладить, а сборки оттого, что на грубом русском сукне попортил слегка себе руку Фокин.

В это же время входят пять заказчиков — и жандармы, и ксендз, и панна, и Матусевич. Видят свои материи на четырех здоровеннейших детинах и спрашивают:

— Это что, манекены?

Обиделся Фокин:

— Сами вы манекены, да разве на манекенах так материя лежит? Ясно, на людей шью и безо всяких там манекенов, по-павлодарски, если угодно знать.

— Тогда они на нас велики будут.

— Кто?

— Костюмы.

— Какие?

— Что на этих господах.

— То не господа, а мои заказчики.

— А как же так, что у заказчиков наша материя?

— Тут мое дело,— ответил Фокин,— я портной и могу соответствовать свой вкус на лучшие фигуры даже и во вред заказчикам. Человек есть обшитое украшение природы.

Первой обиделась панна Андроника, и обиделась не за парчу, а за свою фигуру. Случилось так, что пальцы ее очутились в волосах тюремной девицы, а пальцы девицы у нее на шее, и случилось ей закричать.

Тогда за панну Андронику вступился седуусый с розовой бородавкой жандарм: он попросту опустил свой кулак вблизи уха одного из парней. Вскоре дальнейшие разговоры перенесли в прихожую, и тут приняли участие швейные машины, швабры, легкая мебель, иголки втыкались в неподходящие места...

Очень странно иногда передвигаются вещи!

Я видел, как прилетают птицы весной и садятся первый раз на гнездовища, скажем — у озера. Это, конечно, плохое сравнение, но сейчас шесть часов утра, и я гашу лампочку в своей комнатке в «Круге», в комнатке, которую Бабель зовет предбанником. Хорошее сизое утро в моем окне, и я говорю: «Эх, весна ведь, Иван Петрович Фокин, весна и шесть часов утра, и много на свете замечательных людей, помимо нас с тобой». Ты же отвечаешь: «Катай дальше...»

...Но у людей со шпорами были свистки, и пока Андрей, сидя на одном из них, бил другого,— нижний свистел.

По приближающемуся топоту определили парни — надо бежать.

И по опрятным весенним улицам Варшавы, словно только что выпущенным из кондитерской, бежали опрятно одетые, даже прекрасно одетые молодые люди, женщина в парчовом платье и почему-то ксендз с окровавленной макушкой.

Люди останавливались и говорили:

— Наверное, немецкую фильму снимают, иначе кто же, кроме немцев, загримирует ксендза под ксендза Винда.

Парни волокут Фокина, топот сзади смолкает, и молочники не останавливаются и не глядят им вслед.

На перекрестке парни чистят костюмы, портной выдергивает нитки, которые называются «живульками», жмет им руки, и только они заворачивают за угол — уже слышны лобызанья и восклицанья. Они нашли радость.

Портной не интересуется знать, большая это радость или маленькая, он идет прочь из города.

У дворца гетмана Дениско стоит еще мальчуган с конфетками, Фокин бросает его ящик о панель и говорит:

— Пойдем со мной, я тебе штаны сошью, нельзя же в таких штанах ходить.

— Зачем мне ваши штаны, вот если бы вы были пан Око.

— А что?

— Нашелся из России такой портной — пан Око; так шьет: кому сошьет — тому и счастье. Я эту коробку, которую вы разбили, давно хотел грохнуть.

— Тебя как зовут-то?

— А зовут меня, пан, Оська.

Тем временем шли они мимо огородов, остановился портной прикурить и слышит: тоже говорят огородники о нужде и о чудесном портном, товарище Око.

— А куда мы, пан, направимся и как вас зовут? — спросил Оська.

— А пойдем мы, скорей всего, в Германию, так как понял я по многим причинам, не Польша это, а Польская губерния; я же хочу спокойных фасонов гражданского житья, и зовут меня, пан Оська, портным Фокиным.

— Очень рад, — наивежливейше ответил Оська, — я еще в предыдущий разговор у дворца подумал, что наверно-то вы и есть самый портной Око. Очень уж вы на жулика походите!

## 5

Глава в духе, соответствующем стране,  
в которой она обитает

Теперь, читатель, как я упоминал раньше, весна, — приятно ходить рука об руку, и вот дайте мне край вашего рукава, я буду прикасаться очень нежно, а возможно, и совсем не прикоснусь, — и мы с вами вслед за Фокиным пойдем по цветущим полям

Германии. Многие из нас не читали Версальского договора, и я тоже не читал, и портной Фокин не читал, так что изрядно будет и нам и ему в диковинку.

Не татары и не скифы гонят стада с тучнейших пастбищ, вбивают их в вагоны, и вагоны с воем (вой животных и вой железа) мчатся во Францию; день и ночь сыплется в мешки или просто в ящики пшеница и ячмень. Щупленький секретарь дает радио: ускорить репарации,— и умирают от голода дети, девушка ложится гнить в землю, и старинные смешные колокола в городках под острыми красными черепичными крышами успевают еще отбивать отходную, пока их не увезли.

Не умеем мы говорить жалобно, и в революцию научились проходить мимо многого!

Мимо бы надо проходить Фокину, мимо, но курносый и веселый портной (в сумке у него объемистая краюха хлеба) останавливается, и мы останавливаемся с ним, потому что ни я, ни читатель и ни портной не знаем немецкого языка, и один у нас переводчик — конопатый Оська, да и тот плохой переводчик. Уговоримся же все говорить по-русски и выкинем скверный обычай, введенный серапионами, имитировать речь областную и заграничную,— у нас и так много наречий, и надо события понимать в ясности, не останавливаясь на пустяках, вроде точно переданных разговоров или, хуже того, сентенций в стиле Чуковского.

Вот о портном Фокине идет слух!

Вы думаете — сами грузятся стада в вагоны и быки исполняют обязанности машинистов. Увы, этого еще пока нет: гонят их погонщики, один останавливается и говорит:

— Вместо быков-то — пушки бы, чтоб скатить их под Парижем и развалить в один чишек собачье гнездо. Сошьет мне такое платье Окофф?

Остальные погонщики и машинист, до странности похожий на быка, кивают ему сочувственно.

А в элеваторе! Нет, не могу рассказать этой истории, хотя, признаюсь, очень хочется. Закончилась она тем, что один рабочий со вздохом сказал:

— Для исполнения такого желанья даже Окофф не сошьет платья.

Сел незамедлительно в тюрьму.

Вот и бредет Фокин от села к селу, от города к городу, направляясь к самому Берлину.

Пока шагает — весело, остановится — тоска!

Однажды (хотя в Германии краны через пять шагов) захотелось ему напиться в доме. Или слава так балует, что приятно обращаться с просьбами к незнакомым людям. Стоит у дверей девушка, и спрашивает ее через Оську Фокин.

— Разрешите, — говорит, — гражданка, напиться — утолить жажду?..

Его чаще всего через Оську узнавали.

— Что же, можно, — отвечает та и подносит ему в кружке порцию молока, — только скажите вы мне, правда ли, что русский народ послов вроде вас по всей земле, и даже во Францию послал?

Спрашивает незамедлительно Фокин:

— А чем вы страдаете и что вам нужно?

— А страдаю тем, что если послали бы такого посла, как вы, во Францию, то лучше бы вам, герр Окофф, сюда не являться. Возможно так, что я вас убью или другая... Все наше молоко Франция выпивает.

Вздохнул привычным вздохом Фокин.

## 6

### История переводчика Оськи и его собак

«Жизнь моя, дяденька Фока, густая, будто каша.

Тятенька мой, Евграф Тимофеевич Зипа, был разбойник и браконьер: самых любимых зайцев у барина бил, а матушка у моего тятки, по причине службы, у барина любовницей была. Мне тятка в пьяном виде признавался.

По случаю такой игры попал я очень рано в подчиненные. Чтоб не стрелял я дичи и не имел несчастную тяткину судьбу, приходил каждый полдень и бил меня тятка, воспитывая хороший дух.

Я теперь очень точно могу время полдня определять.

Надоели мне его побои, и стал я смирнее перед баринном, по прозвищу Бороздо, и чудно так получалось, что чем больше я смирился, тем сильнее бил меня батя. Дальше по смирению вышла бы мне смерть, потому что с каждой нашей встречей кулак его прибавлялся еще на пять фунтов. Тогда, по случаю необыкновенной моей смирности, определил меня барин ухаживать за собаками.

Избил тогда меня смертно отец; еще был такой один побой — и не знать бы мне немецкого языка, но тут убухали его в тюрьму за расстрел любимого баринова зайца.

Били меня за людей, а чтоб хорошо к собакам относиться — такого уговора не было, однако очень я любил собак, и больше всего Фингала, примесь фаунд-лена с догом.

Зверь тебе ростом с корову, а смирный — только перед пасхой и лаял. Перед пасхой все постились, и его еще меньше, чем людей, кормили.

Так он все ждал и лаял как раз в самый момент пасхальной заутрени. Тявкнет, и в это же самое время колокол. Сбегались все на тявканье это смотреть и радостно говорили: «Скоро, значит, и скоту праздник».

Вырастил я его, и получилась большая любовь по прозвищу Фингал.

Тятка у меня, очень довольный, сидел в тюрьме, мамка спала часто с барином, бить меня было некому, и смиренность моя постепенно уходила. Барин Бороздо говорил мне — настоящий я собачник и что значит он мне совсем необыкновенное жалованье.

А я себя чувствовал очень хитрым и был сильно этим доволен: так же, как батя тюрьмой, — очень он себя не любил за разбойничество и браконьерство. Ему все церковным старостой хотелось быть.

Подарил мне барин Бороздо бархатные штаны и куртку с галунами и назвал «доезжачим».

Тут я от радости на долгое время забыл и полдень определять.

Стали меня кормить хорошо; в светлых комнатах начал появляться и хожу постоянно за барином. Впереди барин, собака Фингал, а позади я — тоже в ошейнике.

Полюбил мой барин Бороздо барыню, по прозвищу Марина. Цветы ей ношу, коробки разные, а она мне — гривенники.

Собачонка у ней постоянно под ногами таскалась, вся в курчавой растительности, зовут Аврелка. Собачонку ту целовала больше, чем барина.

Говорит мне барин Бороздо:

— Отнеси ей опять цветы, Оська.

А дело было перед пасхой; пес мой Фингал тоскует, жрать хочет, а я был очень почтительный к людям,

пса жалею, но не кормлю. Ноет тот, я ему и предложил:

— Пойдем со мной, Фингал, для развлечения.

Я иду с цветами, а у пса голова больше цветочной корзины, и гордости у него больше, чем у цветов.

Заходим в дом, прислуги нет, мы прямо в гостиную. Фингал хоть никогда в гостиной не был, однако идет спокойно и только слегка аппетитно нюхтит. Кричит мне барыня из спальни:

— Это ты, Оська, с цветами? Подожди немного, я оденусь и выйду.

А Фингал у меня привык: скажешь «куш», он ляжет и может до смерти залежаться. Я ему только хотел было сказать такое слово, чтоб он у порога успокоился, и он на меня так посмотрел соответственно, как вдруг откуда-то там из-под дивана, из-под тумбочек, с привизгом, с драньем горла, выскакивает гривенничная собачонка Аврелка и под морду Фингала — шасть!

А тот от визга, от лая ее аж перетрясся весь с испуга; никогда с ним в хозяйских покоях такой истории не происходило. Там муха помирает — и то слышно за пять комнат, и лакеи бегут.

Вздрогнул Фингал от испуга за две недели до пасхи, мати боска ченестоховска, раскрыл рот и только один раз:

«Аауу!..»

И так ухнул, что сильнее, чем на пасхе!

Покачнулась Аврелка, колеском так покрутилась разиков пять и от разрыва сердца издохла.

Барыня сначала била меня цветами, дальше корзиной, а в конце и рук своих не пожалела, — у меня сейчас под глазом след есть. Ладно, что теперь, да и тогда я на нее не сердился.

И барин Бороздо бил меня. Набившись до отказа, указал рукой на дверную ручку и говорит:

— Уходи к черту, пся кревь!

Тут мое счастье, дяденька Фока, и кончилось.

Барыня барины выгнала, а он меня, а мне кого выгонять? И стал я, несчастный, гнать слезы и ездить по фронтам. Теперь вот хожу все и ищу такую же гривенничную собачонку Аврелку. Найду, принесу барыне, и тогда опять буду я иметь бархатные штаны и серебряный галун по всему воротнику и, может, дальше.

В Галитчине меня казаки пороли, спустя немного поляки шкуру содрали, я на них рассердился и ушел к карманникам. Если не на что будет мне купить собачонку, так я украду. В Париже, говорят, собачонок много, пойдем, дяденька, в Париж. Я для такого дела не то что французский язык выдолблю,— я и все другие».

7

Фокин рассуждает и размышляет

— А если Бороздо-то разлюбил уже барыню? — спросил Фокин.

— Этого не может быть, он даже дога Фингала после такого случая убил.

— Тогда и дога тебе выращивать надо?

— Зачем же, дяденька, дога, когда будет барыня? Тогда если дог, то опять Аврелка сдохнет.

Шевельнул Фокин палкой костер, вздохнувши, посмотрел на искры:

— Вот и выходит опять-таки, Оська, бревном мне шелк шить. Зачем в тебе такое невероятное сотрясение предрассудков и почему ты мало в России жил? Возьми, в каких инстинктах воспитала тебя среда и другие дни... Как мне с тобой поступать, любимый ты мой сейчас человек, а как я по праву советского гражданина могу окончательно из тебя раба делать и шить тебе на счастье штаны и другие сооружения!

И от жалости, и от того, будто и в родных местах, а будто и нет, заговорил Фокин с неослабным пылом:

— Для чего тогда существует земля, если так чудно устроено человеческое счастье и не могу никак в меру отмерить своего российского счастья — тебе, Оська, и другим. На заводах в мое счастье не верят, и не на что им шить новое платье. Да и какие пути портному на заводы, идут там кругом человека машины. Видно, не того человека послали из Павлодара, а кого бы можно послать вместо меня — неизвестно, будто и в самом деле некого послать... Добрые люди и товарищи немецкой земли! Говорю я вам по совести: живете неправильно, необходима разверстка на российский фасон; легче мне будет тогда шить вам счастливое платье... До чего, скажем, вот этого мальчонку изнах-

ратили,— смотреть совестно, какого он счастья хочет...  
Добрые люди и товарищи!..

— Wohltatug, gut das arme Volk, Genosse! — орал за ним во весь голос Оська.

Стоял он за костром, голосом в поле, и из слова в слово в тьму и полевые запахи яростно переводил речь русского посла.

Одежонка на нем тощая, а ночь свежа, прыгал он, словно подныривая под каждое слово. Искры ныряли в листья, и гукала какая-то свирепая птица.

А Фокин говорил уже про Интернационал, хотя и знал об нем только то, что в песне. Русские песни теперь обстоятельные,— по ним многое объяснить можно, и очень многое объяснил Фокин.

В горле пересыхало, и только хотел он коснуться Красной Армии и военных фасонов, объясняя кое-что и самому непонятное,— завизжало, заулюлюкало в кустах. Ойкнул Оська:

— Втикаем, дяденька Фока, аж до самого дому втикаем!

— Да что ты, Оська, мало ли какой зверь орет по лесу!

— А есть это не зверь, а самый настоящий хозяин, дяденька Фока, и будет он нас бить за такие речи пять дней подряд или того больше! Я ж переводил-то как для рабочего-пролетария...

А Фокин от своей длинной речи пересмелел через меру, он азартно сплюнул в костер, так что зола зашипела.

— А вот и не пойду! Имею я право говорить в чистом поле для своей души и для своей храбрости. Переводи дальше!..

— Я-то переведу, дяденька Фока, только дай ты мне в кусты залезть,— тебе-то ведь слова, а мне чистые колотушки. Я тебе-то из кустов еще лучше буду переводить.

Но в кусты ему влезть-таки не удалось.

Из кустов мелькнули сначала палки, да эти палки и удалось лишь рассмотреть Фокину,— тотчас же Оська расшвырял костер, засвистел по-преисподнему всеми военными свистами.

Первую палку почувствовал Фокин где-то под ребром, вторую на затылке, а третьей не стал ждать. Мотнул он в чьи-то зубы кулаком, чья-то жирная шея

скользнула и завывала у локтя,— и вот бежит он полем, огромные собаки ловят и, визжа, никак не могут поймать его обтрепанных сапог.

Вот он один, а в поле кого-то бьют — Оську, должно быть,— и в канаве под изгородью, пахнувшей краской и навозом, вздохнул вслух Фокин.

— Их, ты, Оська, летяга!

— А я здесь, дяденька,— услышал он рядом с собой,— я вас здесь давно жду, долго вы гулять изволили. Пожалуй, пора нам и спать?

— Ну, как тебя, Оська, здорово били?

— Меня не побьешь, я так одного трахнул,— давно, наверное, в больнице, а другому глаз навывлет. Вот вас, должно быть, тронули слегка, вы ведь с детства к этому предприятию не привыкли?

— Да нет, все мимо они,— сказал Фокин тускло,— и что за привычка драться ни свет ни заря. Там они еще бьют?

— А уж теперь они бьют самих себя, так как темно и страшно; ихняя же профессия — фашисты. Здесь поля предводителя ихнего — миллиардера Тиниха, свиные охоты тут.

— Все-то у них есть.

— Свиной, дяденька, разводят тысячу, скажем, а потом в поле их пустят и автомобилями давят, кто меньше надавит, тот и проиграл, и плохой охотник. С утра у них тут свиная охота будет, может, посмотреть желаете?

— Посмотреть-то я посмотрю, а ты вот скажи мне, как у этой сволочи «ура» кричится.

— Es lebe der, дяденька.

Фокин вспрыгнул на забор, сложил коромыслом руки и закричал в поле:

— Es lebe der, сукины дети, es lebe der Ленин, der!..

Мальчонка Оська любил больше военное, так он грудь в колесо и тоже с забора:

— Auszeichret, herzlich!

Всюду в поле замелькали огоньки выстрелов. За каждым возгласом, словно эхо,— ружейный треск. И под конец сами они напугались, точно тоже стреляли. К тому же охрип Фокин.

А как охрип, так все понял, и стало скучно. Лег опять у канавы на траву, расстегнул пиджак.

И ночь стала известной — жаркой, такой, что задыханье свое от себя отложить нельзя.

Так промчавшиеся по дороге автомобили не входили в разум и страх, как и всадники, как и прожекторы, делившие небо.

Сообразно этому сказал Оська с восторгом:

— Ищут, сволочи, даже в небе ищут. Нас ведь, дяденька Фока, ищут.

Все эти старанья мало занимали Фокина. Смотрел он на лес, ждал, когда прожектор осветит фашистов. Немало обождав, спросил:

— А ты, Оська, часом, не слыхал, как они одеваются? Не в частную ли, отразилось в моей голове, одежду? Особенно самые охотящиеся на свиней.

— Совсем, дяденька, в частную.

— Манишка и петля на вольную нитку или, единодушно сомневаюсь, ворот наглухо?

— Категорически, дяденька, одеваются, как все торговцы.

Показалось Фокину, что не он вздохнул, а все звезды. Отвернулся даже от такой обиды.

— У мирвольников плутам житье... Дома-то, пожалуй, спят теперь все. Пойдем, Оська. Теперь, наоборот, как самого главного-то зовут?

— Зовут его, дяденька, Тиних.

— Был у нас будто при царице Елизавете такой, ну, может, и не родственник, все равно. Веди ты меня к нему, хочу я его несчастья посмотреть, и, может, найдется такой человек с миллиардами, что не надо будет ему моего шитья.

(Общие места в разговорах друзей я стараюсь упустать.) Ложась, Фокин сказал (и я не успел это вычеркнуть):

— Спать, как ни спи, а проснешься — опять ничего не понимаешь.

Продолжение 7-й главы, со включением счастья швейцара Ганса Брейма

Вот на самом деле Фокин у дворца Тиниха. За версту еще начинает подбираться земля, ровняться для одного человека, и, если судить по этому, — замечательный должен быть человек Тиних. Так, например, на фронтонах такие завитки, каких самая любимая женщина под самый первый поцелуй не завьет.

У тощего швейцара настолько же впавшие и подвижные глаза, насколько блестящи и пышны его одежды. И, главное, видно, страдает от тощи и длины, видно, ест он, стараясь растолстеть, что зубы у него стесаны, как у сорокалетней проститутки тело.

И все же на ступеньках он медленнее памятника.

— А не преувеличивая, скажешь ты мне,— спросил Фокин,— скоро твой барин выйдет и скоро ли я ему понадоблюсь?

Ответил швейцар с невозможной гордостью:

— Никто моему хозяину не нужен, он всем надобен.

Всем жаром своим пошел Фокин:

— По таким сведениям, счастлив твой хозяин, и не может он мной воспользоваться.

— Видно, дело, правда, расстроится,— проходите, господин, проходите.

Будто зайчики из глаз Фокина по стенам дворца пошли. Хотел было уйти спокойно, но решил напомнить счастливому о счастье,— веселей как-то самому становится.

— Хоть и тошно мне, гражданин швейцар Ганс, тошно мне слышать, что счастливы буржуи, однако я человек добрый и говорю — слава богу. А хозяину своему передай, что был, мол, тут портной Иван Петров Фокин из Павлодара, который бесплатно всем счастье доставляет, был, мол, и ушел обратно, довольный по своей профессии, потому что очень ему трудно живется, и согласен он даже на буржуе сердцем отдохнуть.

Здесь памятник на ступеньках покачнулся осторожненько.

Быстро, словно разрывая бумажную ленточку, развел руками и так же осторожненько спросил:

— Каким же образом вы подтвердите существование свое герром Фокиным и имеется ли у вас заграничный паспорт?

— Зачем мне заграничный паспорт, стоячая твоя душа? Ничего у меня нет, только Оська может тебе подтвердить,— брехней я никогда не занимался. Иду я по земле без паспорта, добротой человеческой.

Тогда пожаловался швейцар:

— Я, что же, плохой человек, разве я сомневаюсь? Не будет ли проще, герр Окофф, зайти ко мне выпить кофе и посмотреть на мою прекрасную дочь, которой я очень счастлив?

Привык Фокин сразу чувствовать то место, куда направлялись все людские желания. Потускнели у швейцара и побледнели глаза.

У постаментных людей возбужденница всегда крысиные.

Со скукой отошел Фокин и ответил решительно:

— Надоело мне ваше кофе, чаю кирпичного хочу.

Швейцар его за руку, швейцар ломает свой честный немецкий язык, чтоб скорее его понял русский.

— Герр Окофф, добрый герр Окофф, не лишайте меня места. Если узнает хозяин о нашей достопочтенной беседе и как реагировал я на это, немедленно же прогонит меня.

Фокин удивился.

— Да ведь он же счастлив.

Полетела с памятника вся кожура. Близко разглядишь — морщинистый, продымленный табаком нос, три дня не бритую губу и тощие остаточки зубов. Трудно разве узнать человеческую жизнь?

— Ну, не могу же я каждому оборванцу болтать, чем несчастлив мой хозяин. Он несчастливее всех людей на земле, герр Окофф, несчастнее любого турка: французы отбирают деньги, коммунисты — заводы и даже жизнь. Болезни такие, каких не продашь и не выкупишь. А также даже моя дочь выскальзывает изпод рук, и не по чему-нибудь другому, а по причине его слабости. Трудно ли соблазнить, но труднее всего стало после войны соблазн этот привести в исполнение. Не обижайте, герр Окофф, моих седин, загляните...

Отогнав швейцар Оську в сторону для размышления, выгодно ли здесь торговать папиросами, и также — часто ли будут отбирать здесь папиросы безденежные блестящие офицеры, как случилось это у двorca гетмана Дениско в Варшаве.

Вернувшись, ему пришлось переводить то же самое, что и до того:

— Загляните. Вы, конечно, странник, и некогда вам жениться на моей дочери, но со всем ее счастьем она будет ваша, сколько вы захелаете... У меня же мыслей не будет, так как вы будете мне вторым отцом.

Чудно стало Фокину, — дочери своей не жалеет, — и спросил он, какое же великое счастье нужно Гансу-аф-Брейму.

— Есть у меня акции в других обществах, с кото-

рыми конкурирует мой хозяин. Тиних, знаете, ничего не понимает, ему просто везет. Я хочу справедливости, я хочу, чтобы акции моих обществ поднялись, я их продаю, я перекидываюсь в более выгодные предприятия, я основываю трест,— у меня уже разработан план акционерного общества концессий в России,— и вместе с вашей родиной, герр Окофф, мы разоряем эксплуататора и злодея.

Лицо его совсем стерлось от жадности, ливрея сжалась и стала похожа на фрак. Он ссутулился, и даже шапка стала походить на цилиндр.

Посмотрел на него Фокин и лениво подумал:

«А что, разве, в самом деле, сшить ему сюртук и разорить свиного охотника?»

— И на свиней охотиться будете? — спросил он. Мотнулся тот восторженно:

— Герр Окофф, герр Окофф, только двадцать первый век, только прогресс и цивилизация позволили выдумать такое прекрасное и вполне безопасное развлечение. Я вношу дополнение, великое дополнение в эту охоту, герр Окофф. Я выращиваю йоркширов, таких, что автомобиль сможет только опрокинуть, но не раздавить. И вот, вы видите, автомобиль едет по ним, сшибает, изящный охотник наклоняется и метко стреляет в голову. «Ура, ура!» — кричат окружающие. Здесь двойное — умение шофера и глаз охотника. Такая великая мысль, герр Окофф.

— Великая-то великая, — ответил Фокин, — только не понимаю я вас, сволочей! Что же, ты на самом деле думаешь, что я на этом свете существую, — одного швейцара другим заменять?

Плюнул и пошел тихонько от дворца.

Ринулся было швейцар Ганс за ним, но у ворот зазвонило, — значит, Тиних выехал из гаража.

Открыл было ворота, затем опять захлопнул и, словно себя захлопывая, мотнулся перед Тинихом.

У каштана, на углу улицы, подле будки папиросника, интересующийся Оська, расспрашивая, задержался.

Думать Фокину все равно — стоя ли, на ходу ли.

Стоял он у дерева и ковырял легонько кору. Полицейский наблюдал осторожно за странным человеком — почему тот скребет кору ногтем. Во-первых, дерево портит, во-вторых — ногти. Подошел полицейский

ближе и по раскосым глазам догадался — русский. Отошел. Русские уже многому обучены и большого вреда не делают, разве что кору поковыряют.

А ни полицейский, ни Оська, ни, наконец, Фокин не заметили, как с невероятной быстротой промчался мимо них автомобиль и как сидели там рядом с вытаращенными глазами швейцар Ганс и миллиардер Тиних.

Оглядывались они невероятно быстро во все стороны. Автомобиль носился невероятными кругами, и вечерние газеты сообщили, что миллиардер Тиних пробовал автомобиль необыкновенной конструкции «сильных ощущений», и такой, что его и слугу подбрасывало из стороны в сторону с риском выкинуть совсем. А как сконструирован он внутри и в чем суть — неизвестно.

«Впрочем,— добавляли газеты,— всякие причуды бывают у людей».

А Фокин стоял в это время пред батраками, пред нищими, пред всякими опустошенными людьми, которые ничего не могли объяснить и которым никто бы не смог ничего объяснить.

Было это в каком-то подвале. Плесенью несло и от стен и от людей, хотя и одеты они были с возможной, давным-давно описанной, немецкой опрятностью.

Стоял Фокин на бочке.

Окраина как ржавый обруч на бочке, именуемой городом. Дома словно из мусора и грязи — того и гляди расползутся; воздух, как гнилая тряпка.

Весь мир шатается и скрипит, как бочка под ним, и весь мир несет перегаром спирта.

— Счастье я думал найти, братишки, товарищи, в штатских фасонах. Получается кругом кукиш или, по-сибирски, фига. Наблюдаю я, наблюдаю, и мутит меня от штатского платья, которое дошло вплоть до охоты на свиней, не говоря о худших мелочах. Что ж, посмотрю я, посмотрю да и...

Впрочем, мысли его о событиях этих отступили назад пред тоскливыми до слепоты глазами слушавших. От разговора его глаза не менялись и еще более ждуще тускнели. Мотнул головой Фокин, за шею схватившись рукой, начал быстро:

— Ребятишки, товарищи, вы на меня надейтесь, я, ребятишки, не выдам, я всем там скажу про вас,— так, мол, и так, видел, мол, все портной Фокин и решил:

ждать невозможно!.. Повырезать и вообще многих пустить голыми, пусть добывают сами себе фасоны. Я, может быть, самому Владимиру Ильичу скажу так, я всей Красной Армии и, может быть, за свинные их охоты, ЧК скажу. А сам я все-таки, братишки и товарищи, пойду дальше, и найдется же ведь мне, поди, случайно, какая-нибудь странишка, где можно в спокойствии шить гражданское платье. Как страна эта называется — может, и обитателям ее неизвестно, а вы, братишки, не унывайте и, вообще,— кройте. Пошил бы я вам, из жалости к вашим глазам, но какую одежду пошить — нет у меня, братишки, инструкций, а без инструкций мне, по советскому своему нраву, шить совестно...

Про страну и про инструкцию, в конце концов, Оська, будучи человеком положительным, пропустил при переводе. Батраки и нищие были довольны и, потрясая опрятным тряпьем, кричали:

— Es lebe der Ленин.

А шить-то им не из чего было и не на что, и только какой-то, самый опрятный и самый смелый, подошел и спросил:

— Не проще ли будет, der Bruder Окофф, сшить нам красное знамя?

Потер смущенно ухо Фокин, руку спрашивавшего отвел.

— Ну обождите, ради бога, я еще на знамя фасона не придумал.

Ответили столпившиеся около бочки:

— Мы подождем.

## 8

### От Нубелгайма до мельниц в Бельгии

Найдутся ведь такие люди, даже из братьев моих Серапионов (Каверин, например), — упрекнут-таки меня в отсутствии бытовых особенностей страны, в коей путешествует Фокин. Каюсь, мало их, и описаний природы тоже мало, но сильно-сильнешенько надоело мне это в России, чтоб тащить быт за Фокиным.

Дабы не обижаться на меня, возьмите, честный читатель, хороший учебник географии и найдите там Ну-

белгайм и все местечки, которые я буду перечислять ниже. Возможно, в учебнике, изданном Госиздатом, не найдется таких городов и местечек,— не отчаивайтесь, возьмите другого издателя, а если и там нет, поверьте мне на слово,— есть такие места, сам видел! Также прибавьте сюда — в меру своей фантазии — горя, нищеты, голода и драхму сытости,— из прежних моих книг возьмите немного красок и запахов, и мы расстанемся взаимно довольными.

А с Оськой в Нубелгайме случилось такое событие.

Отправился он в булочную за хлебом (тут вот вы бы потребовали в прежнее время описать булочную и хлеб, а я щелкнул пальцами беспечно и пошел вслед за Оськой).

Вдруг из-за угла автомобиль, обитый внутри розовым шелком, в автомобиле дама, обитая тоже шелком, но снаружи. И на коленях у ней собачонка.

Любите ли вы собак? Клянусь вам своим «кабинетом» в Петербурге, который я, кстати, мало посещаю, влюбился бы в нее, подобно Оське!

Глазенки красные, как моченая клюква, шерсть торчком, как осенняя трава, и нос — винтом.

Крякнул Оська, булки на асфальт выронил.

Дама впорхнула в магазин. Оська — в автомобиль и со всей своей прежней сноровкой уткнул собачонкины зубы в рукав (главное — зажать ей уши, тогда собаки почему-то перестают кусаться,— однако это не всегда и не всем удается). И, не подняв булки, помчался Оська со своим счастьем домой.

Заскочил Оська дорогой в общественную уборную, оглядел — такая ли собака. Такая в точности, и, если даже позвать: «Аврелка»,—хвостом машет и, главное, сейчас же, несмотря на неприличный запах, начала ластиться.

Спешит Оська, словно передала ему собака всю свою невыбеганную прыть. Квартал за кварталом, как волоски, дверь за дверью — не поймешь — одна сплошная дверь.

Нужно сказать, что затруднений за последнее время у Фокина встречалось как-то мало. К человеческому счастью стал он относиться несколько легкомысленно и вдруг ни с того ни с сего поделал по дороге некоторые пошивки. От легкости своей слегка поправился и будто посвежел.

Затруднения от такого посвежения пошли с другой стороны.

Стоит он во дворе домика приютившей их какой-то старушки, разговаривает с прислугой, девушкой. Девушка Паулина хорошо знала любовные дела и еще больше, к несчастью читателей (благодаря ей повесть походов Фокина растягивается), и еще лучше знала, где поговорить, а где помолчать,— стояла она перед ним и как будто для дела, как будто и касалась его вскользь.

Он же говорил руками или бровью, которая имела способность двигаться по всему его лицу, не избегая и губ.

Признаем, что господствующей чертой Фокина было стремление к покою. Ну, и как же тяжело достается, хотя бы, скажем, любовный покой.

Мнется Фокин, ерошится, говорит:

— Фокин... Око!.. Окофф... герр Окофф, леший вас дери.

А она обрадованно повторяла за ним:

— Фокинг. Е, spötter!

И опять непонятно, чему радовалась. И Фокин не мог решить, какого она счастья хочет: через него или просто от него.

Так он, малостью своего роста объясняя свое трепыханье и сверлѐж, чувствовал себя не Фокиным, а черт знает кем.

Солнце сушило луг, словно косить здесь должны были не траву, а прямо сено, крыши черепичные аж темнели от жары, коровы сытее неба, и девица наделена землей в изобилии всеми соками.

Да, тяжело подымать чужезычную землю.

Едва лишь Фокин понатужился приступить к любовным действиям от плеча или с пуговиц кофты,— из близлежащих кустов выскочили трое в черных блузах со значками, похожими на кусок изломанной тюремной решетки. Судя по их ромам, объяснение должно было следовать незаурядное.

Фокин, привыкший к вежливости, отдернул руку от девицы.

Но тут вдруг кулак одного из черных потянулся к его уху и не совсем удачно опустился у затылка. От второго, более увесистого кулака Фокин качнулся, от сотрясения во всем теле почувствовал боль под ложечкой.

— Да что вы, спятили, сукины дети! — крикнул он. — Я же Фокин!

Тогда один из черных закричал: «Веревку!» — девица оползла от страха на землю, и мельком только видел Фокин — в последний и в первый раз — некоторые результаты крепкого телесного ее воспитания.

Откуда-то бежали еще чернoblузники.

«Теперь мне влетит так влетит», — подумал Фокин, засучивая рукав (другой ему успели ободрать), и по излюбленной своей привычке заехал первому чернoblузу под нос. И тут же, только успев ободрать кому-то на животе платье, обнажить волосатую заросль, — упал, и показалось ему черным небо.

Девица, неизвестно почему, орала, чернoblузы дрались страшно, молча, гулко, — кулаками выговаривая по его телу:

— Окофф!.. оки!.. око!.. окофф!.. оки...

Тут-то и прибежал Оська с собачонкой.

С демонстративнейшим визгом и свистом, схватив за задние ноги собачонку, ворвался он в середину драки.

Оська кусался. Кусалась, закатив глазенки, собачонка. Фокин бил руками и ногами.

Обалдели на минуту чернoblузы и слегка выпустили Фокина.

— Втикаем, — закричал Оська истошно, — втикаем, то тюремные хвашисты.

Он сунул собачонку к оголившемуся брюху в обнаженно выдранные штаны чернoblузника. Собачонка вцепилась в волосатую кожу, девица Паулина заорала: «Бешеная!» — и чернoblузы полезли на заборы, лестницы, чердаки.

А портной с Оськой — по улице.

Из кабаков и кафе выходят люди, смотрят вслед бегущим, пожимают плечами и говорят:

— Какие странные спортсмены!..

На веранде пустующего кафе, мимо которого бегут двое, сидят человек с толстым носом и с тонкими седыми усами и человек с тонким носом, но без усов. На обоих гетры, клетчатые кепи и пальто из коверкота.

Рядом, третий в кафе, газетный фотограф, господин Морли. Он в резиновой куртке и с аппаратом, и скорее аппаратом своим быстро произносит:

— Клянусь, это — Фокин!

Морли упоен выдумкой, он щелкает бегущих, толпу зевак, кафе с двумя посетителями, улицу, мчащиеся мимо автомобили,— он еще бы щелкал, но вспоминает редакцию.

Так, через три часа в вечерке «Sveltühig» появляются первый портрет знаменитого советского агитатора, авантюриста и разбойника Ивана Окофф, иллюстрации и портреты русского князя Михайлова и жениха дочери Михайлова, шевалье Андре де Олесью, первые граждане, хладнокровно наблюдавшие погоню.

В кафе же толстоносый спекулянт из рязанских купцов Михайлов и владелец газеты Олесь продолжают пить кофе. Так же тонко, как его нос, Олесь говорит:

— Слышали, пробежал Фокин?

Толстоносый лениво:

— Полиция арестует.

— Вам легче.

— Мне вообще наплевать. Я теперь русским вопросом не интересуюсь.

— А я интересуюсь французским и, в частности, газетой своей. Немцы выдумали очередную штуку с пророками и христами, дабы не платить репараций и иллюстрировать дружбу с Россией. Это — только начало. Задача нашей прессы — борьба за национальные задачи.

— Так.

— Фокина надо прекратить, и на прекращении без полиции увеличить тираж газеты.

— Так бы давно, об тираже. А задача всегда останется задачей, милый.

Машина гудит, в автомобиле почему-то люди всегда выпрямляются, и Олесь оказывается вдруг на целую голову выше Михайлова.

Тот говорит лениво:

— Эк вас вымахало!

— На такой жизни вымахает.

Автомобиль на прямых знакомых дорогах, а Фокину и Оське надо дороги свои искать в переулочках, в садах, где фонтаны походят на выпрыгивающих из воды рыб и где все танцуют неустанно: деревья, люди, скамейки. Наконец машина и двое потных людей встречаются.

Толстоносый, в таком румянце, что приподнятая

шляпа тоже словно наполнена румянцем до краев, спрашивает наивежливейше:

— Не вы ли будете случайно герр Окофф?

Бежать дальше нет сил, и Фокин отвечает с достоинством:

— Бывает, что бываю я Оковым, по правде зовут меня Иван Петрович Фокин, павлодарский портной и гражданин, и вам спасибо, гражданин, за русскую речь. Умучили меня здесь, сукины дети, языком и, главное, не объясняют, почему я их бить должен.

Шляпы еще в воздухе, обильно пахнущем бензином. Усталый Оська просит у шофера попить.

— А не вы ли будете случайно начальником тех, что дерутся, или объясняющим все эти канители, а также как ваше имя-отчество, гражданин?

Михайлов говорит имя-отчество. Изморенно оперевшись об автомобиль, Фокин бессмысленно смотрит на Олеса, и тому почему-то неловко. «Разбойничья рожка», — думает он и еще больше выпрямляется, и похоже, выпрямится сейчас до небес.

— Папироски нет, Геннадий Семеныч? В драке все папироски растерял, вот до чего тут драчливые нации, — даже трудно объяснить. Сегодня во славу батюшки Ильича семь носов пришлось расквасить, благо носы тут крупные, особого вреда не произойдет для организмов населения. Вам как, Геннадий Семеныч, тоже всыпают, или вы предпочитаете по старости от них на автомобилях?

Оська подходит, тянется тоже за папироской, садится на крыло машины и кричит шоферу:

— Собачонку погубил из-за девки. У нас бы в таком деле просто: ливанула бы в шары кипятком, и кончено...

Михайлов опасливо шепчет Олесю: «Может, плюнуть нам на эту затею, разбойники ведь». Олесю тоже как-то не по себе, но он лезет в небо, — притом же здесь не Россия, и можно предупредить всегда полицию. Жизнь здесь — квадратики, из которых дети складывают картинки: как ни бейся, а ничего, кроме следующих картинок, не сложишь.

Оська же юрко шепчет Фокину: «Ушел только от тебя, ты и успел подраться, а я собаку захотел».

Тогда Михайлов крепко уминает шляпу на голове и говорит небрежно:

— Есть слухи, Иван Петрович, будто бродите вы по Германии, ища штатского мирского костюма, или, иначе говоря, тишины. Мы идем к тому же в штатский комитет.

— Да что ты, постой, что ты... есть такой-таки, а?

— Есть, Иван Петрович, есть.

Хотел было перекреститься тут Фокин на радости, но, сплевывая, сказал укоризненно Оське:

— А ты мне еще брякал,— не найдем мы случайно ни государства, ни мирного фасона. А здесь имеются целые комитеты. И машина комитетова тоже, Геннадий Семеныч?

Оглядел Оська машину, посмотрел на небо, подумал: «Если может портной шить счастье, почему же не сшить ему комитет и даже целое государство». Подумавши так, хлопнул одобрительно шофера по плечу.

— Штатский комитет всех стран поручил мне свезти вас на заседание и одновременно на бал и показать вам стремления народов земли к спокойствию, миру и штатской одежде. Ближайшее заседание будет в Париже через четыре дня.

— Так,— протяжнейше сказал Фокин,— а комитет вам, часом, не заявлял, когда он власть в наши руки передаст?

— Позвольте, Иван Петрович...

— Нет уж вы мне позвольте, Геннадий Семеныч, по порядку дня и постольку, поскольку мы являемся представителями Советского Союза, и когда за нами — да... Мы к этим делам насчет организации привыкли и завсегда непорядки видим, так как представители рабочих и крестьян. Скажем, первое слово, заседание, хорошо. А при чем тут бал и бессмысленное расходование народного имущества? Загогулина!

Он посмотрел с сожалением на смущенного Михайлова и сказал решительно:

— Едем! С балом разберемся на месте, возможно — манифестация под видом бала. Еду. Крой, Оська, горе сбрось-ка!

Тот влез на сиденье рядом с шофером, стукнул в стекло, свистнул, заглушая свист машины, и запел:

Собачка моя,  
Сучка-невеличка...

. . . . .  
. . . . .

...Из старых песен рассказать разве о мельницах, лениво шевелящих крыльями, как сытые птицы на сытых холмах Бельгии. Тихие города, благовест колоколов и благодать ладана в прямых, словно нащепленных церквах.

Забудем про это!

Мельницы там темные, огромные фабрики с отвратительным дымом, густой грязью перекрасившим небо. Грохот во дворах мельниц, словно мелют не зерно, а камни. В церквах служат попы, состоящие в фашистских орденах и после обедни идущие со свинчатками избивать рабочих. В Льеже, Генте, Намюре и прочих местах на неубранных полях сражений жирные буржуа сбывают свой жир в фокстроте и шимми. В Шарлеруа, в Люттихе и иных благословенных городах найдешь ты, читатель, остатки разбитых баррикад, и кое-кто расскажет тебе о красном знамени, подымавшемся и падавшем на ратушах.

Тихая земля моя, степи!

Тихий мой Фокин и смущенный Оська, почему вы в экспрессе, мчащемся на Париж, почему сонный слуга стелет вам туго накрахмаленные простыни, когда в сибирских павлодарских озерах — караси ищут клева?

Видно, не из старых песен делается теперь жизнь!

## 9

### Фокин на балу штатских в Париже

...Когда касаются холодных рук моих  
С небрежной смелостью красавиц городских  
Давно бестрепетные руки...

Хм, что ни говорите, а куда легче жилось писателю в старину! Я не завидую имениям или виллам,— нет, формальный метод приучил нас к другому. Вот попробуй опиши бал! Бал! Ах ты, какое дело! То ли работа изобразить монгольские степи или, скажем, Самарскую губернию? Пустил бы я там лишний раз ободранного мужика, суслика или, на худой конец, во все мои краски раскрашенную мышь. А тут — бал! Если по совету критика Правдухина, открывшего, что к такому способу прибегали Сейфуллина и Л. Толстой, показать видимое глазами героев... вполне возможно, а вот ведь тоже скучно.

Многое, милые мои, сейчас скучно делать, оттого что очень многое мы поняли.

Стоит Фокин за колонной. Проходят мимо в покро-ях самого разного фасона самые разнообразные люди. Трудно упомнить все земные фасоны, но понятно од-но — военных мундиров нет, но и от этого не легче портному.

Подводит к нему парижанин Михайлов девушку и говорит:

— Позвольте представить — дочь моя Вера, не-веста нашего спутника Олеся.

Платье на ней из парчи, туфли на золотых каблук-ках и высокая грудь, как мука, вдруг посыпавшаяся из мешка. По-другому, но с таким же сожалением и завистью смотришь на сыплющуюся муку.

И даже немного оторопев, словно мука была золо-тая, спросил ее Фокин:

— Давно ли сюда попали и как изволите жить, гражданка Вера?.. Любопытные места кругом, и народ тоже, больше занимающийся танцами, чем мыслями о скоропроходящей жизни!..

Видит — не то язык несет: ускакал черт знает куда, и остановить невозможно, надо бы ему о другом, да и та, видимо, о другом спросить хочет.

Оська же зашел за колонну покурить и перочин-ным ножом вырезать на ней: «Оська и Фокин» — чис-ло и месяц. Совсем смутно портному, будто мука по-рту.

— Почем же за платье берут и велика ли здесь безработица у портных, не говоря о музыкантах, кото-рые играют непрестанно танцы?

А у той зрачки — как иглы, и чувствует — шьет она другого Фокина, и нет этому спасения, другой сейчас Фокин будет. Сухим, как нитка, голосом спрашивает:

— Почему вы ушли с родины?

Обвел вокруг себя, указывая на толпу руками, Фо-кин и совсем неуверенно ответил:

— А из-за этого... штатское...

У Веры же брови метнулись, как из-под ног в лесу ночная птица. И вдруг так же строго отвернулась.

И, весь в поту, подумал Фокин: «Могила, а не девка».

На возвышении стол, вокруг него народы в своих народных костюмах гражданского фасона: греки,

итальянцы, испанцы, негры, англичане. Лица у всех — словно неустанно, всю жизнь танцевали этот фокстрот, который тянется бескончаемо, словно штука солдатского сукна.

Седой старик с бородой ниже земли звонит за столом в колоколец величиной с ведро и кричит по-русски:

— Го-оспода!

И чудно Фокину, и тревожно, почему же говорят все по-русски и хохочут при этом. Одна только Вера супится среди них, и одну ее не снимают бесчисленные фотоаппараты, и одной ее ради не вспыхивают огромные лампы, похожие на молнии.

— Господа,— кричит старик,— приехал из России честный человек, знаменитый русский портной, шивший все время на засильников в Кремле. Ему надоели военные замыслы большевиков, ему надоело издевательство над православной русской церковью. Господа, представители всех народов, покажите и докажите, что не дремлет в вас стремление раздавить засевших в Москве гадов, что вы полны стремлением переменить свою штатскую одежду...

Наклонился портной к Оське и спросил шепотом:

— А ведь молчат все, Оська, ведь, значит, мы двое с тобой не согласны с ним. Что он несет, а, что?

Пожал пренебрежительно плечами Оська:

— Просто брешет от старости; послушаем еще, я тебе потом это все по-французски переведу, смешнее. Тут ведь все сплошь русские.

Старик же, путаясь руками в бороде, кричал:

— Конец приходит извергам и кровопийцам, болтаться им всем скоро на столбах... Крест скоро взметнется над Кремлем, и собакам глодать выкинутые кости, которых ни один человек не согласится хоронить.

Шепчет совсем смятенно Фокин Оське:

— Парень, да ведь это — сплошь контрреволюция и позор... Тут ведь так влипнуть можно... Нет, брат, пойдем, Оська, от греха подальше: тут такой заговор, тут такая игра, что мне ни один комиссар не только что френча — подштанники не закажет.

Обалдело вильнул он за колонну, нырнул вниз по лестнице и рад был неслыханно коврам, на которых шаги — как иголка в тесте. Оська спешил за ним, в

утешение бормоча, что всех собачонок в Париже он собственной рукой перережет и что ничего ему не надо.

На углу лишь опомнился Фокин. Деревья бульвара в пыли, дождик серенький моросит, и нет нигде у фонаря Ваньки-извозца.

— Тут, брат Оська, почище уголовщины, и, главное, милицию не позовешь. Ну страна — разговоры какие допускает. Пойдем-ка поищем лучше портных в этом завалящем городе.

А рано, часов пять утра — не больше.

Улицы моют машинами, и людей в машинах не видно. К полицейскому подойти спросить про портных — опасно. Может быть, ищут их, потому что на бал-то ради них потратились, и, возможно, такие здесь обычаи, что должен сбежавший гость оплатить расходы по балу.

И вот идет мимо в промасленной куртке, по виду похожий на машиниста или кочегара с паровоза.

Подходит к нему Фокин и видит вдруг — под самым сердцем у него, от копоты совсем почти незаметная, припилена маленькая жестяная звездочка.

Твердо протянул ему Фокин руку и сказал:

— Братишка, умучили... очень тошно здесь, братишка!

Машинист пожал ему руку со всей охотой и спросил:

— А что, эмигрант?

— Фокин я, Иван Петрович Фокин.

Улыбнулся тот вежливейше, и, видимо, Фокин для него так же известен, как кедровые орешки.

— Если не эмигрант, то что у вас нового и почему вы здесь?

И с радости начал тут Фокин врать, и врал так, что самому стыдно до озноба стало, и оглядывался он очень часто. Оська переводил его речь с великой и ожесточенной охотой, что пятьдесят миллионов пролетариев, одетых в одежду, придуманную им, Фокиным, и вооруженных танками, пойдут скоро на Европу, разденут догола всех буржуев и заселят ими киргизские степи и что, в первую очередь, будет полякам, как самым легковверным брехунам, — трейле.

Лицо у машиниста было строгое, квадратное будто слегка, и слушал он так, словно знал все это давно (хотя и не имел обыкновения читать эмигрантских га-

зет, ибо врут они так же, как Фокин), но слушал все-таки не без удовольствия.

И под конец хлопнул его по плечу Фокин и сказал с восхищением:

— Ну, а вы как живете, туго?

— Туго,— ответил рабочий и ухмыльнулся.

Русские жалеть любят.

— И насчет одежонки, пожалуй, туго?

Промолчал машинист.

Шевельнул Фокин плечом и спросил:

— Газеты читаете?

— Читаем, товарищ.

— Так вот портреты Фокина видел?

И слегка удовлетворенно шевельнул грудь.

— Я все знаю, мне теперь все подземности известны. Я тебе... Есть у меня до тебя такое желание. Укажи ты мне, братишка, свою квартиру, и сошью я тебе новое платье.

— У меня достаточно платьев имеется. Разве у русских такой обычай, что ради гостя хозяин должен платье новое шить? Я тебя, дружище, лучше вином угощу.

— Вина мы потом выпьем, когда ты в новом платье будешь, и неизвестно, из чьих погребов ты тогда вином меня угостишь. А сейчас выбирай ты себе, парень, материю покрепче.

Рассмеялся машинист.

— Да не надо мне платья, милый друг, и нет у меня лишних на то денег.

— А ты знаешь, какие я платья-то шью?

Машинист шевельнулся подозрительно.

— У нас в газетах печатали, что при царях в Москве лучшие во всей Европе портные жили. Мне стыдно было подумать, что ты из таких портных, такому портному много найдется работы и в Бурбонском дворце...

— Я счастливое платье шью, как сошью — так человеку и счастье...

И вдруг самому стало непонятно тяжело объяснить такую простую и испытанную историю.

Тут рабочий взял его легонько за плечи, качнул его слегка и сказал:

— Мы люди взрослые, нам для чего такие сказки? Счастье, милый друг, в борьбе, и счастье мое в рабочей блузе, и больше никакой одежды мне не надо.

Оська был очень доволен и ответом, и тем, что перевел его портному совсем по-газетному. Поглядел было на того Фокин огорченно, но крепкое, словно из чугуна отлитое лицо и даже ноздри не колышутся, когда дышит.

Больше для своего спокойствия сказал:

— Чудно! И, думаю, притворяешься, парень. Однако наше дело предложить.

Позвал его было с собой рабочий, но не пошел Фокин. Уткнулся он сапогом в тумбу и думал. Оська же переводил на русский язык вывески, получалось по-глупому длинно, и он хохотал.

Но тут по бульвару пронесся автомобиль, затем вернулся, и толстоносый человек со всей вежливостью спросил найденного Фокина:

— Что ж вы, герр Окофф, покинули собрание и что могло вас так встревожить?

Молча сел Фокин в машину, молча кивнул головой на предложение Олеся — подписать под своим портретом, что не большевик он, что слухи, распускаемые немцами о нем, — ерунда и что ждет он не дождется возвращения штатской жизни в Москве.

Открывались банки и конторы, автомобили с блестящими верхами вытряхивали людей в цилиндрах, похожих на верхи автомобилей.

С гордостью рассказывал ему парижанин Михайлов, какими богатствами владеют эти банки, какие миллионы текут из Египта, Рура, Персии, Африки, какие миллионы черных войск готовы защищать черные крыши.

Одним глазом взглянул на это Фокин и спросил с тоской:

— А какой месяц теперь в России?

— Такой, какой здесь, — август.

— Погода другая, — ответил Фокин и опять замолчал.

А Оська видел — удручен портной и уничтожен; согласен был Оська на все, чтоб только утешить его, и ничего не придумал. Посмотрел на толстоногого Михайлова, как уверенно он увозит Фокина, и подумал: «Придется, видно, и для дяди Фоки собак разводить».

В кабинете (куда провел их Михайлов, умчавшийся за фотографом, дабы запечатлеть отречение Фоки-

на) сидел низко в кресле Фокин и не заметил даже, как вошла Вера.

И резко, точно отмыкая заржавленный замок, спросила она портного:

— Вы что тут делаете, вам не стыдно сидеть здесь?

Раскрыл уныло губы Фокин:

— Такая жизнь, голубь, такая косолапая наша жизнь!..

— Жизнь строится, а не с неба валится.

Фокин махнул рукой.

— Сегодня второй раз такое слышу!

— Почему ж вы не строите жизнь у себя в стране по-своему, зачем вы сюда приехали?

Надоели уже Фокину упреки, и ответил он с легким раздражением:

— А вы давно, барышня, из России?

— Я там не была десять лет.

Оглядел ее с легким недоумением Фокин.

— Так вы ступайте туда и попробуйте постройте! Вы думаете, жизнь строить, это пуговицы пришить?

Окна все в кабинете выходили на юг, метнулась было к ним Вера, но отошла. Глаза у ней вспыхнули, руки задрожали, Фокин поднялся за ее словами, хотя и пропахли они насквозь запахами газеты «Накануне».

— Домой хочу, портной, домой, на родину! К полям, к просторам, к серому небу,— меня тоска ест от злости, вокруг меня льющейся на мою родину, на Россию. Я не хочу второй родины, не хочу окон на юг и лощеного, как цилиндр, моря... Я — домой!

Оська вдруг подсвистнул, подпрыгнул.

— Крой их, стервь, эх, перевести бы это кому-нибудь, мамаша! Собачонок-то ихних еще, собачонок наплодили, суки!

Выровнялся как-то от возгласа Оськина Фокин, с легонькой смелостью взял Веру за руки.

— А ты, девчонка, плюнь, и по откровенному делу сейчас садимся в аппарат и по-ошли...

Оська же предпочитал страшное, так он, выглянув в окошко, предложил:

— Дяденька, через окошко лучше на полотенце спуститься...

— Я люблю в России ее буйное начало,— сказала Вера и как-то выпрямилась (по-видимому, кое-какие привычки от жениха она успела приобрести),— ты вы-

звал во мне все, что так давно таилось во мне, тоску и таинственность российских просторов...

Фокин не читал «Накануне» и потому ничего не понял, но сказал значительно и твердо:

— Совершенно верно, и насчет манаток буржуазных не беспокойся, проживем и без них...

— Что такое манатки?

— Манатки значит барахло.

Фотографы, думая, что так и нужно, сняли Фокина и Веру спускающимися по лестнице. Фотографии были попорчены гневным отцом, но и поломанные все-таки их вечером газеты напечатали с подробным объяснением относительно коммуниста и авантюриста Фокина, уворовавшего дочь князя Михайлова, русскую красавицу Веру.

Простите меня, друзья мои, читающие эту книгу!

Ее конец тривиален, как большинство теперешних книг, и нет ничего чудесного в возвращении Фокина, — и мне была бы такая тоска, такое одиночество написать по-иному.

Родные степи и холмы мои, Россия!

Мне ли, другому ли, но говорит, стыдясь, возлюбленная: «Не целуй и не люби мои большие груди, у тебя сердце и губы варвара».

Но в теплом лиловом ветре вечеров — не так ли женоподобны поля и холмы, прикрытые золотым колосом, и не сосцами ли кажутся там золотые костры странников?

Россия!

От женоподобной и широкой щедроты твоих полей скоро тысячи странников пойдут мимо хат, мимо городов. Их мозоли до твердости камня пропитаются твоей глубиной.

И я позавидую каждому и буду думать, что придет день, когда березовый колок распахнет предо мной пахучую березовую дорогу и конец моей палки будет шипеть по сухим стеблям трав. Палка залоснится от этого шипа и с другого конца от моих ладоней.

Или ничего такого не случится и ничего не нужно? Такая жизнь, Фокин, такая жизнь!

Почему ж ты молчишь?

Доказываю, что все же конец повести  
не в предыдущей главе

Возвращаясь, мельком на польских станциях видал Фокин старых знакомцев — пана Матусевича у самой русской границы, ксендза, собирающего подаяния, оборванных жандармов. Бегали они все вдоль поезда, в руках у них были газеты и журналы с изображением Фокина, — и в каждом разный был изображен Фокин. Но последняя польская газета печатала чей-то портрет с надписью: «Известный русский авантюрист, выдающий себя за Христа, портной Иван Око».

А самого Фокина никто из них не мог признать, и проходил он мимо них с легкой тоской. Хотелось ему спросить про панну Андронику, но так и не подошел, да едва ли бы кто из них ответил, спросить бы лучше об ней варшавские улицы, где не однажды валялась панна Андроника, избитая сутенерами.

Больше всего был доволен Оська. Каждоминутно вбегал он в купе к портному и, тыча в окно пальцем, вопил:

— Мы ж шли тут, пан Ока, тут...

— Шли, — не глядя в окно, отвечал Фокин.

Любовь, по крайней мере европейская, очень одинакова, — и только мы, писатели, из профессионального тщеславия разнообразно описываем ее.

Любовь, конечно, мешает воспоминаниям. Любовь, конечно, мешает спать, но ехать, имея любовь, можно великолепно.

Так и доехал Фокин до Минска.

Здесь почему-то и пришлось ему остановиться. Не то родные у жены оказались, не то понравилась Белорусская республика, — поселился Фокин на Преображенской улице, вывесил доску, изобильно размалеванную: «Принимает заказы штатский и военный портной из-за границы Иван Фокин», — и стал ждать заказов.

Жена быстро забыла лексикон «Накануне» и стала просто красивой женой, купившей к тому же керосинку в Металлотресте.

И заказы не замедлили.

Первым пришел томный, волоокий человек (фу-ты, господи, не умею я описывать красивых людей, и даже

банальным стать не страшно), спрашивает волооким голосом:

— Знаете ли вы парижские фасоны?

— Мне ли не знать парижских фасонов,— ответил Фокин, с удовольствием взял аршин и стал измерять волоокость.

Вера Геннадиевна тоже близ и кое в чем объясняет, и приятно Фокину, что, словно нарочно, запомнила жена парижские моды и даже может объяснения давать.

— Вот там,— говорит она,— нужно сделать поуже, а вообще для вашей шеи необходимо пустить широкий воротник, дабы оттенить полное благородство лица.

И вот стал ходить на примерку заказчик. Фамилия у него была Стрежебицкий, и уже на второй примерке стал он говорить с Верой Геннадиевной по-французски, и так, что приходилось убегать Оське, дабы, часом, не пришлось ему переводить таких разговоров.

А в конце заказа выяснилось, что платить-то платит заказчик по-честному, но вместе с костюмом парижского фасона берет с собой и жену портного, Веру Геннадиевну.

— Как же так? — спросил Фокин.— Зачем же мы приехали?

— Затем,— ответила Вера,— что ехала я сюда, думая видеть в тебе воплощение идеи русского, восставшего от векового гнета народа, а ты просто курносый портняжка.

Ничего не понял Фокин, но обиделся, и так как приобрел за границей достаточный запас гордости, то ответил с вполне отличным презрением:

— Тогда возьмите ее, гражданин Стрежебицкий, как остаток приклада.

Но не понял остроумия заказчик, оттого что приклад, согласно ряда, должен быть поставлен Фокиным.

Жена быстро ушла, захватив парижский свой чемоданчик. Поглядел Фокин в окно — дождь, слякоть, осень. Заборы шатаются и вообще мокрые, как тряпки. Сказал он грустно:

— Надо и тебе, Оська, уходить, так как кому ты теперь будешь ходить на базар, запалать керосинку и покупать молоко? Со всем этим делом я один справляюсь. Иди, если хочешь, за ней, она теперь женщина будет богатая и платья будет шить у других портных.

А Оська в слезах ответил:

— Хочу я, пан Ока, учиться у вас в подмастерья.

Обрадовался Фокин, но, виду не подавая, сказал строго:

— Будь оно неладно, это штатское платье... все-то мне кажется, шью будто ладно, а заказчику все в пахах и под мышками жмет. Буду учить тебя другому, а потому и позови-ка, Оська, художника.

И приказал живописцу на новой вывеске написать неимоверной величины френч, чтобы пуговицы там были каждая со сковородку и внизу синим: «Шью точно и аккуратно. И. П. Фокин».

На этом и продолжалась его жизнь.

Пробовал было по честолюбию своему пройти на выборах в управдомы, но на общем собрании, когда начали говорить о ремонте драной крыши, вспомнил Париж, тут как-то рассказал к слову о заговоре Штатского комитета, на что и возразил ему ехидно молодой монтер, сам метивший в управдомы:

— Несмотря на седьмой год пролетарской революции, есть еще у нас такие вруны.

Кандидатура его провалилась, и с той поры потерял Фокин охоту рассказывать о загранице.

Сидит, шьет,— все собирается поехать в Москву, дабы сравнить ее с Парижем, но не то заказов много, не то уж очень хорошую наливку выпустил Госспирт, назвав ее игриво «русской горькой».

Крепости в ней совершенно достаточно, как в Алексее Максимовиче (да простят мне российские литераторы плоский сей каламбур — очень я люблю Алексея Максимовича, и вот — себя не пожалел).

Итак, пьет он наливочку и все собирается найти иностранные газеты и справиться, где ходит теперь Фокин, потому что, ехавши домой, чувствовал он, что каждая страна приобрела себе своего Фокина.

— Купить бы нам с тобой, Оська, карту планеты. Однако большая земля, насколько я помню, дорого, пожалуй, карта стоит.

— Дорого, я думаю, дяденька.

Поглядит на него хитрым пьяным глазком Фокин и хитро спросит:

— А ведь ходит где-нибудь теперь Фокин, ходит, стерва, и смущает человеческие выкройки?

— Ходит,— отвечает со всем восхищением Оська.

— И мальчонка какой-нибудь, переводчик, с ним ходит, и зовут его, возможно, Оська?

— Зовут, дяденька.

А на рождество получил он вдруг из Сибири, из Павлодара, посылку — замороженного поросенка и письмо при нем от Гликерии Егоровны. Правда, отгрызли по дороге крысы уши поросенку, но ничего — на вкусе это не отразилось.

Пьет он настоячку и читает письмо:

«Когда вы вернетесь, Иван Петрович, стосковалась я по вашим просвещенным разговорам... Поп насчет подрясника справлялся несколько раз, и еще завелся у нас статский для вас заказчик, парикмахтер по маникюру, тот, что по воскресеньям на гулянье, на яр в белых штанах выходит и в шляпе, прозванной за безобразие цилиндрой».

Поросенок промерз до души, а такая закуска очень глубокодушно человека настраивает. Отложил письмо Фокин, подумал, подумал, посмотрел на свет рюмочку с наливкой.

Хороший, золотистый загар у наливочки.

Тогда, выпивши не спеша и не спеша закусив, дочитал: «...а я все прихварываю, и некому мне рубашку смертную сшить...»

— Нда-а...— сказал Фокин и налил еще рюмку.

Но здесь попросил позволения Оська сшить старухе рубаху и послать обменным подарком за поросенка.

Фокин, помедлив малость, согласился.

— Пошлем, однако она, старуха, нас переживет, значит, рубаху надо шить самую крепчайшую, чтоб не обидеть ее перед смертью, а то хватится, а рубаха-то сгнила и развалилась.

Разложив газетные листы Оська, делал выкройку смертной рубахи. Звякал он ножницами и насвистывал шимми. Многое об Европе Оська забыл, и только весь квартал и все папиросники Минска научились у него ходить нараскорячку и свистеть шимми.

Поглядел на него еще Фокин, потянулся, разминая в жилах наливочку, и, сплевывая, сказал в угол:

— Давно я что-то карасей не удил. Все республики в России одинаковы, и, значит, едем, Оська, в Павлодар.

— Едем,— ответил очень спокойно Оська,

---

## СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В ТЕПЛОМ ПЕРЕУЛКЕ

Четверо молодых ученых возвращались по Москве-реке с лыжной прогулки. Они поравнялись с Хамовниками. Ученые недавно покинули институт и готовились к практической работе, и отчасти поэтому мы лишены возможности передать их обычные споры о нынешней Москве, в которых с резкостью, почти всех пленяющей, выявлялись их характеры и стремления. Мало того, они свалились сегодня несколько раз в снежные сугробы, а самый младший из них даже расквасил себе нос.

Трудно не расквасить своих чувств! Им предстояло выбрать место работы. Они были в достаточной мере честолюбивы, что не мешало им пылко ценить свою страну, они внимали гласу общественности, который требовал от них не увеличения московских канцелярий, а изучения глубин республики. Они собирались вернуться в Москву с новыми силами, увеличенным знанием, чтобы поделиться всем этим с молодыми студентами. Мысленно они выбирали фасон бороды, кроме всего остального, что приносит ученая сила. Впрочем, сейчас им необходимо было выбрать место своей работы, но так как каждый из них имел редкую специальность и так как множество городов телеграммами и по телефону напоминало им о своих достоинствах, то они сегодня чуть не переломали свои лыжи, которые им служили исправно уже третью зиму. По горло в снегу, размахивая шапками и рукавицами, они спорили о преимуществах и недостатках северных и мандариновых, сибирских и ленкоранских, уральских и белорусских городов. Каждый владел большим списком разных городов.

Они устали необычно скоро. Василий Бадьин, старший не по возрасту, а по общительности и склонности популяризировать свои знания, предложил идти обратно.

Громадный город весь в желто-зеленой дымке вышел из-за поворота. Они шли медленно, тяжело дыша. Если пытаться объяснить их чувства, то они были похожи на то, что четверо друзей как бы хотели разглядеть за этой знакомой им дымкой очертания того города, который необходимо им выбрать. Когда они поравнялись с Теплым переулком, Бадьин сказал:

— Ну, я вижу, вы совсем валитесь.

— Что же ты предлагаешь?

— Я предлагаю зайти к Ване Пеняеву, вечерами он всегда дома. Парень он упорный, последовательный, идет твердо по своей программе. Полезно у него не только отдохнуть, но и поучиться взвешивать свои мысли.

Бадьин уважал свою аккуратность, а еще больше аккуратность других. Время свое он уже успел разложить по часам, хотя и забывал их часто заводить, но объяснял это тем, что еще мало приобрел привычек. Кроме своей геофизики, он вложил в часы будущих своих работ знание и других наук. На сбор коллекций, даже на охоту он отделил время, и хотя трудно было вместить в циферблат своих часов многие предположения, все же он собирался создать «всеобщую физику мира». Природу он любил не только как ученый, но и как художник. Он лихо рисовал пером и мог отхватить такую карикатуру на преподавателя, под которой стеснялся даже поставить свою подпись. Вечеринкам он предпочитал сутолоку съездов и мандат считал лучшим украшением своего кармана.

На углу Чудова и Теплого переулка стоит деревянный дом, обшитый тесом, коричневый и одноэтажный. В другое время они бы перекинулись несколькими словами о том, что даже этот переулок, забытый в перестройке города, несмотря на обильный снег, все же так испорчен машинами, что лыжи еле идут. За этим разговором они попытались скрыть свою усталость. Бадьин был рад удачному повороту, рад был отдохнуть у Вани Пеняева, где всегда можно встретить новых и свежих людей, которые не выбирают городов и склонны слушать популяризацию. Естественно, что

Бадьин торопился. Естественно, что он несколько торопливо связал те три слова, как бы вызвавшие чрезвычайно странное происшествие, правильно судить о которых я лишен возможности по причинам, кажущимся мне вполне резонными. Я изложу эти причины в конце нашего повествования, но пока скажу, что четыре молодых ученых обладают редкой добросовестностью, совершенно необходимой в их науке, выгоды от которой еще пока маловероятны.

Бадьин сказал эти три слова, не особенно веря в то, что они заставят приятелей его шагать быстрее. У ворот домика видна была женщина в широких серых валенках с желтой кошелкой в руках. Маленькая девочка с длинным зеленым шарфом через спину, касающимся почти земли, требовала от матери санки для катания. Мать нерешительно держала кошелку. Ей не хотелось возвращаться.

— Еще два шага, — сказал приятелям Бадьин.

Молодые ученые, повинувшись ему, но в то же время не ускоряя движений, склонили свои корпуса. Они шли ровно в одну линию все четверо: трое мужчин и одна девушка. Эти два шага они сделали словно по команде, — раз, два! — откинули корпуса и выпрямились. Затем они опять немножко наклонились вправо, чтобы свернуть и бойко подкатиться к домику, однако не задевая маленькой девочки и женщины, у которой желтая кошелка и чрезвычайно злое лицо.

Но ни девочки, ни женщины, ни домика перед ними не было. Легкий снег и ветер, о которых мы хотели упомянуть раньше, но не подыскали необходимого места, тем не менее, по-прежнему крутил возле их ног. Желтовато-зеленый свет сменился совсем иным. Этот фиолетовый свет, — к тому же какой-то маслянистый, — был им совсем незнаком. Впрочем, о свете они подумали, потому что об этом легче всего было думать. Они оглядели друг друга. Нет, они те же самые парни, на тех же самых лыжах, с бамбуковыми палками в руках, в спортивных костюмах из синей байки, добытых в одном и том же распределителе. У младшего, веснушчатого и рыжеватого, дымит в углу рта папироса, которую он закурил перед тем, как сделать эти странные два шага. Перед ними и позади их волнисты-

ми террасами в небо, почти фиолетовое, поднимался другой город. Этот город не имел тех углов, которые они привыкли видеть в Москве. И крыши домов, и окна, и колонны, и очертания темно-желтой площади, дежавшей перед ними, все это отчасти напоминало морской прибой, который как бы поднимает волны выше и выше, и свет в окнах, кружевной и мерцающий, походил на белые верхушки волн в большую бурю. С левой стороны, от синих бесконечных колонн, над которыми они, стремящиеся услышать язык этого города, увидели светлую надпись латинскими буквами, сообщавшую, что здесь «Сорок второй завод РРР», скользили прозрачные машины, отчасти похожие на московские автомобили.

Надо полагать, что люди возвращались с работы или с заседания, но поток казался бесконечным. Он все ширился и ширился. Рядом с вывеской мелькали какие-то цифры, которые как бы отмечали волны этих машин, выливающиеся из колонн. Затем на несколько секунд здание осветилось розовым светом. Волны машин еще более увеличились, и приятелям, которые хотели броситься к этому заводу, чтобы узнать, в чем же дело, сделалось как-то не по себе.

В каждой машине сидело по несколько человек с очень серьезными лицами. Должно быть, они решали какой-то важный вопрос, много разговаривали по секциям. Резко бросалось в глаза, что автомобили никем не управлялись, вернее, они не видели, кто бы сидел за рулем. Пассажиры сидели как попало, а машины сами поворачивались, останавливались, пересекали площадь, упирались в дома, спускали дверцу, выскикивал пассажир. Каждая машина шла на равном расстоянии друг от друга. Видимо, какой-то диспетчер сидел где-нибудь над площадью и наблюдал за всем ее движением. Сергей Петрович или какой-нибудь иной пассажир этого странного города заказывал движение своему автомобилю по такому-то маршруту с остановкой здесь-то, и автомобиль вез его и сам возвращался обратно.

Так пошутил веснушчатый молодой парень, который в шутке хотел несколько разрядить свое напряжение. Но было непонятно, для чего же эти автомобили прозрачны!

Здесь их заставил содрогнуться раздавшийся с фио-

летового неба голос, который прокричал с необычайной мощностью какую-то длинную фразу. Впрочем, длинной она показалась только спервоначала, с испуга. Когда они вслушались во второй раз в этот возглас, то они, во-первых, поняли, что это крик миллиона или свыше голосов, а во-вторых, что фраза была очень короткой. Они разобрали в ней одно слово «Эль-Готх!». Фраза повторилась несколько раз. Пешеходы, пересекавшие площадь, люди в прозрачных машинах, люди, выскочившие из длинного серого поезда, который вдруг влетел на середину площади по длинной и блестящей медной трубе,— все они на мгновение остановились, замахали руками и ответили, причем во фразе опять было слышно это слово «Эль-Готх», а требовали они, чтобы страдальцы Эль-Готха были выпущены.

Бадьин, который совсем было успокоился, что в стране не говорят по-русски, потому что хотя он и понимал вывески, напечатанные латинскими буквами, но относил это понимание больше к ошибке, чем к истине. Движение снова возобновилось, мелодичный женский голос тотчас же очень короткими фразами объяснил где-то совсем рядом, что жители Маршалльских островов, а также островов Тонга и Новой Каледонии требуют вместе со всеми, чтобы узники Эль-Готха были освобождены, так как жизнь их ни в какой степени не остановит движения за Советскую власть.

Этот возглас указал им, что они находятся в стране, где они могут разговаривать, о чем хотят. Но четыре молодых ученых испытывали смущение. Они не только не знали, что это за узники Эль-Готха, но и не знали самого Эль-Готха. Бадьин, отличавшийся памятью, сказал, впрочем не совсем уверенно, что это местность в Африке, но что в наши времена, кажется, она была чрезвычайно пустынна.

Их смутили эти слова «наши времена» не меньше, чем громовой возглас с фиолетового неба. Они почувствовали, что эти наши времена остались далеко позади, что предстоит много испытаний и горя. Они, несомненно, испытают уколы самолюбия, а может быть, даже насмешки над своими знаниями, тогда как там, в «наши времена», они обладали всеми передовыми знаниями. Впрочем, их несколько успокаивало то, что окружающие не обращали на них ни малейшего вни-

мания. Где-то неподалеку играла музыка, бежали мимо прозрачные машины. Станные мысли лезли в голову. Три человека, один из них с длинной белой бородой, встретились и нежно поцеловали друг друга. Молодые ученые переглянулись. Значит, поцелуи не считаются антигигиеничными?

Они сделали несколько медленных и осторожных шагов по черному тротуару, приближаясь к дому, низкому и чрезвычайно мягких очертаний, за которым открывалась громадная площадь. Влево от дома шел поворот к сорок второму заводу, а в середине площади возвышался памятник. Монгол опирался на прислоненное к стене красное знамя. Правую руку он сжимал в кулак. Снег мешал им рассмотреть эмблемы, окружавшие этого человека, но как они ни всматривались в его лицо, как ни вспоминали, они не могли найти среди знакомых им лиц этого странного лица с огромным лбом и мощными надбровными дугами. Памятник окружали горячие фонтаны, освещаемые снизу. Пар, поднимавшийся от этих фонтанов, таявший в пару снег придавали какие-то странные колебания этой эллипсоподобной площади, за которой разворачивался гигантский проспект, вдоль которого они видели множество памятников. Деревья, похожие на кипарисы, были покрыты снегом.

Бадьин вдруг прыгнул в сторону, наклонился. Он держал в руках мышь. Приятели не удивились. Бадьин был сын любителя-птицелова и в детстве отличался необыкновенным искусством ловли животных. Он часто во время разговора вскакивал и ловил мышь, причем он ее хватал всегда пальцами за загривок возле ушей. Однажды эта странная его ловля горячо обсуждалась в институте, потому что учительница французского языка отказалась от преподавательства. Она могла подозревать, что в классе водится мышь, но чтобы ее ученик ловил мышей, словно кот,— это невозможно!..

Бадьин держал крошечное животное, сверкавшее остренькими глазками, и говорил поучающе:

— Ничем не отличается от нашей, такая же неповоротливая!

Приятели рассматривали эту мышь, как бы стараясь наблюдениями своими сблизить и себя и прошлое, которое они оставили, с тем, что сейчас видят. Но хотя мышь и жмурила глаза, и делала судорожные

движения мордочкой, все это никак не приближало прошлого и никак не объясняло настоящего. Тогда Бадьин вынул платок, завернул в него мышь, причем со свойственным ему умением закутал ее мордочку так, что ей нельзя было двигать челюстями, чтобы выгрызться. Он сунул платок в карман.

Они стояли возле овальной рамы, величиною в два человеческих роста. Рама была укреплена среди двух мраморных столбов, и сквозь нее были видны деревья возле низкого дома. Кто-то из них попробовал пошутить, что рама осталась, а портрет уперли. Вдруг пустое пространство внутри рамы засияло слабым оранжевым светом, постепенно закрывая деревья. Они испуганно попятились. Им показалось, что из рамы дует ветер.

Они быстро успокоились. Знакомый голос, недавно рассказывавший или, вернее, намекнувший о происшествиях в Эль-Готх, говорил им о том, что думают соседние страны о возгласе с Маршалльских островов. Видимо, на Эль-Готх происходили события чрезвычайной важности. Приятели устремились к окну. Они надеялись услышать более подробные сведения. Пред глазами наших друзей всплыла вдруг рельефная карта Европы.

Бадьин, который всегда считал себя ответственным за поступки, совершаемые не только им, но и его спутниками, немедленно повернулся спиной к окну:

— Они что, им безразлично, потому что они в этом мире. Но нам, если мы вернемся, придется отвечать перед Наркоминделом, которому будут жаловаться заинтересованные страны, а ты попробуй докажи, что Европа, действительно, так размежевалась! Я предлагаю вам смотреть, но в то же время как бы не видеть.

Они жадно вглядывались в события, которые происходили перед ними в рельефе Европы. Эти события полностью объясняли громовый возглас об Эль-Готх, раздавшийся с неба. Они поняли, почему стоит памятник монголу на этой площади, зачем прозрачные машины и даже что такое «Сорок второй завод РРР». Когда экран потух, и новая Европа исчезла, и снова раздался голос, который хотел сообщить им подробности открытия профессора Филиппа Сафроновича Шерстобитова из города Великий Устюг, — они плохо воспринимали это сообщение.

По древним улицам города Великий Устюг шел знаменитый профессор, сопровождаемый своими учениками и плачущей женой. Северная Двина несла мимо города свои тускло-серебряные волны, в которых отражались сосны. Видимо, жители будущего СССР любили пейзажи, но нашим друзьям казалось странным, что жители не останавливаются у окна, а оглядев их вежливо и без назойливости, немедленно отходят прочь. В иное время приятели постарались бы узнать причину отхода, но сейчас им было не до того. Профессор Шерстобитов доказал, что человечеству нет никакого смысла обладать тем ростом, каким оно обладало доселе! Раньше, когда человечество добывало себе пищу охотой или бродило за стадами, физическое состояние человека, и его рост в том числе был ему необходим, а теперь этот рост только мешает. Профессор предлагал уменьшить человеческий рост наполовину. Профессор вновь повторял, что, как это можно видеть на нем самом, умственные способности человека остаются такими же, как и прежде, физическая сила та же, но потребности в пище, в жилище, а главное в пространстве сокращаются наполовину. От кроликов профессор перешел к человеку и первый опыт проделал на самом себе. Его последователи поддерживали его. Жена долго сопротивлялась, но наконец согласилась; что же касается детей, то их решение возможно только после их совершеннолетия. По улицам Великого Устюга вдоль берега Двины шли люди нормального роста, а впереди них, вполтину ниже своих малолетних детей, шагал профессор Шерстобитов, окруженный «добровольцами-малорослыми». Жены рядом с ним уже не было. Должно быть, она плакала дома, чрезвычайно удрученная странным поступком почтенного профессора, а он шел, чрезвычайно довольный собой, часто вынимал носовой платок и громко сморкался не столько от надобности, сколько от смущения. Толпа смотрела на них со спокойным любопытством. Несколько школьников, удивших рыбу, перекинулись словами между собой, указывавшими, что поступок «малорослых» широко известен в стране, но что это не более, как курьез.

Четверо друзей устали чрезвычайно. Положив перед собой лыжи, они стояли неподвижно, опершись на бамбуковые палки. Давно потухло окно, сквозь кото-

рое опять были видны деревья, давно им пора было отходить, а они все стояли, и только Бадьин смог сделать несколько шагов от «рамы событий» к витрине дома, в которую почти упиралась рама.

— «Дом Чудаков»,— медленно прочел Бадьин латинскую надпись на двери.— Очень нам нужен этот самый ваш Дом Чудаков! И тоже место нашли, куда его поставить.

— Наверно, построение вызвано какими-нибудь воспоминаниями.

— Предлагаю, раз такой случай выпал,— продолжал Бадьин,— пойти в университет и познакомиться с современными течениями геофизики.

— А не лучше ли пойти нам в гостиницу, снять номер и выспаться, а то прямо никаких сил нету стоять дальше.

Они согласились, что в гостиницу лучше всего... Однако они не двигались с места. Тяжело зевая, они смотрели в овальные витрины «Дома Чудаков», которые имели такое прозрачное стекло, что, только дотронувшись, вы верили в его существование. Едва лишь они попали в радиус действия витрины, который был указан розовой чертой на тротуаре, они слышали голос, сообщавший о продолжении ежемесячного аукциона.

— Предмет,— говорил голос неведомым слушателям и зрителям,— предмет, лежащий на зеленой бархатной подушке, есть коробка спичек образца 1934г., из которой по редчайшей случайности не использована ни одна спичка.

Приятеля действительно увидали пухлую подушку и обыкновенную спичечную коробку с серой этикеткой, на которой в лучах неся черный аэроплан, а сверху было напечатано полукругом: «Госуд. спичечная ф-ка Ленинград», а под аэропланом: «Цена 3 коп., имени Демьяна Бедного».

— Аукцион чудаков продолжается! Слово за вами, товарищ Зыкин из города Серебрянска!

Товарищ Зыкин сказал, что он подумает пять минут прежде, чем предложит свой обменный фонд. Тогда аукционист бесстрастным и холодным голосом продолжал, что будет обсуждаться рукопись романа Леонида Леонова «Вор». Чудак из штата Квисленд из города Лонгрич «Австралия» предлагал шесть книг на

выбор периода 1900—1950 гг. из своей библиотеки, посвященных вопросам древнего права. Наши друзья услышали вздох облегчения этого любителя древнего права, когда из Сибири, из Красноярска чудак хриплым голосом предложил мамонтовый клык с инкрустациями из полярной березы. Видимо, любитель древнего права в чем-то сомневался. Красноярец приобрел рукопись. Аукцион продолжался. Товарища Зыкина перебили, предложив за спичечную коробку спальный вагон из времен, приблизительно относящихся ко времени изготовления знаменитой спичечной коробки. За спальным вагоном последовала коллекция денег на совершенно астрономическую сумму, из чего наши друзья поняли, что деньги заменены каким-то иным средством обмена. Время от времени аукционист для разнообразия переходил от спичечной коробки к другим предметам... Наши друзья увидели бутылку, множеством печатей и удостоверений доказывавшую, что в нее заключен последний дым из последней заводской котельной планеты Земля. И точно, в прозрачной бутылке колыхалась какая-то бурая гадость.

Наши друзья, если сказать правду, к чудачкам относились совсем отрицательно, или, вернее сказать, мало о них думали. Но надо полагать, что и в этом городе чудачки находились тоже не в особенно большом почете, потому что розовая черта «слушателей» почти вплотную подходила к витрине, в то время, как другие дома имели черту гораздо большую, а «Сорок второй завод РРР» имел около самой своей территории окружность не менее полкилометра. Молодым людям надоело смотреть на старинные ботинки, на револьверы и средневековые шлемы, на шнурки, которыми зашнуровывали и они когда-то свои ботинки. Они чувствовали себя бодрее, и младший из них вдруг сказал:

— А денег-то для гостиницы мы не захватили.

Денег у них с собой действительно не было. Они растерянно переглянулись, а веснушчатый парень, очень довольный своей выдумкой, продолжал:

— Так как одежда на нас допотопная, то я предлагаю, уж раз такой случай подвернулся, зайти в Дом Чудаков и получить вместо нашей одежды необходимый современный эквивалент.

Девушка сказала:

— Чересчур много на нас старины. А после потребуют теперешнее удостоверение личности? Я слышала, что есть такие жулики, которые здорово подделывают старинные вещи.

Спор этот рассердил Бадьина. Он был способен к напряженному и упорному труду, он всегда наполнен огромным и неостывающим интересом к новому, но вот вдруг самое потрясающее новое повернулось к ним сейчас своей самой неинтересной стороной — чудаческой. Они прежде всего общественники и ученые! Чудаками им никогда не быть.

— И не стыдно вам даже помыслить о том, что можно зайти в этот глупый дом. Я утверждаю, что вы просто от растерянности придумали.

Они поняли и оценили его сердитый голос. Веснушчатый, перебивая девушку, сказал, что, несомненно, его предложение возникло от утомления и жары, хотя вокруг идет метель. Они посмотрели в небо. Фиолетовый цвет его изменился на самый обыкновенный небесный, когда сверху в сумерки сыплется снег. Но они на самом деле испытывали жару. Они обливались потом, тогда как вежливо их обходящие жители города слегка ежились от холода и терли руками щеки. Их удивило плавающее вокруг них слегка желтое сияние. Кроме того, на них посматривали теперь многие люди из прозрачных автомобилей, а женщина, ведущая трех детей, тихо заметила:

— Вы видите перед собой, дети, артистов, представляющих Москву 1934 г., видите, они остановились возле аукционного окна, удивляясь тому, что продают вещи, которые для них в Москве были самыми обыкновенными. Их снимут, а затем вы увидите их приключения...

— А который из них, мама...

Василий Бадьин простил бы еще Дом Чудаков, но чтобы его принимали за артиста, который изображает наивного провинциала, попавшего в столицу, этого он вынести не мог. Он возмущенно схватил лыжи, ударил ими о тротуар и воскликнул в пространство:

— Эй, товарищи! Немедленно прекратите эту дурацкую съемку!

Видимо, операторы здесь не в пример прежним московским чрезвычайно уважали своих пациентов. Жел-

тый свет мгновенно потух. Бадьин успокоился и почувствовал себя более сильным. Уверенным движением руки, подмеченным у жителей этого города, он подождал пустую прозрачную машину. Машина остановилась возле них. Отпала дверца. Бадьин спокойно и солидно сказал:

— Устать мы, конечно, устали, идти мы тут не умеем, еще, пожалуй, при первом же шаге и раздавят нас, а так как мы, несомненно, представляем для них известную ценность и сможем дополнить живыми высказываниями некоторые неясности нашей истории, то берите ваши деревяшки, сядем и поедем в горсовет объясняться насчет нашего дальнейшего и разумного использования. Ну, еще два шага.

Они схватили лыжи и сделали два шага вперед.

Перед ними стоял тот же обшитый коричневыми досками угловой домик на углу Теплого и Чудова переулков. Женщина в толстых валенках и с кошелкой в руках вышла из калитки, чтобы передать санки дочери. Девочка стояла со счастливым лицом, уронив на землю варезку. Дул тот же холодный и резкий ветер, сопровождаемый снегом, и сумерки совсем сгустились. Василий Бадьин держал в руках сломанные лыжи. Женщина сказала им, что приятеля нет дома, и очень рассердилась на их удивленные лица.

Позже я много пререкался с моими друзьями. Они никак не хотели искать причины того, откуда возникло это странное видение будущего города, рассказы о котором всех их четырех были одинаковы. Я говорил им:

— Что же хорошего в том, если вы считаете это зрелище необъяснимым? Если б вы нашли причину, то это было бы уже открытием секрета долголетней жизни.

Бадьин и его друзья не хотели быть чудаками. Вот, по-моему, главная причина, которая заставляла их молчать о виденном, потому что разговор со мной произошел случайно. Конечно, смешно, что из будущего они принесли только мышь, завязанную в платок. Мышь эта ничем не отличалась от тех мышей, которых

мы часто видим в зубах нашей кошки. Бадьин спокойно говорил мне:

— Вместо того, чтобы упрекать нас в бездействии, вы укажите, как нам найти причину. Что же вы полагаете, мы должны бежать разыскивать, действительно ли родился или рождается Шерстобитов, будущий изобретатель «малорослых», или вместо нашего обычного труда мы должны рыскать по Теплому переулку, чтобы найти ту случайность, которая заставила нас шагнуть в будущее.

К сожалению, мои литературные интересы мало занимали их. А что касается того, как изменится карта Европы, они отшучивались строгостью Наркоминдела, который просит граждан СССР не вмешиваться в дела других стран. Они, улыбаясь, слушали, как я кричал им:

— Ну, поймите же вы, что я не могу создать отличнейшее повествование. Например, вы, Бадьин, отбросили совершенно напрасно великолепную беллетристическую канву. Например, проследить истоки биографий Шерстобитова или других героев будущего, которых вы видели! Вам не хочется или у вас нет времени наблюдать за этими людьми, или за их родителями? Великолепно. Назовите мне их фамилии! Я познакомлю с этими младенцами писателей. Молодой писатель сможет наблюдать за молодостью великого ученого, и под старость воспоминания будут для него и отличным куском хлеба, и приятным знаком внимания окружающих. Мало того, мы с вами старые приятели, и вы огорчитесь, когда мои читатели будут негодовать на меня за то, что я прервал рассказ на самом интересном месте. Именем великой нашей литературы я умоляю вас открыть мне хоть немного из тайн Теплого переулка.

Бадьин ответил и от самого себя и за своих друзей:

— Я полагаю, что наблюдения за любым человеком нашей страны будут писателю не менее полезны, чем если бы мы указали город, где родились, и фамилии будущих великих людей. Писатели, так же как и мы, ученые, должны искать, а не получать готовое. И с этой точки зрения мы довольны, что не видали геофизического факультета будущего. Искать надо в

творчестве, а не в чудачестве, товарищ Иванов. Кроме того, кто знает, может быть, многие из нас еще переменят свои фамилии.

Я предложил им тогда выбрать для своей работы те города, в которых должны родиться виденные ими великие ученые и общественные деятели будущего. Они ухмыльнулись. Как я ни доказывал, но они выбрали совсем иные города, которые, по их словам, «более подходят к задачам нашей жизни». Тогда я спросил:

— Ну, если уж вы так странно заканчиваете вашу историю, то я прошу вас самих объяснить моим читателям причины, по которым вы не открыли, или, вернее, не захотели открыть тайну Теплого переулка. Я надеюсь, что, когда вы вернетесь в Москву почтенными профессорами, вы в лекции вашей вспомните моих читателей. Ведь виденное вами вы не будете сваливать на сон?

Бадьин ответил:

— Какой же это сон? Снов мы не запоминаем, нам некогда. Что же касается ваших читателей, то, если они запомнят ваш рассказ, они в свое время проверят его. Если он окажется правдой, они найдут ему причины, если это ложь, они отнесут его за счет вашего чудачества. А если они забудут рассказ, то какая ему цена? Касаясь же лекций, утверждаю, что ни одной ноты чудачества туда не будет привнесено.

1934

## СОН О ПЕТУХЕ

«Лежите, лежите, я на минуточку, за ножиком,— сказал доктор.— По очень сходной цене приобрел петуха. Будем стряпать, того ради будет обед небывалого размера». И точно, под мышкой его теперь лишь я разглядел петуха. Как ни толкуй вкривь и вкось причины важности этой птицы, одно бесспорно покамест, что пред нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы, с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный, гребнем, и с огненно-рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спокойно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд, истоки чего-то обезьяньего, если не человеческого. На мгновение даже я смутился, глядя в его вразумляющие глаза, на мгновение подумал даже: «Не сплю ли я?!» И отвел взор. Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, с каким ни один человек не смотрел на меня никогда, и опять я подумал: «Нет, сплю, откуда петуху так смотреть?» Побуждаемый, скорее всего, этой тревогой, я сполз с тюфяка и босой ногой начал шарить на полу ботинок, все еще глядя в удивительные, я бы сказал, изливающие повеление глаза петуха. Заноза впилась под ноготь большого пальца. Я тотчас же выдернул ее — и рассмеялся. «Чего вы?» — спросил доктор. «Да мне показалось, что сплю», — ответил я. — «Сквозь рассвет, вставая, всегда кажется, что спишь», — ответил весело доктор, шаря в узелке, где мы хранили пищу. — Вам йод?» — «Прошло», — ответил я, поспешно натягивая ботинки, вместе с тем искоса взглядывая на петуха. Из-под синего гребня

петух наблюдал за доктором. Скоро доктор достал ножик, из тех, которые именуют «сапожным» — откуда он у него? — попробовал пальцем лезвие — и, честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. «Сами будете резать?» — «Другие», — ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал: «Разрешите мне прирезать!» И опять доктор с не свойственной ему уклончивостью ответил: «А там видно будет». — «Да вы не опыт ли какой намерены производить?» — «А там видно будет», — опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы и будто говоря своим поразительно умным взором: «Нет ли у тебя, доктор, резака крепче сего?» Подстрекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул свою одежонку. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно, и если б не его глаза, то вы б подумали, что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы — еще более торопливо — почти бегом, устремились коридором. Тут начали присоединяться к нам все обитатели дома. Молча, по лестнице, глядя на выходную дверь, с мертвенно-вялым лицом спускался Жаворонков. За ним плелись старушонки, жена, дружно, с внезапным натиском, скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали, — и все они смотрели пристально, жадно на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опоражнивали бутылки! Показался Насель в гладко выутюженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин с велосипедом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна с запахом йодоформа, с баночками медикаментов; Людмила — подмигивающая и подсматривающая — с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес; Сусанна, холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто в накидку; старик Мурфин, багровый и задыхающийся; нырнул и скрылся Савелий Львович, и, напоследок, я увидел Мазурского и за ним четырех стройных молодцов в спортивных костюмах и с кулаками величиной с хороший табурет... Вокруг каждого теснилось — на три, на четыре стороны — много чу-

жих, но все-таки чем-то знакомых людей, должно быть, из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью,— неискоренимые! — грузили в подвалы, чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало. Давно людской поток широко лился на двор, а коридор все еще был полон. Розовато-голубой с каким-то фарфоровым блеском преувеличенно настойчиво превозносился свежий воздух, показывала двор и булыжник — распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось по толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. «Пожалуйста!» — воскликнул он отменно-протяжно. Когда он ускользнул от меня? И опять я подумал: «Да не во сне ли это все я вижу?» И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне, не глядя, рассматривая розовато-голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, трясая петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне не обожгла палец. Отвратительный табак и волдырь совершенно разуверили меня, исчезла мысль о сне, но снизу, сознание истощая, накинuloсь: «А не глава ли доктор какой-нибудь мистической секты? Да не простой, а с древними ритуалами. Петух! При чем здесь серый петух?» С тех пор, как я его узнал, доктор всегда проявлял редкую ненависть ко всему мистическому и метафизическому, но мало ли найдешь людей, которые говорят одно, а сами думают: обведем, будет ладно и ладан будет <...>

«Пожалуйста!» — еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая меня с собой. Широкий двор, подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстыжий и наглый, мгновенно сплошь наполнился толпой. Особенно густо набилось вокруг доктора. «Егор Егорыч, да вы поближе!» — крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож, — страстное любопытство отразилось у всех на лицах, — петух наклонил голову и, я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вдох, тихий, выстраданный и какой-то вывихнутый, проплыл по толпе. Но доктор, — признаюсь, я плохо разглядел, — промахнувшись, что ли, полоснул петуха меж ног.

Петух взмахнул крылом, бессовестно и дерзко топнул ногами, повел плечом, фыркнул, — уверяю вас, — фыркнул. Два белых жгутика — половинки распоротого платка — упали на землю. Петух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул — и через головы толпы — перелетел к распахнутым воротам. Толпа молча хлынула к воротам, нога в ногу, — к петуху. Петух — шаг вперед. Толпа споткнулась. Петух присел. Выпрямился и чинно зашагал переулком. «Лови!» — крикнул чей-то трубный голос. Я кинулся. Я услышал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь, бежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже населевские родственники, стараясь пересечь путь петуху, далеко забежали вперед. «Пускай его бежит», — думал я, однако опережая всех и уже протянув руку, дабы схватить его за огненный хвост. Петух чуть-чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились, я остановился — и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги, — тем более, что я сильно запыхался, — я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на Остоженке. Брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили трошинцы, на ходу засовывая карты в карман. Петух неся далеко впереди, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошинцы раскраснелись, капли пота катились с висков. «Лови! — легонько оттолкнув меня, проскочили трошинцы, добавив: — Рутина! Отстаешь, а в деревне что скажут?» Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я, уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу самое важное — привыкнуть, остальное зависит от таланта, затем более важное — проспать. Да и что размышлять? Помочь размышления не помогут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, то я кое-кого обгонял. Там отстал Трошин и его трошинцы, теперь они мелкой рысцой трусили возле меня, ошипанные какие-то и запыленные; здесь вперед выбежала Степанида Константиновна, мелькнуло алебастровое лицо Сусанны и карельской березы ее локон, топкие губы Людмилы — но сдали, отстали; тут опередил всех, возле храма Христа Спасителя Жаворонков, в руках его я увидел перочинный ножик, искореняющий зло возглас вылетел из горла! «Этот прирежет, поймает», — подумал я, но —

чудное дело! — и Жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух! Допустить бы ему нас еще шага на три, — и готово, а куда там и на пятнадцать он прибавлял такого шагу, так махал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил с самого нутра и струился непрерывно от ушей до пяток. А тут еще различная рухлядишка на руках, поневоле отстаешь. Мы страшно сердились и обижались друг на друга, если кто перегонял — куда ему, дураку, идти вперед? — а раз перегонял, общая тревога, ругань наша, сменялись благожелательством и даже заискиванием: мы спешили перекинуть ему ножи. Уже по городу двинулись трамваи, я думаю, было начало пятого; я не могу восстановить точно, потому что часы Пречистенской площади завешены были почему-то номером «Известий», уже последние грузовики вывозили из-за дощатой ограды вокруг храма Христа Спасителя «облагороженные» детали древнерусского стиля; уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортируя отбросы; уже из окон трамваев раздавались в наш адрес до конца изнеможенные возгласы: «Я понимаю мертвеца пропустить, автомобиль, но надоели нам пробеги!» В трамвае, наверное, до того их давили, что петух, — к слову сказать, покрасивевший очень от бега, — не пробуждал ни негодования, ни даже внимания, разве что слаб был выбор ругани, предназначенной для птиц. Подумают, бежали мы сломя голову! Бежали мы, я б сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться — и не бег. Да мало ли, к чему надо поприглядеться, мало ли где попригнездиться и мало ли кого поприголубить!

Не спорим, Егор Егорыч, не спорим, — поприглядитесь! Москва, она еще среднего роста, но она упирается уже в тысячелетнее величие, уже многие будущие века она омеблировала советскими идеями... Москва! Иной уже нет, иная есть, иная будет. Москва! Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее расхлябанность и рыхлость, ее пыльность улиц зальется асфальтом, — уже поздно. Вот мы выбегаем на площадь, где был Охотный ряд и церковь Парасковьи Пятницы с ее удивительно подобранными колоколами, нам бы полюбоваться дольше, но мы, ощущая удивительную легкость, уже выскочили вслед за серым петухом, на Теат-

ральную площадь, к Дому Союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстры на дгорающий бенгальский огонь, уже заседает очередной съезд, уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной — диаграммы... Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплуатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции на Вокше, у сердца Памира, там, где за две сотни километров за горами, стоит, прислушиваясь к шелесту красных знамен, Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватым вуалем; когда ринулись ночами к этому вуалю телеги, выгоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом; какие картинные возчики в оранжевых от кирпича балахонах сидели на возах; как в закоулки вылезли рельсы, голубая сварка визжала над ними!.. Пусть через столетия покажутся наивными (так же как и эти строки) все эти машины, черпающие и перевозящие землю; эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие из человека отвратительное покровительство прошлого; эти самолеты, это оружие, эти танки и эта конница, пусть, но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма!..

Петух свернул на Тверскую!..  
Петух повернул на Тверскую!!  
Тверскую!!!

Прекрасно, мы еще лучше изловим тебя на Тверской. Прекрати широко шагать! Уткнись в здание почтамта, его силуэт вырезан прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки; здесь долгие годы стояли развалины, ютились беспризорники и бандиты, и как раз относительно этих развалин Б. Пильняк утверждал когда-то [...], что здесь на него, Б. Пильняка, писателя, напали бандиты и вернули золотые часы, узнав, что он писатель и, главное, видимо, считая его за отличного писателя! Сколь чувствительны наши бандиты! Однако петух, услышав о Б. Пильняке, переметнулся через голову и забежал в Камергерский, где, остановившись перед Художественным театром, крикнул: «Ку-ка-реку!» — Но они еще спят, эти великие актеры: Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие, иначе б они

непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом с человеческим взглядом, не только б сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они б обнаружили нечто поприбодряющее; нечто от уловок зверя и лукавства человека, словом, какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь свою систему. Пустые отговорки! Петух бежит дальше. Вот выемка: багровое здание Моссовета, статуя Свободы. Отсюда начинают клики манифестанты, здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть — да здравствует! — чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади [...]. Люблю я Страстную, памятник поэту, которого наивный скульптор превратил в великана, — люблю, пройдя, взглянуть на решетку Музея Революции, а затем выйти на кольцо «Б»...

Петух несется неудержимо. Отсюда, от кольца «Б», без отговорок разворачивается во все стороны заводская, лихая, фабричная Москва! Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лаборатории: от молний ВЭТа до крошечных колбочек любителя; ампирные особняки; деревянные домишки с палисадниками... Но ты, чье стальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращается, кидается вперед — переулками, бульварами, улицами; вот мы промчались мимо Сухаревой башни, знакомые ринулись с рынка. «Куда, куда?» — кричат они нам, изумленно смолкая, потому что мы пробегаем мимо. «Нас не проведешь, — думают они, — тут найдется пожива!» И они устремляются за нами. Мы, не останавливаясь, обгоняем грузовики, трамваи, мимо везут кирпич, строят дома, мимо нас мелькают вокзалы, катят поезда, груженные шпалами, чугуном, лесом, гвоздями, везут хлеб, сено, мясо, тысячи свистков, тысячи рельс, дорог, мостов, вокруг все строится, льется бетон, сталь, ползет нескончаемо текстиль... Я призадумался. Куда он бежит? Уже перед нами Воробьевы горы, уже Нескучный сад прилег изворотливыми тенями. Здесь-то, среди березок, мы его и поймаем, петушка! Уже за полдень. Река согрета купающимися; сталкиваются лодки, гудит глиссер, мелькают пароходики, — и чертовски хочется жрать, тем более, что и река похожа на нож,

коим перво-наперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится?.. По шоссе едут в город колхозники; уже вплетены мы в бесчисленные ленты огородов; уже наливаются сизые кочаны капусты, они похожи на растрепанные пакеты, которые идут из Камчатки в Тифлис, и находят там уже ликвидком, откуда их, на всякий случай, направляют в Москву, а последняя, слёгка подумав, шарахает их в Ташкент, тот, скосив узкие глаза, гонит их в Ленинград, а из Ленинграда идут они, растопырив бока, многоглазые, круглоглазые, обратно на Камчатку,— все-таки добившись слабого сходства с кочаном капусты. За кочанами — золотые кочаны Новодевичьего монастыря. Фу ты, штука какая, здесь бы попригорюниться, хватить бы насчет неудачной любви к курчавой ученице художника, прибывшей из Тифлиса и поселившейся у Новодевичьего, был у меня такой случай, да где там отмечать неудачи, успевай подбирать пятки, ибо петух заворачивает влево; перед нами встают Фили,— петух опять влево. Кончено, я не могу больше бежать... Этак он черт знает куда добежит, до Кунцева, до Звенигорода или до Смоленска! Ага? Устал! Зевают!! Нюхает по ветру! Петух остановился на Поклонной горе, изнеможенный и клубящийся паром. Близ него куча червяков и копает картофель деревянной лопатой трухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли, но меня больше, чем судьба петуха, занимает: «Почему старуха роет деревянной лопатой и почему не взглянет на эту, прибежавшую сюда громадную толпу?» А петух? У, противно и помыслить, что кто-то сейчас чикнет ножом по тоненькому горлышку — и судорожно ударят в землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. «Гума-а-нисты...» — неся откуда-то рядом вежливейший шепот Савелия Львовича. «Да ну вас,— я ненавижу петуха, истинно! — режьте все же его сами!» Выбраться лучше на простор, погулять полями,— ради того я тронулся из толпы. Меня остановили, кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попризатихло. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давят вниз. Ага! Мы приседаем на корточки, дабы петух не проскользнул между ног, а перемахнуть через нас у него нет сил,— это ясней ясного! — он распустил

врозь серые свои перья, его клюв раскрыт, он тяжело дышит, впрочем, глаза его по-прежнему умны и, пожалуй, еще умней. Я креплюсь, но все шире во мне распластывается неодолимое желание: пора отполоснуть эту маленькую голову, туда ей и дорога! И мы, словно вприсядку, полуползем. Круг уменьшается — и вот, когда кому-то лечь и сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод разомкнул руки, низко склонил выи и лбами коснулся земли, изрыгая препротивную почтительность. «И если мне тоже быть почтительным, — с озлоблением думаю я, — то перед тем, как лишиться остатков уважения к себе, не надо ль взглянуть: кого ради я лишаюсь?» [...]

Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден крап белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании.

— Егор Егорыч, — услышал я, — хватит спать. Ибо долгие сны похожи на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры: «Чего вы, идиоты, ищете здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно». Кроме того, надо варить петуха.

— Петуха! — вскричал я, вскакивая и протирая глаза. — Чрезвычайно странный сон! А кто прирезал серого петуха?

Доктор сказал, что, к великому его сожалению, он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного и прирезанного.

## ФАНТАЗИЯ — ЖИВОТВОРЯЩАЯ СИЛА

Двадцатый век — время глобальных исторических перемен, на первом месте среди которых стоит Великая Октябрьская революция, повлекшая за собой социальные изменения мирового масштаба. Мир изменился и продолжает меняться. Это не может не отражаться на литературном процессе. Книга стала необходимее, чем когда-либо. Она — одно из мощнейших орудий — способна как защищать, так и разить наповал.

Всеволод Иванов, размышляя о литературе, записывает:

«Если думать, что сейчас все счастливы, то это ложь. Но, несомненно, что каждому хоть раз выпадает счастье. Умирать редко кому приятно. А так как войны, — при крупных идеалах, — неизбежны, то это счастье доступно многим. Я не говорю буквально о смерти, а о страданиях, которые, пожалуй, будут потяжелее смерти. Но эти страдания — после того, как они кончились, — кажутся человеку счастьем»<sup>1</sup>.

Любое искусство — будь то театр, живопись или литература — не может не быть условным. Это всего отчетливее прослеживается в книге. Бытует мнение, что писатель должен испытать те же страсти, которые испытывают его герои, увидеть воочию изображаемых им людей и природу. Это и так и не совсем так. До какой-то степени это правда, то есть стало правдой, когда вышел на первое место в искусстве реализм, пытающийся возможно точнее изобразить словами, кистью, резцом и человека и все то, что его окружает. Такое изображение стало возможным лишь после того, как жизнь человечества несколько унифицировалась и стала всесторонне изучаться.

Когда еще не было достаточно четких научных объяснений многим явлениям природы и тем процессам, что происходят в организме человека (впрочем, и до сих пор не до конца изученным), люди начали создавать мифы. Мифы повествовали о богах, героях, демонах и других существах, отражавших фантастические представления тогдашнего общества об окружающей его природной и социальной среде, а также о человеке как таковом.

Вот определение мифов, данное Всеволодом Ивановым: «Миф — концентрация особых чувств, качеств. Выполнение дотоле невыполнимого. Агасфер — миф о бесконечном продолжении жизни. Фауст — о бесконечном познании, Дон Жуан — о бесконечном наслаждении любовью, Тантал — о бесконечном пищевом наслаждении, Сизиф — о бесконечном труде...»

Но, переосмысливая мифы в своем творчестве, Всеволод Иванов придает им иное значение. Он видит в их основе необходимость борьбы с «обидами, наносимыми людям, человечеству». Он верит, что, «когда об этом научатся убедительно говорить, — мир будет изменен окончательно». Так, бесконечный труд Сизифа обращен Вс. Ивановым в труд, облагораживающий душу того, кого боги этим бессмысленным, по их мнению, трудом наказали.

А Агасфер, наказанный бессмертием, оставаясь столь же безразличным, как и до наказания, не избавляется от страха смерти, хотя и тяготеет к вечной жизни. Всякий раз, ощущая признаки одряхления, он стремится перевоплотиться в полного жизненных сил молодого человека, обрекая того на смерть, а сам продолжает свою, пусть и опостылевшую, жизнь. Но в случае с Ильей Ильичом Агасфер терпит поражение.

Действие рассказа «Агасфер» разворачивается во вполне реальной обстановке. Место действия — Москва периода Великой Отечественной войны. Все поступки героя рассказа — Ильи Ильича — логически осмыслены: он пишет сценарий, преисполнен творческими замыслами. Агасфер — это и плод его собственной фантазии и тайно и тайно воплощенный мифологический персонаж. Наш современник, по Вс. Иванову, не может не одержать победы над Агасфером, на совести которого многие злодеяния. Порукой тому — «меч свободы на нашей земле» и патриотизм, унаследованный от свободолюбивых наших предков.

За какой бы вид литературы — будь то роман или публици-

<sup>1</sup> Здесь и далее все цитаты теоретического характера взяты из двух книг: «Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек». — М.: Советский писатель, 1985. и «П. Т.» — «Истинное искусство всегда современно». — М., Советская Россия, 1985.

стические статьи — ни брался Вс. Иванов, он создавал множество вариантов. Так, к фантастическому циклу написано несколько предисловий, одно из которых, опирающееся на реальный факт — увиденное им в одной из контебельских бухт неведомое чудище, — вылилось в самостоятельный рассказ, помещенный в самом начале нашего сборника.

В набросках к другому предисловию Всеволод Иванов пишет: «Первая тема историческая — индивидуализм и вытекающая из него внутренняя, а значит, и внешняя свобода, полное выявление как умственного, так и чувственного «я». Привычна легенда об эллинизме как о свободе, но ведь на самом деле эллинизм был узко догматичен, и наряду с Платоном существовали тысячи ретроградов, регулировавших жизнь, о которой мы имеем теперь ложное представление.

Вторая тема — завоевание свободы. Человек освободился настолько, насколько это ему по силам. Чувственная и умственная свобода. К чему она ведет? К счастью? А что такое счастье — если при индивидуалистической свободе все равно человек чувствует себя закованным?

Отказ от свободы, хотя формально человек называет себя свободным.

Новая догма. «Ни на сантиметр от закона». Государственная, семейная, художественная догма: ясность отношений, узость жизни, даже в пище унифицированной<...>

Третья тема — современная, — рассказы о счастье, достигнутом благодаря догме. Химера? А почему? Конечно, с точки зрения индивидуализма — химера. Но ведь люди действительно счастливы, выполнив должное».

Здесь под догмой и догматизмом Всеволод Иванов, по-видимому, понимает не отрицательное их словопонимание. Он рассматривает догму как противовес эгоистическому индивидуализму. Догма в понимании Вс. Иванова означает неукоснительную приверженность обдуманно принятой философской концепции, неразрывно связывающей человека с ему подобными. Такое толкование определенного понятия, как и многое другое в творчестве Всеволода Иванова, нельзя не признать парадоксальным. Очевидно, его надо понимать так: догма догме рознь. Ведь понятие догматизма в общепринятом значении Всеволод Иванов ненавидел и дал ему резко сатирическое истолкование в образе законника Джелладина в «Эдесской святыне». Однако он осуждает и индивидуализм, отождествляя его с эгоистическим себялюбием. Так, в набросках к рассказу «Медная лампа» он пишет: «Лампа Аладдина (то есть те возможности, которые предоставляет лампа) — это и есть сущность индивидуализма. Когда я посмотрел на его проявления, то отнесся к нему с презрением. Он не дает счастья. Догматизм — пусть и узкий — приносит большее удовлетворение, чем все сочетания индивидуализма. И вот наконец мне, измученному индивидуализмом, опять попадает волшебная лампа. И я разбиваю ее. Она медная, но я с наслаждением ее расплющил, — хотя и плакал, делая это, и жалел, совершив. Но так для меня было лучше.

Характеру людей нашего времени более близко такое состояние, когда даже средний человек, попав в необыкновенное положение, будет чувствовать себя хорошо и совершенно нормально, найдя явленному ему «чуду», пусть даже и неправильное, но материалистическое объяснение. Жизнь современных людей, преодоленные ими войны, показывают: наши герои способны выносить такое, что и не снилось прежним беллетристам».

Всеволод Иванов убежден, что «оптимизм, вероятно, столь же необходим человеку, как воздух». Он полагает, что без оптимизма фантазия так же вредна, как реализм без налета романтизма: «на моей обязанности поэта (писателя) лежит показать рабочий класс с самой лучшей, назовем это романтической, стороны... Человек рождается для того, чтобы быть великим. Это — его жизненная задача. Другой нет. Он должен быть великаном в любви, в труде, в наслаждении природой, в поэзии, наконец! [...] Кто не думает о будущем, тот презирает настоящее. А презирающий настоящее сам достоин презрения. Настоящее, вот эту трепетную, легкую жизнь надо любить. Да, легкую! Не потому, что ее легко нести, а потому, что ее легко порвать. Поэты своей животворящей фантазией могут и должны ее украсить и помочь сберечь [...] В течение скоропреходящей жизни человек очень многое способен совершить, и все-таки жизнь очень хрупка, будучи в то же время и мощной.

Ленин или, скажем, Петр Великий в течение одной своей жизни перестроили целую страну, — вот что такое жизни!»

Детективную литературу, как это на первый взгляд ни покажется странным, Всеволод Иванов относил к явлению оптимистическому. Он считал, что добро, для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо сталкивать со злом. Само собой разумеется, имеется в виду талантливая литература — «не ниже Конан Дойла».

Сыщик, как и общество, поставлен в такое положение, где нет выбора: если преступник не будет найден, — не осуществится необходимое возмездие. И вот он, рискуя жизнью, все же пускается на розыски преступника и находит его. Особенность оптимизма состоит, по мнению Всеволода Иванова, в том, что, впав в уныние, оптимист способен быстро успокоиться, так как он умеет находить светлые стороны в том, что только что казалось ему безысходно мрачным. Наслаждение жизнью отличается у оптимиста не только стойкостью, но и благородством — «не мне одному». Всеволод Иванов умозаключает: если поиски преступника или, скажем, сокровищ заменить поисками истинно человеческих чувств, таких, как любовь, справедливость, красота, то и в произведениях Чехова можно найти элементы приключенческой литературы. Поиски эти у Чехова неизменно приводят к торжеству, пусть иногда и печальному, правды.

Всеволод Иванов видит в человеке два разряда чувств: одни из них удовлетворяются обыденной жизнью, другие возносятся над ней, устремляясь к обобщенной человечности. Он негодует по поводу того, что честь для многих его современников — отвлеченное понятие, над которым они способны даже поиронизировать.

Сам он стремится показать в герое его морально устойчивый духовный мир. В своих произведениях он сталкивает оптимизм с безнравственностью и дает возможность торжествовать морально чистому оптимизму.

«Добро — вещь тяжелая, сапоги из свинца. Но зато в них можно идти на большой глубине. К страшной тайне. Зло делать легко. Наслаждение от зла и добра одинаково. Так что само по себе наслаждение ничего не стоит». Вс. Иванов считает, что только то наслаждение истинное, которое является результатом с честью выполненной, полезной для общества деятельности. Он утверждает: «Вечно только благородное и доброе — пусть это иногда лишь мираж. Иные миражи — тверже гор. Горы рассыпаются, превращаются в песок, а мираж по-прежнему царит над ними. И разве это не прекрасно?»

По мнению Всеволода Иванова, «Мир должен быть ясным и простым, чтобы здоровый человек мог спокойно бороться со злом во имя добра. Поэтому нам приятно угадывать загадки, будущее, узнавать тайны, любить людей, отгадывающих тайны и умело избегающих опасности. Удовлетворенные любопытства таинственными рассказами и романами вовсе не так плохо».

В конце концов все перипетии жизни можно ведь свести к теме поисков или открытия тайн. Человеком владеет безудержное любопытство — особенно в молодости. Любопытство не только в том, чтобы увидеть что-то, но главным образом испытать. Отсюда стремление разгадать загадки: что было и что последует? Что таится в прошлом? Чем чревато будущее? Всеволод Иванов считает, что сама жизнь неиссякаемо фантастична, нужно только уметь эту фантастику разглядеть и убедительно показать читателю.

«Стали ли люди богаче воображением?» — вопрошает он и дает вполне категоричный ответ: «...вот тут-то, я думаю, есть у нас большие достижения — воображением мы стали богаче, шире, объемнее. Жаль только, что это плохо используется нашими художниками».

В предлагаемом читателям сборнике повести и рассказы даны не в хронологической последовательности их написания, а объединенными в циклы по жанровому принципу. Под каждым произведением стоит дата его написания. Срок немалый: от 1924 по 1956 год. Всеволод Иванов принадлежал к когорте писателей, не застывающих на раз и навсегда найденной форме самовыражения. Он находился в постоянном поиске, что легко прослеживается при сравнении стилистических изменений в произведениях, которые написаны в разные периоды, на протяжении более 30 лет.

Нами предложено три основных цикла. Первый цикл — «Фантастика реальной жизни» — включает произведения, в которых описаны совершенно реальные события, увиденные Вс. Ивановым

под особым углом зрения. Так, в повести «На Бородинском поле» происходит своеобразное совмещение временных пластов: героев повести — участников сражения при Бородине осенью 1941 года — не покидает мысль о том, какой славой овеяно это поле, они как бы слышат отзвуки битвы 1812 г. и даже, мысленным своим взором, видят предков, память о стойкости и героизме которых придает им силы в борьбе с ненавистным врагом.

В «Эдесской святыне» показан фантастичный, с точки зрения современного человека, мир Багдада X века. Но повествование настолько насыщено подлинными реалиями, что читатель становится как бы участником событий, происходивших тысячу лет назад. Второй цикл — чистая фантастика. Но фантастика тут особого рода. Повествуя о необыкновенных происшествиях и пересмысливая мифы, Всеволод Иванов населяет свои рассказы людьми, со всей мощью проявляющими в необыкновенных обстоятельствах несокрушимую волю. Третий цикл назван «Сатирическая фантастика». «Чудесные похождения портного Фокина» — раскованное, свободное фантазирование, в котором парадоксально переплелись фантастика, сатира, гротеск и совершенно точные реалии литературной жизни тогдашней России. Резко сатирически изображает Иванов ксендзов и жандармов в буржуазной Польше, фашиствующих молодчиков в Германии, русских белоэмигрантов в Париже.

В письме Федина Горькому читаем: «Говорят, что он (Вс. Иванов. — Т. И.) написал хорошую повесть — в необычном для него стиле и духе»<sup>1</sup>. Обозреватель «Комсомольской правды» находит: «...интересно еще частое кивание автора в сторону литературной современности с упоминанием собственных имен»<sup>2</sup>.

Думается, что некоторые имена и «кивания» сейчас уже требуют комментария. Так, например, понятие «попутчик». В критике 20-х годов этот термин широко употреблялся, противопоставляясь таким понятиям, как «пролетарские писатели» и «крестьянские писатели». Разумеется, термины эти были условными, но подобная условность неправомерно зачисляла в «попутчики» всех членов содружества «Серапионовы братья», в состав которого входили: К. Федин, М. Зощенко, Н. Тихонов, В. Каверин, Вс. Иванов, М. Слонимский, Н. Никитин, Л. Лунц, Е. Полонская, И. Груздев.

Прочно утвердились в литературе имена И. Бабеля, Б. Пильняка, К. Чуковского. А вот имя видного критика А. К. Воронского, бывшего в 1921—1927 гг. редактором журнала «Красная новь», возглавлявшего издательство «Круг» и редактировавшего журнал «Прожектор», надо отметить особо, так же как и работавших с ним в «Прожекторе» Е. Зозулю и Л. Шмидта, а заодно пояснить, что «Прожектор» был печатным органом издательства «Правда». Алексей Максимович Горький, с которым Вс. Иванов был связан тесной дружбой, упоминается только по имени и отчеству, ибо степень его известности в литературных кругах была такова, что другого Алексея Максимовича просто невозможно было себе представить.

«Странный случай в Теплом переулке» — одновременно и фантастика и пародия на научную фантастику. Не менее пародийен и «Сон о Петухе», с той только разницей, что фантастическая погоня за петухом происходит на улицах реальной, строящейся, преобразующейся Москвы 30-х годов, которой Вс. Иванов явно любит.

Любую фантазию можно употребить во зло людям или же, наоборот, во благо: Вс. Иванов мечтал придумать нечто столь фантастически необыкновенное, что способно было бы принести людям нескончаемое добро. По его мнению, такую же задачу ставил перед собой Велемир Хлебников, которого он относил к ярчайшим представителям фантастического жанра в литературе, восторгаясь его искрометностью, жизнерадостностью.

Всеволод Иванов, утверждая, что истинное искусство всегда современно, горячо призывал писать и для будущего, приводя в пример того же Хлебникова, Иннокентия Анненского, которых не читали их современники, но прочитали потомки, признав их величие. Сам Всеволод Иванов, несомненно, принадлежит к той же плеяде, которая, любя то настоящее, в котором протекает жизнь, и работая для него, мыслями и мечтами своими прозревает будущее. Его фантазия воистину животворяща!

Тамара Иванова

<sup>1</sup> «Литературное наследство», т. 70, с. 474.

<sup>2</sup> «Комсомольская правда», 1925, 21 октября.

## СОДЕРЖАНИЕ

<p><b>Змий</b> (одно из предисловий к фантастическим рассказам) . . . . . 3</p> <p style="text-align: center;"><b>Фантастика реальной жизни</b></p> <p><b>На Бородинском поле</b> . . . . . 11</p> <p><b>Вблизи старой Смоленской дороги</b> . . . . . 68</p> <p><b>По небу полуночи</b> . . . . . 80</p> <p><b>Эдесская святыня</b> . . . . . 89</p> <p style="text-align: center;"><b>Фантастические или «таинственные» повести и рассказы</b></p> <p><b>Медная лампа</b> . . . . . 203</p> <p><b>Поединок</b> . . . . . 222</p>	<p><b>Пасмурный лист</b> : : : : 242</p> <p><b>Опаловая лента</b> . . . . . 270</p> <p><b>Агасфер</b> . . . . . 332</p> <p><b>Сизиф — сын Эола</b> . . . . . 380</p> <p style="text-align: center;"><b>Сатирическая фантастика</b></p> <p><b>Чудесные похождения портного Фокина</b> . . . . . 401</p> <p><b>Странный случай в Теллом переулке</b> . . . . . 453</p> <p><b>Сон о Петухе</b> . . . . . 467</p> <p><b>Тамара Иванова. Фантазия — животворящая сила</b> . . . . . 478</p>
--	--

**Вс. Иванов**

**И 20** Пасмурный лист / Сост. и послесл. Т. В. Ивановой; Ил. А. П. Саркисяна.—М.: Правда, 1987.—480 с., ил.

Настоящий сборник составлен из так называемых «фантастических» произведений Вс. Иванова (1895—1963) — это и интерпретированные по-новому мифические сюжеты («Сизиф — сын Эола»), и произведения, в которых «перекликаются» эпохи («На Бородинском поле»), и сатирическая повесть, и рассказы.

- 14954 -

**И** 4702010200—1270 1270—87 84 P7  
080(02)—87

**Всеволод Вячеславович Иванов**

**ПАСМУРНЫЙ ЛИСТ**

Составитель Тамара Владимировна Иванова

Редактор Е. М. Кострова

Оформление художника Г. А. Раковского

Художественный редактор Т. Н. Костерина

Технический редактор В. С. Пашкова

**ИБ 1270**

Сдано в набор 15.02.86. Подписано к печати 23.06.86. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 25,64. Тираж 500000 экз (2-й завод: 150 001—300 000). Заказ № 240. Цена 1 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии издательства ЦК КПСС «Правда» имени В. И. Ленина 125865. ГСП. Москва. А-137. улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Волгоградская правда», 400066, г. Волгоград. Привокзальная площадь. Дом печати.



1 р. 70 к.